



Леонид
Зернов

Брайтон-Бич опера



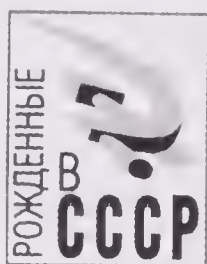
Boston Public Library
Boston, MA 02116





Digitized by the Internet Archive
in 2016

https://archive.org/details/isbn_9785353016359





Леонид Зернов

Брайтон-Бич опера



МОСКВА • РОСМЭН • 2004

УДК 821.161.1-311.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
358

Серийное оформление и макет
Е. Вельчинского

На обложке иллюстрация
В. Коваля

*Наш адрес в Интернете: **www.rosman.ru***

Зернов Л.

358 Брайтон-Бич опера: Роман. — М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004. — 382 с. — (Рожденные в СССР).

Веселый и грустный, трагичный и вместе с тем не чуждый irony рассказ о наших бывших соотечественниках, в застойные годы уехавших из СССР и ставших американцами. Привыкнуть к новому быту и к изобилию вещей, оказывается, проще, чем к иному образу мышления. Что же остается? Вспоминать с ностальгией старые советские песни и верить, что никогда не поздно вернуться.

ISBN 5-353-01635-1

УДК 821.161.1-311.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004

Все действующие лица и события «Брайтон-Бич оперы» — это плод фантазии автора, а любое сходство с реальными людьми и фактами является чисто случайным и неумышленным совпадением.

КАРИНА

Моя газетная статья, с которой все началось

Недавно с громкой помпой завершилась продолжавшаяся несколько месяцев полицейская спецоперация по борьбе с русской проституцией в Южном Бруклине. В общей сложности было арестовано около двадцати человек из различных массажных салонов и эскорт-сервисов, располагавшихся в таких районах, как Брайтон-Бич, Шипсхэд-Бей и Бенсонхерст. Американские газеты и телевидение на все лады обыгрывали эту тему, как всегда особенно смакуя тот факт, что захваченными на месте преступления «жрицами любви» и их хозяевами оказались наши с вами соотечественницы и соотечественники. Как всегда же, «отметились» и многие русскоязычные газеты, с завидной оперативностью опубликовав на своих страницах даже имена, фамилии и возраст задержанных женщин. Также были обнародованы и фотографии некоторых из них. Это, наверное, сделали для того, чтобы теперь каждый желающий мог в любую из них при встрече бросить камень.

Говорят, что эмиграция — это всегда мясорубка. Перемалывает человека вместе с костями, делает из него кровавый фарш, из которого Америка потом лепит свой стандартный гамбургер. Иногда получается довольно съедобно, особенно если с кетчупом да на голодный желудок, но бывает и полный брак. Такую судьбу только и можно что на помойку выбросить или на худой конец — отдать без-

домным. Почему так получается, никто толком не знает. Может, что-то ломается в мясорубке этой, а может — материал изначально непригодный был. Неподходящий для гамбургеров.

Карина училась со мной в одной школе, только на класс младше. Школа у нас была хорошая, московская, французская. Дети в основном из приличных семей; готовились в престижные институты, вели себя, как правило, примерно. Особенно в присутствии учителей. Карина была хорошенькая, но хорошеньких у нас в школе хватало. Она же отличалась от всех наших девочек тем, что носила короткие юбки. Вернее, короткие юбки носила не она одна, но у нее они были короче, чем у всех остальных. Или, по крайней мере, казались короче. Причем намного.

Перед самыми выпускными экзаменами у меня с ней даже был очень короткий и абсолютно платонический, в полном соответствии с тогдашними советскими представлениями, роман. Может быть, мы несколько раз поцеловались — я уже сейчас не помню.

Потом, году в 1985-м, я случайно встретил ее в Нью-Йорке. Она рассказала, что вышла замуж. Неудачно, конечно. Муж ее был крупье в подпольном казино в Квинсе. Деньги в основном пропивал. Она работала у хасидов на фабрике, красила ткани. Мы обменялись телефонами, но она мне так и не позвонила, а я ее номер посеял — может, и умышленно. Не хотелось вносить сумбур в мою вполне стабильную тогда личную жизнь.

С тех пор прошло много времени, и я, наверное, никогда и не вспомнил бы про нее, если бы пару лет тому назад меня не окликнули на выходе из «Золотого ключика». Я обернулся и увидел перед собой среднего возраста женщину, черты лица которой казались знакомыми, но имени я при этом вспомнить никак не мог.

— Не узнаешь? — Я виновато и неопределенно так улыбнулся. — Карина. Пойдем посидим где-нибудь.

Я с сомнением посмотрел на обрывавшие мои руки полиэтиленовые мешки с продуктами, но отказываться тоже было глупо. Мы зашли в кафе около театра «Миллениум», сели возле самого окна. Я заказал кофе, Карина — водку.

— Вообще-то я тоже не пью, — каким-то извиняющимся тоном сказала она и тоже улыбнулась. Впрочем, я бы все равно ей не поверил.

Разговор не кленлся. Вспоминали школу, крутились вокруг каких-то избитых тем. Наконец дошли до самого сакраментального эмигрантского вопроса: кто чем занимается. Мне похвастаться было нечем — переводы, «тоска железная», как сказал поэт.

— А ты?

— Да так...

Карина замолчала. Я почему-то тоже.

— Ладно. — Она как-то слишком резко подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. — Тебе скажу. Никому не говорю, а тебе скажу. Ты не растреплешь — я помню, какой ты в школе был. Массаж я делаю.

— В каком смысле «массаж»? — идиотски переспросил я.

— В том самом, — ответила она. — В самом что ни на есть том самом.

Я не знал, что ответить Карине, не знал, что говорят в таких случаях, потому что таких случаев в моей жизни еще не было. Благо она и не ждала от меня никаких слов, а говорила сама — видно, очень давно хотелось с кем-нибудь поделиться.

— Знаешь, как получилось по-дурацки. Хасиды мои во Флориду переехали. С мужем поругалась. Любовник, как

узнал, что мне теперь за квартиру надо платить, ушел. Ну, с квартиры я съехала, у подруги пожила, но у нее ведь своя личная жизнь. Работу, конечно, искала. Сунулась в пару мест — не берут, а тут в газете объявление: «Требуется красивые женщины до сорока лет. Большие заработки». Я ведь всегда была красивая, правда?

— Правда, — с какой-то даже излишней готовностью подтвердил я.

— Ну вот, я и позвонила. Они со мной ни в какие игры играть не стали — сразу все объяснили, да я и так уже понимала. Не маленькая. Деньги действительно были приличные, и в квартире своей они мне разрешили жить. Так что остается много. Я маме посылаю. У меня ведь отец умер два года назад, я тебе говорила?

— Нет, не говорила.

— Ну вот, говорю.

— А может, другие хасиды нашлись бы? — тупо уставившись в чашку с кофе, спросил я.

— Ты когда-нибудь работал у хасидов?

Я помотал головой.

— Тогда ты все равно не поймешь, даже не имеет смысла рассказывать... Ты не думай, там чисто все, гигиена. Они хорошо со мной обращаются, не бьют, деньги вовремя платят. Денег много. Тебе не нужно? Я могу одолжить. Без отдачи. Я ведь тебе говорила, я и маме посылаю. Она, правда, не знает ничего.

— Естественно.

Я почему-то вспомнил Каринину маму, которая всю жизнь повторяла ей: «Ты рождена для любви, и только для любви». Как в воду мама смотрела.

— Правда, извращенцы иногда попадают страшные. Наши еще ничего. А американцы — это нечто. Я ведь еще и по-английски не очень. Не всегда понимаю даже, чего они от меня хотят.

— Ну и как же?

— Как? Один раз даже менеджера пришлось звать, чтобы он разобрался.

— Учить надо английский. — Это я, наверное, все-таки напрасно сказал.

— Я вообще-то коплю, чтобы бросить потом. И объявления в газетах смотрю, про краски, но ничего не подворачивается пока.

— Ты не хочешь у нас пожить? — спросил я.

— Жена не приревнует? — Она опять улыбнулась. — Спасибо, конечно, но это не нужно. Я ведь не жалуюсь. Все нормально. Ты вот выучил английский и теперь торгуешь этим. Тоже ведь не ради переводов сюда ломанулся. А у меня свое. Все мы продаемся в той или иной степени. Так что все в порядке. — Она помолчала. — Может, все-таки выпьешь?

Американцев среди моих знакомых, честно говоря, немного, но был когда-то один (назовем его Роберт), с которым мы реально подружились. Роберту было тогда сильно за тридцать, он был достаточно богат для того, чтобы не ходить каждый день на работу, жил в собственном доме в Мидвуде, но был несказанно одинок. Все его попытки найти себе жену оканчивались неизменным провалом, и в конце концов он просто сдался, даже перестал искать. По инерции мы все еще пытались его с кем-то познакомить, но никакого интереса к прекрасному полу он, казалось, не проявлял.

Однажды Роберт позвонил мне и сказал, что хочет прийти к нам в гости со своей новой подругой. «Она русская, — добавил он перед тем, как повесить трубку, — так что вам будет интересно».

Договорились мы на субботу, звонок в дверь раздался ровно в семь часов вечера — Роберт был необычайно пунктуален. Я как раз тащил тарелки с кухни в гостиную, и от-

крывать им пошла моя жена Татьяна. Из коридора донеслись возгласы взаимных приветствий, жена назвала свое имя, а потом я услышал знакомый голос:

— Очень приятно. Карина.

Тот вечер с Робертом и его «новой подругой» запомнился нам с Татьяной надолго. Услышав ее голос, я уже было приготовился играть роль партизана на допросе в гестапо, но, войдя в комнату, Карина бросилась прямо мне на шею.

— Ой, привет! Это ты? А я ведь и не знала, к кому мы идем.

И она стала на ломаном английском рассказывать Роберту про нашу французскую школу. Татьяна, которая, хоть и видела Карину впервые в жизни, но была в курсе ее перипетий, сделала мне за спиной гостей круглые глаза и продолжила как ни в чем не бывало играть роль радушной хозяйки.

Вечер прошел в общем и целом неплохо, а под конец Роберт вызвал меня на кухню покурить.

— Ну как она тебе?

— Да мы же тысячу лет знакомы. Она — замечательный человек. И красивая очень.

— Да, очень. Угадай, как я с ней познакомился.

— Ну как я могу угадать? Через кого-нибудь из наших?

— Нет. Через эскорт-сервис.

После того вечера Роберт звонил мне чуть ли не каждый день. Счастьем ведь иногда хочется поделиться ничуть не в меньшей степени, чем горем. А Роберт был по-настоящему счастлив, наверное, потому, что он был влюблен.

Вскоре Карина переехала жить в его дом в Мидвуде. Роберта, похоже, ничуть не смущало ее прошлое. Он и не думал ничего скрывать, что вызывало у некоторых наших знакомых легкий шок.

Еще через несколько месяцев Роберт сделал Карине предложение и, в соответствии с доброй американской традицией, подарил кольцо с бриллиантом. Карина ответила согласием.

Перед днем рождения Татьяны я позвонил им, чтобы пригласить в гости. Роберт поблагодарил за приглашение и сказал, что обязательно придет.

— А Карина? — спросил я.

— Насчет Карины не знаю.

— Как не знаешь? У нее все в порядке?

— Понятия не имею.

— Что-то случилось?

— Ничего не случилось, просто я случайно узнал, что она все это время продолжала работать.

— Где работать? — сначала не понял я, а потом до меня дошло.

— Понимаешь, она сказала, что ей не нужны мои деньги, что это стесняет ее свободу, что она не хочет всю жизнь чувствовать себя обязанной. Что она ничего не может с собой поделать.

— А ты?

— А я что могу поделать?

На этот вопрос у меня ответа не было.

— Да, кольцо она мне, кстати, вернула. Сама. По почте прислала заказным письмом.

С тех пор Роберт мне звонить перестал. Общие знакомые, с возмущением обсуждавшие эту историю в течение еще нескольких месяцев, рассказали как-то, что он продал свой дом и переехал в другой штат. Кажется, в Калифорнию. А Карину я после этого тоже больше ни разу не видел, и о ее дальнейшей судьбе мне ничего не известно.

...Иисус же пошел на гору Елеонскую. А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к Нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши. (Евангелие от Иоанна, глава 8.)

КУПАНИЕ КРАСНОГО «МЕРСЕДЕСА»

Михаил Петрович всегда утверждал, что в автомобиле самое главное — это цвет. В Москве, где он был моим соседом по лестничной площадке, у него была старенькая «копейка» — как он говорил, «серая в яблоках». Называл он ее Росинантом, мыл каждый день, на запчасти тратил чуть ли не ползарплаты — так что жена даже грозилась уйти от него. Правда, я предполагал, что ей не денег жалко было, а ревновала она Петровича.

— И чего она ко мне цепляется, — жаловался Петрович. — Понимаю, если бы я завел себе кого, а то ведь машина это. Неужели не понятно?

Голос его доносился из-под Росинанта — Петрович в очередной раз что-то там чинил, а я стоял около него и думал, что мир взрослых — это полная загадка, разгадывать которую не только сложно, но и откровенно не интересно.

Вообще надо сказать, что Петрович и Алла являли собой довольно-таки странную пару, хотя я это только потом осознал. В детстве многие, даже самые странные вещи воспринимаются как совершенно естественные, и меня мало смущало, что Алла была старше Петровича на добрых пятнадцать лет, но выглядела при этом так, как будто он приходился ей отцом. Это, конечно, соседи так говорили, а мне, в мои тогдашние двенадцать, они оба казались глубокими стариками, хотя, по теперешним подсчетам, Петровичу никак не могло быть больше сорока. На Дон Кихота он, кстати, был совершенно не похож. Скорее наоборот — напоминал его небезызвестного оруженосца, по крайней мере внешне. По характеру же в нем от жизнерадостного Санчо Пансы вовсе ничего не было. Кажется, я вообще ни разу не слышал, чтобы Петрович смеялся. Наверное, даже законченный с красным дипломом столичный вуз и долгие годы жизни в Москве не смогли одолеть его то ли заложенной в деревенском детстве, то ли врожденной «тихости». Бывают на свете еще такие люди, главная мечта которых — стать незаметными.

В то лето я как раз читал Сервантеса, желто-красный пятитомник которого стоял у родителей в книжном шкафу, и его считающийся великим роман казался мне невероятно скучным. Я никак не мог понять, что находят в этой почти тысячестраничной тягомотине взрослые, и в конце концов бросил книгу, так и не дочитав ее до конца. Запомнил только, что Дон Кихот был долговязым, до-

брым и наивным чудаком-мечтателем, а Санчо Панса — приземленным реалистом. Запомнил еще про ветряные мельницы, с которыми сражался главный герой, а может, это мне сейчас только кажется, что запомнил, — на самом деле наверняка уже гораздо позже слышал об этом отовсюду. Помоему, я до этого места в романе и не дошел тогда вовсе.

Петрович с ветряными мельницами в жизни никогда не сражался. Был он скромным инженером, работал прилежно, но без блеска, и начальство ценило его скорее за исполнительность, чем за какие-то особенные таланты. Алла же, наоборот, сделала неплохую карьеру в каком-то экономическом институте, защитила кандидатскую диссертацию, а когда ей, как она объяснила моим родителям, из-за пятого пункта провалили докторскую, решила уехать.

— Вот знаешь, какая штука эти ветряные мельницы, — говорил мне Петрович в то лето. — Они только кажутся безобидными, а на самом деле, если приглядеться к ним повнимательнее, то это настоящие монстры. Так закрутить-завертеть могут — потом ни в жизнь не разберешься, что к чему...

Я терпеливо ждал, пока Петрович выберется из-под машины, и смотрел на огромное дерево, которое росло у нас во дворе. Листья на нем были такими зелеными и их было так много, что не хотелось думать об осени.

— Ну ничего, Лешка, — кряхтел Петрович, вылезая из-под своего Росинанта, которого он тогда ремонтировал в последний раз, чтобы продать перед отъездом. — Мы еще поедем с тобой на красном «Мерседесе». Покатаемся.

Прожив в Америке 20 лет, я так и не удосужился обзавестись машиной. Нет, водительские права у меня, конечно, есть, хотя и получил я их с превеликим трудом с четвертого раза, но вот покупать свой автомобиль у меня как-то никогда не было особого желания. В Нью-Йорке, слава богу, достаточ-

но развит общественный транспорт, и возиться с парковкой, страховкой, штрафами, пробками, полицией... как говорят у нас на Брайтоне, мне это надо? Да и куда бы я стал на этом автомобиле ездить? В «Интернэшнл фуд» за ветчинкой? Так меня туда прекрасно и автобус В1 довозит. Манхэттен я в последнее время не люблю (когда любил, то и жил там), езжу туда только по необходимости, но в будний день тот Q, который идет экспрессом, доезжает до 14-й улицы максимум за 40 минут — на машине добираться туда никак не меньше, а если в пробку попадешь, то и гораздо дольше. К тому же в метро можно посидеть спокойно, книжку какую-нибудь хорошую почитать, а за рулем такой роскоши себе не позволишь. Как говорит моя жена Татьяна, когда ты едешь в метро, то везут тебя, а когда в машине — то везешь ты. Прибавьте к этому ремонты, техосмотры, стоимость бензина — и, может быть, вы поймете, почему, даже если бы мне какой-нибудь автомобиль за просто так дали, я бы такого подарка не принял. Знаете, бывают такие подарки — типа того, что данайцы преподнесли жителям осажденной Трои? На вид вроде тот же самый конь, благородное животное, а на самом деле в нем такое...

Я еще могу понять несчастных жителей других американских городов. Моему брату, например, для того, чтобы пакет молока купить, надо машину из гаража выводить и минут двадцать до ближайшего «7-11» ехать. Но у меня-то для этого «Золотой ключик» под боком есть — так зачем мне автомобиль?

— Дурак ты, Лешка, — говорит мне Петрович. — Столько лет прошло, смотри, какой ты вымахал дядька — толстый, лысый, а в жизни так и не понял ничего. Машина человеку свободу дает. Человек, он маленький, слабый, что он сам по себе может? А в машину сел и поехал куда хочешь.

— А куда бы вам хотелось поехать? — спрашиваю я.

— Ну как куда? Куда угодно. В прошлом году в Катскильские горы с Аллой ездили. Ей очень понравилось. В этом году — во Флориду поедem. Я туда за сутки доехать могу, если без остановок рулить.

Самое смешное даже не то, что мы с Петровичем опять живем в одном доме. Это как раз получилось совершенно случайно — мы и встретились-то через много лет после того душного московского лета. Меня жена послала мусор выносить, а он на лестницу покурить вышел. Он меня не узнал, конечно, а я его — сразу.

— Здравствуйте, Михаил Петрович, — говорю. — Лешу из сорок пятой квартиры помните? Вы меня еще на красном «Мерседесе» покатаь обещали.

— Помню, — отвечает он и делает очередную затяжку. — Выходи к подъезду через десять минут — прокачу.

Самое смешное даже не то, что он несколько не удивился и не начал расспрашивать о жизни и общих знакомых, как это имеют обыкновение делать другие люди, с которыми уже совсем было потерялась связь и которые вдруг опять возникают из нашего прошлого, как не призраки даже, а скорее наоборот — как признаки того, что, хоть время и не стоит на месте, но, по сути, ничего в нашей жизни не меняется. Самое смешное — это то, что, когда я через десять минут вышел из подъезда, там меня действительно ждал выкрашенный ярко-красной краской «Мерседес». Петрович сидел за рулем и радостно улыбался. Было видно, что он абсолютно счастлив.

— Сейчас купать его повезем, — сказал он.

— Кого? — спросил я.

— Росинанта.

В доказательство моей правоты я должен был бы закончить эту главу сообщением о том, какое фиаско потерпел Петрович из-за своей любви к автомобилям. Как, например, от

него ушла Алла или как они разбили свой красный автомобиль вдребезги и при этом чуть не погибли. Для полноты картины могли бы даже и погибнуть или на худой конец оказаться в больнице с тяжелыми травмами. Но на самом деле ничего этого не произошло.

Откуда Петрович взял деньги на «Мерседес», я не знаю. Он вроде пенсию какую-то получает. Алла — тем более. Живут они душа в душу, больше не ссорятся, из Флориды вернулись загорелые и абсолютно довольные жизнью. В будущем году собираются в Канаду — на озера.

Когда же я заговариваю с Петровичем о нашем московском дворе, о дереве огромном, которое там росло, о его «копейке», серой в яблоках, он довольно резко обрывает меня.

— Дурак ты все-таки, Лешка, — говорит он, выныривая из-под капота своего нового Росинанта. — Ничего ты в этой жизни так и не понял. И не поймешь уже, наверное, никогда. Дурак ты все-таки полный.

ЭКРАН ГОЛУБОЙ МЕЧТЫ

— Все зло на свете от телевизора, — говорит Алик и наливает нам по второй. Вернее, это мне он наливает вторую, а сколько им самим было выпито до того, как пятнадцать минут тому назад он неожиданно возник на пороге моей квартиры, я знать никак не могу. Предположить, судя, например, по некоторым интонациям в голосе, могу, а знать наверняка — никак.

— Прямо-таки все? — говорю я и рукой показываю Алику, что больше наливать мне пока не надо.

— Абсолютно все, — подтверждает он, делая вид, что не замечает моего жеста. — Вот смотри...

Водка льется через край здорового фужера (Алик всегда считал, что пить ее из рюмок безнравственно), но

я вижу, что протестовать бесполезно, и молчу. Мой гость наконец останавливается.

— Разве я не знаю, что это гадость? — Он обводит рукой мою кухню, но мне понятно, что он имеет в виду не ее, не груды немытой посуды в раковине, не ржавые подтеки на стенах, напоминающие о том дне, когда у соседей сверху прорвало водопроводную трубу, не лампочку без абажура, качающуюся под потолком, как один из пяти предводителей декабристов, которым так завидовал Пушкин, и даже не всю нашу жизнь в целом. — Знаю, что гадость, и все равно пью. Пью ее, потому что без нее у меня теперь в мозгу сахар не расщепляется и мыслительный процесс отказывается идти, как ему положено. А еще знаю, что расщепить-то реально нужно всего грамм сто, чтоб приподняло чуть-чуть, и уже достаточно. Но вот ты когда-нибудь видел, чтобы я на ста граммах остановился?

— Нет, никогда, — отвечаю я, и это чистая правда.

— Никто не видел, — говорит Алик и пододвигает мне фужер с водкой, еще больше расплескивая ее по заштопанной скотчем зеленой клеенке. — Ладно, что-то затянулась у нас эта... рекламная пауза.

Мы пьем не чокаясь и без тостов — Алик подобных глупостей не переносит. Он считает, что это опошляет весь процесс, превращает нормальную мужскую беседу в банальное застолье. Да и за что пить-то? За здоровье? Так его от этого навряд ли прибавится. За удачу? За счастье? За прекрасных дам? За тех, кто в море? Нет, все-таки в этом отношении Алик прав абсолютно.

— Вот смотри, — говорит он, закусывая куском «одесской» колбасы, которую я вчера купил в «Золотом ключике» на распродаже. — Вот ты сидишь сейчас и злишься, что я к тебе без приглашения вломился, без звонка, что тебе теперь пить со мной надо, разговоры разговаривать. А ведь когда ты телик свой включаешь, ты точно так же впускаешь в свою квартиру всяких людей, которых ты тоже не

приглашал и которые, заметь, могут оказаться гораздо менее приятными собеседниками, чем я.

— Их всегда выключить можно, — говорю я и тянусь за последним куском колбасы.

— Меня ты тоже можешь выключить, причем раз и навсегда. Правда, без меня ты прекрасно обойдешься, а без них уже вряд ли. Потому что у тебя без них теперь тоже что-то там не расщепляется. Ты так привык, что они тебе все рассказывают, все разжевывают за тебя — как тебе жить, что думать, какие продукты покупать.

— «Одесскую» по телевизору не рекламируют, — замечаю я, — а я ее все равно покупаю.

— Это не важно, — говорит Алик, опять берет в руки бутылку и разливает остатки ее содержимого по нашим фужерам. — Ты покупаешь, а другие нет. Другие только пиццу теперь едят, а предел их мечтаний — это поход всей семьей в «Макдоналдс». Они что видят по телевизору, то и едят. Что видят, то и хотят. Особенно дети. Их с пеленок самых растят для тех товаров, которые продавать нужно. Они точно знают, какой фирмы кроссовки должны быть, что на майке должно быть написано, что — на кепке. Потому что им так по телевизору показали. А если вдруг им купят кепку, на которой что-то другое написано будет, то они от этого из окна могут выброситься или повеситься.

— При чем здесь дети? Мы разве дети? — пытаюсь возражать я и понимаю, что от выпитой водки и от всего этого разговора мне ужасно хочется закурить, хотя я бросил два месяца назад и последние несколько дней уже казалось, что в этот раз навсегда.

— Мы хуже, чем дети, — говорит Алик. — Гораздо хуже. А рулить нами так же легко. Может, даже еще легче.

Он лезет в карман, достает оттуда запечатанную пачку «Мальборо» и протягивает ее мне.

— Откуда у тебя? Ты же не куришь.

— Не курю, — кивает головой он.

— Что-то случилось? — спрашиваю я. — Телевизор сломался?

— Нет, все пучком. Телевизор работает, холодильник тоже. — Он ставит на стол пустую бутылку. — Ну, ушла она. Так не в первый же раз. Раньше всегда возвращалась, и сейчас вернется.

Я закуриваю, а он поднимает свой фужер и смотрит через него на меня, на потемневшую от пыли карту мира на стене за моей спиной и на сигаретный дым, медленно поднимающийся к висящему под потолком «декабристу».

Алика я знаю со школы. Правда, мы там учились в параллельных классах и почти никогда не пересекались. В Нью-Йорк он приехал на несколько лет позже меня и разыскал через каких-то общих знакомых. Сказать, что я был от этого в восторге, никак нельзя. Ну, посидели один раз, выпили, поговорили, вспомнили химичку нашу зловредную, одноклассников. Кто там из них как, где, с кем и почему. А дальше что? Через месяц опять химичку вспоминали, еще через пару недель по третьему кругу пошли.

Алик делал при этом довольно внушительную карьеру — впрочем, он был профессиональным программистом, с солидным, советским еще, образованием, так что ничего удивительного в этом не было. Его жена Мила с гордостью рассказывала, что на третьем курсе он сам какой-то язык компьютерный изобрел, потом на работе весь отдел на себе тащил — один там за всех все программы писал. Надоело, и решил уехать.

Мила говорила мало, но всегда с каким-то значением, немного даже растягивая слова. Да и вообще вела себя так, как и подобает красивым женщинам. Впрочем, и Алик тоже был не урод, так что вместе они с Милой смотре-

лись как пара с какой-нибудь журнальной картинки. Или с телеэкрана. Из передачи про богатых и незнаменитых.

Через год они уже купили дом в Нью-Джерси, но видется от этого реже мы не стали. Они все равно приезжали на Брайтон за продуктами и регулярно заходили — чаще всего без звонка.

Мила на работу не устраивалась, сидела дома с ребенком, книжки всякие умные читала, нам их потом пересказывала.

— Недавно я прочла, — говорила, например, она, — что канадцы такой эксперимент поставили. Провели одному племени эскимосскому телевидение. Так там за год преступность утроилась. Эскимосы воровать начали, пьянствовать, драться, дебоширить. А потом у них впервые за последние чуть ли не тридцать лет человека убили. Муж жену из ревности застрелил. Как ты думаешь, Алик, он это по телевизору увидел?

— Наверное, «Отелло» накануне показывали, — попыталась разрядить обстановку моя жена.

— А вот у некоторых теперь вообще телевизора нет, — улыбнулась Мила. — Так что им такие ужасы не грозят. Им теперь вообще все абсолютно без-раз-лично.

— Вот смотри, — говорит Алик и достает из стоящего у его ног полиэтиленового пакета еще одну бутылку. — Телевизор вытеснил все — театр, книги, общение. Человек приходит с работы, утыкается в экран этот. А там уже все готово для него, все отобрано, что ему посмотреть надо. Немножко порнушки, немножко крови, чуть-чуть политики, потом веселое что-нибудь, да еще с фонограммой, на которой смех записан: сам-то он не понимает, в каких местах смеяться надо. Или шутки такие пошли, что без фонограммы все, наоборот, рыдать начнут?

— Может, у тебя просто с чувством юмора проблемы и ты этих шуток не понимаешь? — спрашиваю я, реши-

тельно отодвигая свой фужер так, чтобы Алик не мог до него дотянуться.

— Не придуривайся, ты ведь прекрасно знаешь, о чем я. — Он как ни в чем не бывало тянется через весь стол за моим фужером. — Они ведь хотят прямо в голову к человеку залезть, в самый мозжечок, в самый, прости за грубое слово, эпиталамус. И ведь как хитро все делают, гады. Вроде бы и разнообразие мнений у них, и объективность освещения событий, а если присмотреться повнимательнее — то все в одну дудку дудят, все под одну музыку пляшут. Хочешь — переключай программы, хочешь — нет. Все равно всюду одно и то же. Только лица меняются. Одно другого краше.

— Бывают вещи и пострашнее телевизора, — говорю я. — Вот при декабристах, например, не было телевизора, так ты что, думаешь, люди лучше были?

— Нет, не думаю, — отвечает Алик. — Люди были такими же, но вот управлять ими, голову им морочить было труднее.

— Но бывает же такое, что просто новости хочется узнать. — Я с тоской смотрю, как опять наполняется водкой мой фужер. — Не сериалы эти дурацкие смотреть, не мыло, не аналитиков-паразитиков, а просто новости. Посмотреть быстренько и сразу же выключить.

— Новости, Леша, у Парменида, — говорит Алик. — Закусить у вас есть здесь еще что-нибудь?

— Это ты прямо сейчас придумал? Сам?

— Нет, это Биbihин сказал. Философ такой был, в МГУ преподавал. По Хайдеггеру специализировался.

— А Парменид — это кто?

— Парменид — это тот, который не Гераклит. Гераклит считал, что все течет и изменяется, и поэтому в одну воду дважды не войдешь. А Парменид, наоборот, был уверен, что не меняется никогда и ничего.

— Так ты что, хочешь сказать, что она насмотрелась красивой жизни по ящику и из-за этого ушла от тебя?

— Нет, конечно. — Он останавливается на полуслове, как будто хочет еще что-то добавить, а потом поднимает голову. — Так есть еще закуска?

— Татьяна обещала по дороге домой в магазин зайти. — Я смотрю на часы, которые болтаются у меня на руке. Браслет их блестящий мне как минимум на два размера велик, а подтянуть его ни времени, ни сил, ни желания не наблюдается. — Скоро уже вернуться должна.

— Ладно, — говорит Алик, — тогда давай без закуски выпьем. Только я сначала тост скажу.

От удивления я даже поднимаю мой наполненный до краев фужер.

— За сбытие мечт, — говорит Алик. — Вот у тебя, например, есть мечта?

— Есть, конечно. А у тебя?

— Тоже есть.

— Какая?

— Не имеет значения, — говорит он. — Понимаешь?

Я понимаю, и мы пьем молча, не говоря ни слова. За школу нашу, за химичку, за одноклассников, раскиданных по всему свету, за Пестеля с Муравьевым-Апостолом, за Пушкина, за Москву, какой мы ее помним и какой она уже больше никогда не будет, за Америку, где сбываются мечты, за Милу, за жизнь с телевизором и без, ну и за нас самих, конечно, — за тех, какими мы были и какими не были никогда.

Мы пьем молча, в полной тишине, как, по представлениям Алика, пьют настоящие мужчины, когда им есть что сказать друг другу. Так пьют за что-то очень серьезное, что больше и важнее слов. За сбытие мечт, например, за тех, кто в море, или еще за покойников.

ЕДА ТРЕВОГИ НАШЕЙ

Как и полагается всякому не очень умному и плохо образованному человеку, я имею собственное мнение абсолютно по всем вопросам. Поэтому, когда за столом у Родзянских заходит речь о том, какая кухня лучше — французская или итальянская, я тоже не могу молчать.

— Вот вы все возмущаетесь, что во Франции Ле Пен вышел во второй тур президентских выборов, — говорю я, пододвигая к себе тарелку с салатом «оливье» — фирменным блюдом хозяйки дома Милы. — Весь мир возмущен. Французов почему-то в антисемитизме обвиняют, хотя Ле Пен о евреях ничего и не говорил никогда. Да и ни при чем тут евреи. Два года назад мы с Татьяной были у наших друзей в Марселе — и весь город обошли в поисках настоящей французской булочки с изюмом.

— Неужели не нашли? — спрашивает Алик и обнимает жену за плечи.

— Неправильные вопросы задаешь, дорогой, — говорит Мила и, освободившись от его руки, поднимается из-за стола. — У меня там сейчас курица сгорит, а вы тут о каких-то булочках французских.

— Представь себе, не нашли, — говорю я. — Нет в Марселе больше булочек с изюмом. И блинов настоящих тоже нет. Один кускус повсюду. Нашли одно кафе, на котором было написано «Блины», так там марокканцы нам подали нечто совершенно невообразимое — лепешки какие-то из гречневой муки. Поверьте мне, в Нью-Йорке на улице выдающие себя за французов мексиканцы лучше блины делают, чем то, что нам в Марселе подавали.

— Ну и что? — говорит Вадим, отрезая толстый ломоть от куска буженины, которую Мила тоже сделала сама и тоже, как всегда, неповторимо.

— А вот и то, — говорю я. — Посмотри, мы все тут прожили по многу лет, а что мы едим? Посмотри, что у нас на

столе чаще всего? Рыбка, колбаска, салатик «оливье». Пирожки всякие. Пельмени. Котлетки с картошечкой. Как любили мы это все с детства, так и любим до сих пор.

— Я, например, суши больше люблю, чем котлеты, — говорит жена Вадима Надя.

— Это только потому, что котлеты ты готовить не умеешь, — замечает ее муж. — Но не у всех же русских магазины под боком есть, как у тебя. Большинство в супермаркетах закупается, а потом всю неделю преспокойно это жует.

— Зачем же они тогда к нам на Брайтон за продуктами ездят? — спрашиваю я, но Вадим не успевает ответить.

— Все вообще из-за этой жрачки произошло, — говорит Алик и задумчиво отправляет в рот кусок буженины. — За кусок колбасы, получается, Родину продали. По «голосам» всяким нам наговорили, что на Западе колбасы этой двадцать восемь сортов, вот мы и ломанулись — где поглубже.

— Почему за кусок колбасы? Я, например, за суши Родину продала, — улыбается Надя своей вечно загадочной улыбкой. — Я суши больше люблю, чем колбасу.

— Тогда тебе надо было в Японию эмигрировать, — говорит Вадим и поворачивается к Алику. — А что плохого в жрачке? Что-то я не замечал, чтобы ты посты какие-нибудь соблюдал. Или вегетарианством увлекся. Наворачиваешь тут... Естественно, кто хотел в Рашке с голоду подышать? Кончилась жратва там, и свалили все, кто мог.

— А мне все равно, что я ем, — говорит Алена, которая одна среди нас без парочки. — «Кормить меня легко, любить — сплошное мучение». Это Хвост про меня написал. Еще в Питере. А однажды я две недели ничего не ела. Вообще ничего. У меня денег даже на метро не было, не то что на еду. И ничего — выжила. Похудела только здорово, но все утверждали, что мне это идет.

— Вот вам и секрет всех диет, — опять улыбается Надя. — Меня одна американка давно пыталась научить: хочешь похудеть — не ешь. Все очень просто.

— Их еду действительно лучше не есть, — говорит Алик. — Минздрав предупреждает: опасно для жизни.

— Вы дадите Леше договорить или нет? — Мила выносит из кухни поднос с курицей и на мгновение застывает в дверном проеме.

— Да, Леш, давай. Что ты хотел сказать? — говорит Татьяна, которая сидит рядом с Аленой, то есть прямо напротив меня. — Интересно ж все-таки, что умный человек скажет.

— А я уже все сказал, что хотел, — говорю я и опускаю глаза в тарелку. — Не хотят французы кускусом питаться. Хотят блины и булочки с изюмом — вот и голосуют за Ле Пена. А теперь они Сенегалу в футбол продали, и опять все удивляются. А что удивляться-то? У них в национальной сборной французов и нет почти. Одни негры и арабы. Зачем им за Францию против своих бороться?

— Всего двадцать процентов за Ле Пена проголосовало. — Вадим порезал буженину на аккуратные кусочки и теперь методично отправляет их в рот один за другим, заедая все тем же «оливье», который сегодня у Милы действительно получился даже лучше обычного. — Двадцать процентов фашистов и маргиналов.

— Это каждый пятый — маргинал? — искренне удивляется Алик.

— Двадцать процентов электората, — говорю я, — то есть почти половина коренного населения.

— Французов то есть, — говорит Мила, уже приступившая к разрезанию курицы. — Молодец, Леш. Здорово загнул.

— Да Леша у нас известное дело — ума палата, — Татьяна смотрит на меня через стол и улыбается. — Палата представителей. Верхняя.

— Палата номер шесть, — говорит Алик. — Продали Родину за кусок колбасы, так хоть имейте смелость в этом

признаться. Не случайно ж в «Интернэшнл фуд» плакат «Жизнь удалась» над колбасным прилавком повесили.

— А буддисты считают, что кто кого ест, тот тем в следующем перерождении и будет. — Алена достает из пачки сигарету, а Вадик, оторвавшись от буженины, чиркает своей «зинновской» зажигалкой. — Вот мы сейчас буженину ели, значит, все потом реинкарнируемся в свиной.

— То есть по сути ничего не изменится, — говорит Алик.

— А мы сейчас эту буженинку курятинной разбавим и будем тогда полукурами-полусвинками, — говорит Вадим, которого Алена так и заставляет до сих пор держать зажигалку перед ее сигаретой. — Моя, например, таким хорошеньким поросеночком будет. Так и вижу ее с пяточком и хвостиком, да еще с крылышками цыплячьими.

Алена наконец прикуривает.

— Мне Анна Андреевна рассказывала, что в блокаду они в Ленинграде кошек ели, — задумчиво говорит она.

В ее личное знакомство с Ахматовой мало кто из нас верит, но мы уже привыкли и не обращаем внимания на то, что при сегодняшнем Аленином сорокалетнем возрасте Анна Андреевна вряд ли могла что-нибудь ей рассказывать. А даже если и рассказывала, то Алена тогда была грудным младенцем и все равно этих рассказов не запомнила бы. К тому же Ахматова вообще эвакуировалась в Ташкент, а Ташкент, как известно, город хлебный. Так что она там «Поэму без героя» сочиняла, а не кошатину ела.

— Я бы нашего Мурзика есть не стал, — говорю я. — Даже если афганцы переплывут на плотах Атлантический океан и весь Нью-Йорк в блокадное кольцо возьмут, а хлеб нам Блумберг по карточкам выдавать будет, я Мурзика все равно не съем.

— Это потому, что он Мурзика любит больше, чем меня, — говорит Татьяна.

— Дурацкий у вас разговор, — говорит Мила и начинает раскладывать курицу по тарелкам. — Ежику в пол-

ном тумане понятно, что лучше поест, чем голодным ходить. И что лучше есть вкусно, чем дрянь всякую.

— Американцы вон для своей еды специальное название придумали — «помоечная», — говорю я. — Так и называют «junk food». И ничего, едят ее всю жизнь и считают, что ничего вкуснее гамбургера двойного на свете не бывает.

— И что плохого в этом? — говорит Вадим. — Неужели лучше, как французы твои, всякими соусами белыми и лягушками объедаться?

— У меня в Союзе француженка была знакомая, — на редкость уместно вставляет Алик. — Она все удивлялась, что мы постоянно о серьезном за столом говорим. Я у нее спросил как-то: а французы о чем говорят? Она захихикала так и отвечает: «О еде, конечно. Ну, еще про вино иногда». А теперь и мы тут хуже лягушатников стали, только о жрачке и говорим. Американцы хоть не обсуждают гамбургеры свои — все равно они в каждом «Макдоналдсе» одинаковые. А вот где «одесская» колбаса лучше — в «Золотом ключике» или в «Интернэшнле» — это уже серьезная тема для большого разговора. Да, Леш?

— А меня недавно пригласили в один французский ресторан, — говорит Алена. — Как он называется, не скажу, чтобы никто не завидовал. Так вот, кавалера, который меня пригласил и целое состояние там за наш ужин выложил, всю ночь потом рвало, а у меня понос был.

— Мил, курица обалденная, — говорит Надя. — Научишь?

— У тебя все равно так не получится, — перебивает ее Вадим. — Не учи ее, Мила, не надо. Бесполезное это занятие.

— Дети, не ссорьтесь, — улыбается Мила и садится на свое место рядом с Аликом. И хотя при этом она чуть-чуть отодвигает свой стул от него, мне кажется, она сама не отдает себе отчета в своем почти что бессознательном движении.

На какое-то время за столом воцаряется тишина — все заняты курицей.

— Ну что, Лешенька, скажешь нам еще что-нибудь? — говорит наконец Татьяна. — Что-нибудь умное. Как всегда.

— Давай лучше я скажу, — говорит Алик.

— Если опять про то, что мы Родину за кусок колбасы продали, то лучше не надо, — говорит Мила. — А то у нас еще десерт впереди.

— Какой? — интересуется Надя.

— Это сюрприз, — опять улыбается Мила.

— А я вот в «Интернэшнле» вчера была, — говорит Татьяна. — Так там в очереди в колбасный отдел, прямо под плакатом этим про «удавшуюся жизнь», стоял старичок один, разглядывал колбасу их, все ее двадцать восемь сортов, и повторял: «Какой мистэйк я совершил. Какой мистэйк».

— В Рашке сейчас не хуже колбаса, — говорит Вадим. — Так что «мистэйк» этот можно легко исправить. Правда, Леш?

— Правда, — соглашаюсь я, и в этот момент я действительно в это верю.

Я люблю своих друзей. Мы знакомы уже много лет и знаем друг друга досконально, до мелочей. Я знаю, что Алик любит Милу, а она его — нет. Я знаю, что Вадим и Надя — идеальная пара, потому что они никогда не ссорятся и у них вообще все хорошо. Я знаю, что у Алены своя, очень странная временами, жизнь и что она придумывает про себя такие вещи, в которые никто, кроме нее, все равно не верит. Может, она и сама тоже в них не очень верит или, по крайней мере, сомневается иногда, что все действительно было так, как она нам рассказывает.

Я знаю, что нам чаще всего хорошо вместе — иначе зачем, спрашивается, мы стали бы с такой завидной регу-

лярностью встречаться и вести эти бессмысленные разговоры о том, чего изменить мы все равно не можем. Или не хотим.

На десерт у Родзянских в тот вечер, кстати, был «наполеон». Домашний. Мила сама сделала. Как всегда, очень вкусный. Лучше, чем в Париже. А когда мы с Татьяной вернулись домой, Мурзик мирно спал на кухне.

БИЗНЕС — ЭТО НАШЕ ВСЕ

С тех пор как редакция «Еврейского базара» любезно согласилась печатать мои рассказы, я заметил, что некоторые старинные знакомые теперь обходят меня стороной, делают вид, что не узнают на улице, или совершенно откровенно не здороваются при встрече. Даже Татьяна обиделась на то, что ее образ получается каким-то несимпатичным.

— А ты не называй меня дураком, тогда я и писать этого не буду, — говорю я. — Я ведь только одну правду пишу, ничего не придумываю.

— А я придумываю, что ли? Чего же ты обижаешься? — спрашивает Татьяна. — Но при тебе теперь ничего вообще сказать нельзя. Каждое слово прямо на газетную полосу идет.

— Я вас всех опишу, — говорю я, — и всем вам таким образом отомщу. За все.

— Пепел Довлатова стучит в его сердце, — говорит Алик и разливает водку по стоящим на столе фужерам. — Слава Лимонова не дает ему спать по ночам.

— Я из-за этого с Довлатовым вообще общаться отказывалась, — говорит Алена. — Он однажды сказал: «Алена, как вам понравится, если я приглашу вас поужинать?» — «Если мне понравится, — ответила я, — то я, Сережа, приглашу вас позавтракать». Я все время боялась,

что я ему дам случайно, а он потом это в рассказ какой-нибудь тиснет.

— Но я ведь тебя поужинать не приглашаю, — говорю я. — Так чего ты боишься?

— А тебя я и не боюсь, — говорит Алена. — Ты что, всерьез себя с Довлатовым сравниваешь?

Мы сидим в ресторане «Эдем» и отмечаем пятилетие того рокового дня, когда Вадим и Надя выкупили его у разорившихся прежних хозяев. Вообще-то в Америке рестораном называется всякая забегаловка — даже те, где ничего, кроме яичниц с беконом и отвратительного кофе, отродясь не подавали, но «Эдем» — это совершенно другой случай. Даже по меркам брайтонских дворцов общепита у Малининых — заведение отменное. Два этажа, два, соответственно, огромных зала: один специализируется на русской, второй — на французской кухне. Интерьер «русского» зала оформлен под избу, «французского» — в стиле ар-деко начала прошлого уже, как это ни страшно сказать, века. В каждом зале свой оркестр, свой репертуар, своя специфика обслуживания. Официально пятилетие «Эдема» будут праздновать завтра — с шумом, грохотом и с гостями числом за пять сотен, причем все они друг с другом так или иначе знакомы, что само по себе уже говорит о многом. А сегодня Вадим и Надя свой «райский сад» закрыли, чтобы все убрать и приготовить, заодно пригласив самых близких — просто посидеть, выпить по паре фужеров водки (Алик, как известно, по-другому ее не пьет) и поболтать без всякой помпы.

— Я вообще не понимаю, как вы с Надькой столько лет продержались, — говорит Мила. — Готовить вы не умеете. В Москве ничем подобным не занимались, естественно. Как вам вообще такая идея в голову пришла?

— Существует старинный, веками проверенный еврейский принцип, — говорит Вадим. — Если ты не знаешь, какой бизнес открыть, открывай тот, каких в этом районе

больше всего. Поэтому на Брайтоне в каждом квартале есть продуктовый магазин, ресторан и аптека, а все равно постоянно новые открываются. Остальные же бизнесы чаще всего прогорают.

— Бизнес — это звучит гордо, — говорит Алик. — Бизнес — это мера всех вещей.

— В бизнесе все должно быть прекрасно: и доход, и выручка, и навар, и прибыль, — говорит Татьяна. — Бизнес — это наше все, правда, Леш?

— Да уж, — говорю я. — Насмотрелся я, как эти бизнесмены пахнут от зари до зари, без выходных и отпусков. А сколько друзей в результате злейшими врагами стали. Это еще если не поубивали друг друга. Причем ведь что интересно: пока дела идут паршиво, еще есть шанс не расплеваться. А если вдруг деньги какие-то на горизонте замаячили, тут уже все друг дружку удавить готовы. И потом, в каждом бизнесе обязательно обман какой-то есть. Если не клиентов напаривают, то поставщиков. Если не поставщиков, то партнеров. Если не партнеров, то государство.

— Чушь это все, — говорит Олег, который, ссылаясь на занятость, в последнее время появляется в нашей компании все реже и реже, но такого случая, как юбилей «Эдема», пропустить конечно же не мог. — Вот смотри, я кардиолог, жена моя — терапевт. Мы создали компанию — медицинский центр. Пригласили других врачей. Принимаем пациентов. Лечим их, как можем. Налички в нашем деле нет — так что и с налогами все в порядке. Зарплату платим регулярно, иначе персонал разбежится весь. За офис попробуй не заплати — выгонят в два счета. По займу, который мы в банке брали, — тем более. Кого мы обманываем?

— Себя? — говорит Алик с полувопросительной интонацией, которую он позаимствовал из английского языка.

— Брось ты придуриваться, — говорит Олегова жена Светлана. — Мы работаем день и ночь, по сорок пациентов за день у каждого. Да и другие тоже. Посмотри на любого хозяина магазина — как он вкалывает. Мы приехали сюда без копейки, ты же знаешь. Сами всего добились, учились, экзамены сдавали. У тебя же на глазах бизнес этот ставили.

— Бизнес всему голова, — говорит Татьяна. — Правда, Леш?

— Правда, — отвечаю я. — А виновники торжества что молчат?

— А что мы? Нам просто повезло, — говорит Надя. — Хотя в принципе я согласна... Катька растет как трава — бабушка у нее вместо матери родной. Да и мы сами — столько лет уже здесь, а дальше Флориды так и не выбрались ни разу.

— Вы по неправильному пути пошли, — говорит Алик. — Самый лучший бизнес — это кланчить деньги. Открываете компанию какую-нибудь и сразу начинаете искать спонсора. А еще лучше — просите у правительства грант. А еще лучше — и то и другое одновременно.

— Леш, откройте с Татьяной бизнес какой-нибудь, — говорит Алена. — А то живете в нищете. Как *лузеры*¹.

— Ну и что? — спрашиваю я и смотрю на сидящих напротив меня Володю с Ларисой. Они молчат, никакого участия в общем разговоре не принимают, но ничего удивительного для меня в этом нет.

С Володей — застенчивым гигантом, выделявшимся из любой толпы не только своим исполинским ростом и телосложением, но и копной вьющихся рыжих волос, — я познако-

¹ Неудачник. От англ. *loose* — проигрывать. (Здесь и далее прим. автора.)

мился в Москве еще в 1980 году. Меня тогда после подачи документов на выезд выгнали из института, и кто-то посоветовал мне устроиться на ВДНХ — продавать мороженое. Была такая, если помните, Выставка достижений народного хозяйства. Теперь ничего этого нет — ни выставки, ни достижений, ни хозяйства, ни народа.

Почему мы подружились с Володей, который тоже там подрабатывал, трудно сказать. Он был мало похож на остальную мою тогдашнюю компанию, но и я сам не всегда чувствовал себя в ней комфортно. Мой уровень был все-таки пониже, и с человеком, не имеющим никаких интеллектуальных амбиций, мне было несравненно проще и легче.

В 1981 году я уехал, и мы отчасти потеряли друг друга из виду. Сам я письма в Москву не писал, зная, что они воспринимаются там как весточки с того света, а от Володи получил пару коротких записок, из которых следовало, что он женился, завел двух очаровательных дочерей-близняшек, потом, на самой заре перестройки, основал кооператив какой-то, купил квартиру в самом центре, дачу, машину. Правда, там разборка какая-то вышла не такая, как планировалось первоначально, — вроде даже с применением. Я тут по всему Нью-Йорку, по всем общим знакомым собирал ему потом деньги на врачей и операцию. Одно время он ходил на костылях, потом еще пару раз его врачи порезали, и теперь он обходится простой палочкой, которая ему в какой-то степени даже идет.

В 1988 году я впервые после отъезда приехал в Москву. Володя встретил меня в Шереметьеве на собственной машине, что тогда было еще редкостью.

— Матом ругаешься? — спросил он у меня первым делом.

— Ругаюсь, — честно ответил я.

По Ленинградскому шоссе он гнал со скоростью, превышающей не только официальные, но и все разумные

ограничения. ГАИ пару раз свистело ему вслед, но безрезультатно.

— Я всегда смотрю, заведен у него мотоцикл или нет, — объяснял Володя. — Если не заведен, я даже не останавливаюсь — все равно не догонит.

— В Америке за это огонь на поражение открывают, — сказал я. — Считается, что, если человек не остановился на сигнал полицейского, значит, у него в багажнике в лучшем случае мешок кокаина, а в худшем — пара трупов.

Володя мне не поверил. Но моим тогдашним рассказам о жизни на Западе не верил вообще никто. «Не может такого быть», — говорили мне, например, на сообщение о том, что за неподстриженный возле собственного дома газон могут оштрафовать, а за уклонение от уплаты налогов сажают в тюрьму. Мои друзья лучше меня знали, что, в отличие от постылого «совка», Америка — это страна полной и неограниченной свободы и там нет и не может быть того абсурдного идиотизма, который является исключительной привилегией ненавистных коммуняк и построенного ими общества.

Вскоре наша компания начала потихоньку разъезжаться: кто во Францию, кто — в Германию, кто — в Канаду. Володя тоже уехал вместе со всей семьей, включая родителей, тещу, тестя, дедушку, бабушку жены и пару каких-то отдаленных тетей. В Италии он за короткое время успел создать бизнес по организации туристических экскурсий для эмигрантов, а вот в Нью-Йорке как-то потерялся. Больше года работал на стройке, потом мусор убирал в еврейском центре. Мы общались урывками, но окончательно отношения никогда не прерывались. О моих советах сидеть в Москве и никуда не рыпаться я старался ему не напоминать. Был уверен, что он и сам о них помнит.

Однажды Володя позвонил и пригласил нас с Татьяной на новоселье. Сказал, что переезжает в дом на Лонг-Айленде и поэтому заедет за нами на машине. Но домом

его новое жилище можно было назвать только очень условно. Это был самый настоящий трехэтажный дворец — с внутренним олимпийским бассейном, каминами, цветными витражами, полами из черного мрамора и совершенно неопикуемой итальянской мебелью. В гараже стояли две новые машины — «мерс» и «бимер». На Ларисе было «диоровское» платье и бриллиантовое кольцо, а сам Володя все время небрежно бросал взгляды на свой новенький «роллес».

От меня у него секретов никогда не было, и загадка его внезапного обогащения разрешилась в тот же вечер — еще даже первую бутылку не успели дотить. Оказалось, что его старые приятели по московским кооперативам организовали поставки цветных металлов из России в Европу, а на вырученные деньги решили вложиться в американский фондовый рынок — попросту говоря, биржевых акций прикупить. Вот им и потребовался человек на западе, который мог бы оформить все на свое имя. Создать инвестиционную компанию, нанять юриста, бухгалтера, уладить формальности. Не за «спасибки», конечно, а за хорошие комиссионные. Насколько хорошие — можно было судить по лонг-айлендскому особняку, машинам, колье и всему прочему.

— С банком такая умора была, — говорил Володя. — Я счет открыл и домой поехал. Подъезжаю, а меня Лариска встречает с во-о-от такими глазами. Оказывается, пока я ехал, из банка четыре раза звонили. Ну, перезвонил я им. «В чем дело?» — спрашиваю. Они, заикаясь, начинают вежливо так объяснять, что на мой счет только что перевели из Италии два с половиной лимона баксов. Спрашивают, не ошибка ли? «Нет, — говорю я им, — все правильно». А я тогда еще на старой «Королле» ездил, и они ее видели, конечно. Да и английский мой — ну, сам знаешь...

Какое-то время дела у него шли, мягко говоря, неплохо. Редкие металлы текли из Сибири в Италию несконча-

емым мутным потоком. В подробности мы никогда не вдавались, но и без них было понятно, что доставались они Володиным партнерам не самым легальным образом. В России тогда все можно было взять за сущие копейки — то есть даже не по реальной советской цене, которая и так была ниже мировой, а за взятку директору данного предприятия. За десять штук «зелени» отдавали танкер нефти или несколько вагонов медной проволоки — директору ведь без разницы: добро-то еще все государственное было, а экзотические по тем временам штатовские купюры шли прямо ему в карман. Долго, конечно, так продолжаться не могло, но на долю Володиных приятелей хватило. Вскоре директора советских предприятий-гигантов расчухали, что гораздо выгоднее будет все это хозяйство приватизировать и гнать вагоны с танкерами на запад уже без всяких посредников. Так в передаче «Спокойной ночи, малыши» появился новый персонаж — котенок по кличке «Ваучер».

Володя этих перемен не заметил, вел себя, как будто ничего не случилось. Но в какой-то момент из Москвы приехал организовавший все это дело его партнер Миша и прямо заявил: «Ты живешь в моем доме, купаешься в моем бассейне, едешь на моем «мерсе» и носишь мой «роллекс». Отдавай все обратно».

Отдавать не хотелось. Миша начал судиться, а увидев, что все оформлено в точном соответствии с американскими законами, сказал: «О детях своих подумай. А то как бы не случилось с ними чего».

— Мне повезло, — говорил мне Володя. — У меня был телефон Вазгена.

— Какого Вазгена? — спросил я, как будто это имело хоть какое-то значение.

— Ну, есть в Москве такой авторитетный мужчина. Вернее, теперь уже был. Но не важно. Не суть. Я ему позвонил, объяснил, что если Миша меня потопит, то вместе со мной все пузыри пускать начнут. Кому это надо?

В общем, разошлись они с Мишей каким-то образом, инвестиционный фонд свой закрыли, причем очень вовремя — до того, как американская биржа рухнула. Так что Вазген вроде немало на этих акциях заработал. А Володя вскоре еще с какими-то своими старинными друзьями-кооперативщиками основал компанию по импорту в Москву западной электроники. Телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры и все такое прочее. Дело поставили с размахом, на широкую ногу. Реклама их фирмы одно время чуть ли не над Боровицкими воротами висела — и такие тоже были в России времена. Володя суетил-ся день и ночь, что-то доставал, оформлял, отправлял контейнеры, принимал факсы. Вложил он в это сумму, которой мне, по его словам, на десять таких жизней, как у меня сейчас, хватило бы.

Через два года выяснилось, что ничего, кроме убытков, компания не приносит.

— Понимаешь, — объяснял мне Володя, — здесь я за все должен сразу платить, а там берут товар на реализацию, и жди потом от них денег. Даже если они честные и отдадут через полгода, мне-то здесь что в это время делать? А честных там нет. Ворюги все до единого.

После закрытия «электронной» компании Володя решил с бывшими соотечественниками дел больше не иметь. Его следующим, как он любил говорить, «проектом» было освоение недвижимости в Луизиане.

— Понимаешь, — объяснял он на полном серьезе, — там солидные люди, коренные американцы. С «Мэйфлауэра». Я покупаю огромный участок земли. Несколько гектаров. А они обеспечивают прохождение через городской совет решения о строительстве на этом пустыре многоквартирных кооперативов. Два лимончика всего положить надо, а во что они превратятся через год — сам понимаешь.

Я понимал. С тех пор прошло уже больше пяти лет. Нужного решения горсовет все еще не принял, но, как обе-

щают, должен принять со дня на день. Володины попытки выйти из дела и хотя бы просто вернуть свое, пусть и без всякой прибыли, тоже закончились ничем. Солидные партнеры утверждают, что в Америке так не принято. Здесь так дела не делаются. Здесь серьезные люди так не поступают.

Первый же юрист, к которому Володя обратился за помощью, сказал:

— Луизиана — это глубокий Юг, а на Юге особые законы. Там надо местного искать, а какой же местный согласится из своих друзей деньги выколачивать, да еще ради какого-то еврейчика нью-йоркского?

Потом у Володи было еще много всего разного, зеленого, серо-буро-малинового и красного. Интернетовская компания по продаже детских игрушек, китайские украшения из жемчуга и тайландские кораллы, поставки минеральной воды из Армении и обуви из Румынии. Попутно он начал опять играть на бирже — причем теперь уже не на чужие деньги, а на свои кровные. Сначала он «вложился» в российские нефтяные компании, а после дефолта 1998 года, когда все эти акции в одночасье превратились в обои, переключился на чисто американские фирмы.

— Понимаешь, — говорил он, — в «Блютек» изобрели средство от рака. Пока об этом никто не знает, потому что лекарство еще только проходит проверку. Но мне совершенно точно сказали, что оно будет утверждено. Сегодня акции «Блютека» стоят доллар. Через три месяца — будут стоить сто.

— Сколько ты их купил? — спросил я.

— Я решил не мелочиться. Дело-то верное, сам понимаешь. Революция в медицине.

Дом с бассейном на Лонг-Айленде Володе пришлось продать. «Мерс» с «бимером» тоже. Лариса пошла работать преподавательницей музыки — благо она успела в молодости Гнесинку закончить. Сам Володя говорит, что

ему все надоело и что пора валить из Нью-Йорка обратно в Россию. Подальше от арабских фундаменталистов с их терактами. Беда в том, что дочки привыкли к Америке, а по-русски не понимают ни слова. Да и Лариса тоже от этого плана не в восторге.

— Понимаешь, — говорит он, — я ведь все ради них. Мне самому ничего не нужно. Мне на все наплевать. Я только хочу, чтобы они нормально жили. Может, мне застраховаться да и прыгнуть с чего-нибудь высокого?

— Самоубийство — это самый страшный грех, — говорю я. — Церковь таких даже не отпевает. Прямо в ад попадешь.

— Мне все равно, — говорит он. — Зато Регинка с Настей нормальное образование получат. И Лариса будет жить как человек. И родители.

— Страховку по самоубийству не заплатят, — говорю я.

— А если все обставить так, как будто у моей тачки тормоза отказали и я с моста в реку свалился? Тогда ведь заплатят, как ты думаешь?

Разговор о превратностях бизнеса закончился, естественно, ничем. Съехали на какую-то другую тему, как это часто бывает, особенно если водку фужерами пить. Володя так и промолчал тогда весь вечер, а я смотрел на него и думал, что Алик, конечно, умный мужик — Парменида читал, к Бибихину на лекции ходил. Вадим с Надей тоже молодцы — такой «райский садик» на себе тянут. Про врачей Олега со Светой и говорить нечего, да и остальные из нашей компании тоже немалого достигли. Все они умные, относительно преуспевающие, перспективные, удачливые. Но Володю я все равно люблю больше. И если и завидую кому из них, так только ему одному.

Может, я и вправду полный дурак, но я верю, что он не для себя старался, а для своей огромной семьи. И в том,

что ничего не получилось у него, какой-то высший смысл есть. Должен быть. Не может не быть его. Просто не может. Деньги шальные кончились, но зато появилось в человеке что-то другое, чего раньше в нем никогда не было.

Из «Эдема» они с Ларисой подвезли нас домой на своей «Королле». У подъезда Володя вышел из машины. Татьяна пошла наверх кормить уже наверняка проголодавшегося за вечер Мурзика, а мы с моим старым другом остались на улице — выкурить по последней сигаретке.

Ночь была тихая, прохладная. От ветра с океана водка быстро выветривалась из головы.

— Знаешь, я на курсы записался, — сказал Володя. — Программистские. Не получается, правда, ни хрена. Старый я уже для этого. Башка не варит совсем.

— Поначалу ни у кого не получается, — сказал я. — А потом обязательно получится. Обязательно. Вот увидишь.

Докуривали мы уже молча. А когда они с Ларисой уехали, я еще постоял некоторое время у подъезда. Просто так. Без всякого дела. Без всяких мыслей. Вернее, была одна, но какая-то неопределенная, я ее даже сформулировать толком не могу.

Не знаю, может, я и вправду полный дурак, но не зря ведь в одной хорошей книжке сказано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. «Таковыми словами, — думал я, стоя под окнами моего дома, — просто так не бросаются. Это было бы уже совсем нечестно. Совсем нечестно и совсем неправильно».

ИСПОВЕДЬ ВОРА

У моего соседа Михаила Петровича угнали его красный «Мерседес». Он всегда по утрам ходил перепарковывать его на другую сторону улицы, а вчера, выйдя из подъезда, не

обнаружил своей любимой машины на месте. Как это ни странно, но отреагировал он на это событие неадекватно — без истерик, без криков, без проклятий в адрес угонщиков. Вернулся домой, позвонил в полицию и улегся обратно в постель — досматривать прерванный будильником сон. Я узнал об этом от его жены Аллы, которая, встретив меня в «Золотом ключике», громко, на весь магазин, заявила:

— Мой муж сошел с ума. Полностью рехнулся на старости лет. Последних мозгов лишился.

Я, всегда почитавший Петровича за человека по меньшей мере неглупого, очень удивился такой оценке его умственных способностей.

— И что ему сказали в полиции? — спрашиваю я у Аллы. — Пообещали найти?

— Пообещали, — говорит она столь же громким голосом, как и раньше. — Ищут пожарные, ищет полиция...

— А Петрович что? — говорю я.

— А ничего Петрович твой! — опять кричит на весь «Золотой ключик» Алла. — Лежит на диване и «Бандитский Петербург» по двадцать пятому разу смотрит.

— Ну а что ему еще делать? — пытаюсь заступиться я. — Что, он сам должен свой «мерс» искать?

— Да там и искать нечего, — вдруг переходит на шепот Алла. — Я и так знаю, кто его угнал.

Когда мне было семь лет, со мной произошел пренеприятнейший случай. У нас в школе была такая традиция — в день своего рождения каждый должен был приносить конфеты и угощать ими весь класс. Марина Щербакова (никогда не забуду ее имени) принесла на всех «Белочки», а для учительницы нашей, Ольги Карловны, моего любимого «Мишку косолапого». Конфета эта лежала у нее на столе, и во время перемены, когда учительницы в классе не было, я ее взял и съел.

Пропажка была обнаружена сразу же после начала следующего урока. Ольга Карловна устроила нам самый настоящий допрос, вызывая всех по очереди к доске и, сверля нас насквозь своим пронизательным взглядом, спрашивала, где ее конфета. Когда очередь дошла до меня, я отпирался, как только мог. Ольга Карловна несколько раз переспросила меня, не брал ли я ее «Косолапного мишку», и каждый раз я все более и более нагло отвечал, что нет, мол, не брал.

Обман раскрылся очень скоро, и вот каким образом. Главной валютой в нашем классе были обертки от шоколадных конфет. Их складывали особым образом в такие квадратики с кармашками (что само по себе было целым искусством), а потом, на переменах, играли в игру, суть которой состояла в том, чтобы, щелкнув по своему фантику, перекрыть им фантик противника, который, в случае успеха, и доставался победителю. Естественно, в тот день у всех были фантики от «Белочек», и только у меня одного вдруг обнаружился очень высоко котиrowавшийся «Мишка».

Скандал был страшный. Ольга Карловна вызвала в школу моих родителей, предрекала, что я закончу жизнь в тюрьме (вопрос о том, насколько она была права, все еще, кстати, остается открытым), а потом сообщила, что с самого начала знала, кто украл ее конфету. Оказывается, когда меня вызвали к доске для допроса, я ужасно покраснел и до самого конца урока просидел совершенно пунцовый. Оказывается, мне все-таки было стыдно, хотя, признаться честно, сам я не отдавал себе в этом отчета.

Принято считать, что в Союзе каждый тащил с работы все, что только можно. Достояние-то было общее, так что вроде бы и не ворусь ни у кого, а государство, как мы все свято верили, и так перед нами в неоплатном долгу.

Некоторые видят в этом особенность менталитета советского человека, но я на собственном опыте убедился в обратном. Ни мои родители, ни друзья, ни знакомые ничего ни у кого не воровали. Когда же я работал программистом в большой американской компании, то мои сотрудники — в большинстве своем чистокровные, между прочим, воспы¹, — наоборот, тащили со службы домой бумагу, ручки, карандаши, дыроколы, скоросшиватели, блокноты, фломастеры — то есть все, что только можно было вынести незаметно и без риска быть уволенным с позором. И все это, заметьте, были программисты — с довольно высокими по обычным меркам зарплатами.

Конечно, воровать в магазине или у знакомых решится не каждый (хотя есть и клептоманы, которые просто не могут справиться со своей самой настоящей болезнью), но если речь идет не о грошовой шариковой ручке и не о завалившейся за стол десятке, а о чем-то более серьезном?

Не будем далеко ходить за примерами. Не будем брать людей, которых на воровство толкает нужда, или тех, кто ничего не ворует исключительно из страха быть пойманным. Забудем на минуту об уголовниках, для которых это ремесло. Вспомним только руководство «Энрона» — людей уже не с программистскими, а с многомиллионными окладами, которые украли миллиарды. Они полностью разворовали пенсионный фонд своих сотрудников, ограбили вкладчиков, доверчиво покупавших акции их компании, на сотни миллионов недоплатили налоги государству.

И это далеко не единичный случай. Откройте любую американскую газету, и вы обязательно прочтете там о взятках, растратах, аферах, махинациях, которыми занимаются не бандиты какие-нибудь, а вполне законопослушные на первый взгляд американские граждане. Врачи,

¹ От англ. WASP (White Anglo-Saxon Protestant) — «истинный американец».

военные, полицейские, государственные служащие, владельцы самых разнообразных бизнесов. К тому же история «Энрона» получила столь громкую огласку только из-за запредельного уже масштаба хищений, а сколько вору и воришек помельче вообще не попадают никогда?

Поэтому мне так грустно становится, когда я слышу, что «все русские — воры, обманщики и мошенники». Я, например, ни одного русского вора в жизни своей не встречал, хотя, с другой стороны, я и сам вор, потому что украл у Ольги Карловны конфетку, а потом, когда мне было уже лет двадцать и я работал сторожем в типографии АПН, из страха ни разу не остановил здоровенных бугаев, проносивших через проходную огромные рулоны бумаги.

И даже если есть люди, никогда не укравшие ничего сознательно, неужели они ни разу не забыли вернуть взятую на пару недель книгу или одолженную до получения трешку? Неужели не было такого случая, чтобы они позабывали кому-нибудь? Не пожелали в мыслях, мечтах и фантазиях чего-то, что им не принадлежит? Может быть, такие люди и есть на свете, но не знаю, как вы, а я лично им ужасно завидую. То есть уже мысленно краду у них их добродетели.

— Кто? — тоже шепотом спрашиваю я у Аллы. — Кто угнал ваш «Мерседес»?

— Пуэрториканец этот, который в соседнем доме живет. Супера сынок. Полный подонок.

— А вы в полицию сообщили об этом?

— Конечно, сообщила. Дружок твой Петрович не давал мне звонить, телефон из рук вырывал. Так я с улицы позвонила. Из автомата.

— И что они сказали?

— Что сказали... Ищут пожарные, ищет полиция...

...Мы сидим с Петровичем на бордвоке¹ и смотрим на темно-красный закат. В Нью-Йорке наступило лето, и скоро начнется такая жара, что даже вечером выходить на раскаленную улицу без особой на то причины не захочется. Судя по зловещему цвету постепенно скрывающегося за линией горизонта солнца, больше таких прохладных дней у нас может не быть аж до октября.

Мы наслаждаемся прохладой и обсуждаем текущие события — разгул футбольных фанатов в Москве (Петрович считает, что народ просто довели до ручки), назревающую атомную войну между Индией и Пакистаном (Петрович уверен, что ее не будет), отсутствие хороших программ по «НТВ Интернэшнл» (тут мы с ним полностью солидарны). Про «Мерседес» мы не вспоминаем. Как будто и не было его никогда. Я знаю, что его так и не нашли, но самому заводить разговор на эту тему мне как-то неловко. Зачем, думаю я, сыпать человеку соль на рану?

— Мою бабушку, Царствие ей Небесное, однажды обокрали, — вдруг, совершенно не к месту, говорит Петрович. — Все из дома вынесли, что хоть малейшую ценность представляло. А она в деревне жила, там каждая вещь каторжным трудом доставалась.

— Поймали их? — с деланным равнодушием спрашиваю я.

— Нет, не поймали, — отвечает Петрович. — Но бабушка долго потом мне говорила, что если у тебя стащили что-нибудь, а ты нисколько об этом не жалеешь — совсем нисколько, ни капельки, — то считай, что вор часть твоих грехов у тебя украл и на себя взял. Бабушка моя верующая была. Не то что я. Правда, теперь у всех застраховано все, так что этот закон, наверное, и не работает больше.

¹ Board-walk (англ.) — дощатый настил для прогулок на пляже.

Я смотрю на последние лучи багрового, почти пунцового от неумолимо надвигающейся летней жары солнца и думаю о том, что «Мишка косопалый» все-таки гораздо вкуснее «Белочки».

АПОЛЛОН ПО ИМЕНИ ЭДИК

— Он на Аполлона похож, — говорит Алена и закуривает новую сигарету.

— В каком смысле похож? — спрашивает Татьяна.

— В смысле вылитый Аполлон, — говорит Алена. — Родосский.

— Родосский колосс был, — говорит Алик. — Он что, гигант какой-нибудь, типа Володьки нашего?

— Нет, нормальный, — отвечает Алена задумчиво. — Может, чуть повыше тебя.

— А зовут этого Аполлона как? — спрашиваю я.

— Эдиком, — после очередной затяжки отвечает Алена и тут же поправляется: — Эдуардом.

— А как же муж? — обращаясь даже не к Алене, а как бы к самой себе, говорит Аликова жена Мила.

Муж у Алены действительно есть — Саша Певзнер, но мы его видим чрезвычайно редко — исключительно у нее на днях рождения, где он появляется в обществе загадочной и довольно изысканной блондинки. Про нее известно только то, что ее зовут Наташа Карди, что муж ее какой-то египетский миллионер, проживающий то ли в Германии, то ли в Италии, и что сама она поэтому тоже, мягко говоря, не бедствует. Алена всегда отзывается о ней с уважением и в самых положительных тонах, что вообще-то ей не свойственно, и поэтому мы тоже относимся к Наташе соответственно, хотя и не можем никак разобраться в их отношениях. Поначалу мы все страшно любопытствовали,

что там на самом деле происходит, а потом перестали, поняв, что Алена на все вопросы все равно будет многозначительно улыбаться или в лучшем случае хихикать. Однажды, когда мы в очередной раз провели весь вечер, обсуждая эту загадочную любовно-геометрическую фигуру, Алик после нескольких часов, посвященных захватывающим сплетням и досужим домыслам, философски заметил: «А впрочем, дамы и господа, все это нас совершенно не касается», и больше мы к этой теме — вплоть до самого появления Аполлона по имени Эдик — не возвращались.

— При чем тут муж? — говорит Надя. — Скажи лучше, кто он по профессии.

Алена делает глубокую затяжку, задерживает дым в себе, гасит сигарету и молчит.

— Давай, Карпинская, колись, — не отступает Надя. — Все равно ведь мы узнаем. Говори, чем твой Аполлон занимается.

— Э-зо-те-ри-кой, — медленно говорит Алена. Наверное, это она у Милы научилась так слова растягивать, по слогам их произносить, чтобы не одно слово получалось, а несколько. Только Миле как действительно писаной красавице (она в Союзе даже диктором была на телевидении) это идет, а Алене, невысокой, толстенькой и даже немного мужеподобной, — как-то не очень.

Услышав иностранное слово, Алик заметно оживляется.

— Какой эзотерикой? — говорит он. — По руке, что ли, дамочкам предзакатным гадает?

— Он санскрит изучал, — говорит Алена, которая все у Милы копирует, даже неспособность скрыть, насколько Алик ее раздражает. — В Питере он главный специалист по санскриту был. Потом в Индии три года жил. Потом на Тибете. Он специалист высочайшего класса. Его далай-лама принимал. Консультировался с ним.

Мы все помним, что рукопись «Мастера и Маргариты» Алене дала сама вдова Булгакова и что Ахматова, качая ее в колыбели, читала ей «Поэму без героя», так что ко всем ее упоминаниям знаменитых имен мы относимся с пониманием.

— Это все прекрасно, — говорит Надя. — Но деньги-то он чем зарабатывает?

— Он составляет натальные карты и радикасы. Полные матрицы на всю жизнь и на каждый данный момент. По европейской системе и по ведической.

— Что? Что? — чуть ли не хором говорим мы все, кроме Алика, который совершенно невозмутимо отвечает за Алену:

— Гороскопы это. Астролог он, значит.

От Аполлона у Эдика были только кучерявые светлые волосы, и на этом их сходство, честно говоря, заканчивалось. Впрочем, и волосы скорее были похожи не на шевелюру древнегреческого покровителя муз, а на шкурку молодого барашка. Был он приземистым, плотно сложенным, скорее напоминал Карлсона, но между собой мы его все равно называли только Аполлоном.

Первое наше знакомство состоялось у Зарецких. Они приходились какими-то дальними родственниками моим друзьям Вадиму и Наде Малининым и с самого своего приезда в Нью-Йорк упорно пытались вписаться в нашу компанию. В тот вечер Антон и Марина Зарецкие отмечали вторую годовщину своего пребывания в Америке. Их первые шаги в Нью-Йорке мало напоминали тот ад, через который пришлось пройти почти всем остальным. Зарецкие привезли из Москвы по-настоящему большие деньги, которых хватило и на покупку роскошного трехэтажного дома в Стейтен-Айленде, и на антикварную итальянскую мебель, и на две новые машины, и даже на приобретение доли в ресторане Малининых «Эдем». Откуда

у них были такие средства, никто не знал — спрашивать было неудобно, а сами они на эту тему распространяться не желали. Однажды на мой прямой вопрос Антон ответил, что они квартиру свою в Москве выгодно продали и дачу в Кратове. И хотя у меня по математике в школе «двойка» была, а сегодняшние российские цены мне известны только приблизительно, я как-то интуитивно почувствовал, что некоторые арифметические правила тут определенно нарушаются.

Семья Зарецких состоит из самих Антона и Марины, их почти по-картинному красивой, молчаливой, прекрасно воспитанной, серьезной и всем своим видом показывающей, что она очень «правильная» девушка, дочери Даши и престарелой Марининой матери Розалии Францевны. Это очень оригинальная старушка, вся скрюченная артритом и еще какими-то неведомыми болезнями, но при этом всегда одетая в старомодные длинные платья с явно недешевыми и столь же явно не вчера сработанными ювелирными украшениями, а также до полного умопомрачения накрашенная. Розалия Францевна имеет обыкновение присутствовать на всех сборищах у Зарецких, хотя сама она, сидя за столом, ничего не ест, не пьет и никогда не произносит ни единого слова. Даже не здоровается ни с кем и не прощается никогда. По-моему, я и голоса ее ни разу вообще не слышал.

Короче, я бы к Зарецким в жизни не пошел, но, поскольку заранее было известно, что Алена приведет туда своего Аполлона, соблазн посмотреть на это новое чудо света оказался сильнее моей врожденной лени и благоприобретенной нелюбви к хождению в гости. Тем более что и нелюбовь-то это скорее так — нелюбовишка.

За столом (огромным, из цельного куска черного мрамора, уставленным роскошной посудой, антикварными серебряными подсвечниками и конечно же самыми разнообразными деликатесами и напитками) Эдик держался

скромно, но с достоинством, в общем разговоре участия не принимал. Понимал, конечно, что к нему присматриваются. Из-за этого и вся обстановка была поначалу какой-то не такой, как обычно. Мы старались казаться естественными и поэтому чувствовали себя скованно. Нам надо было делать вид, что мы не разглядываем Аполлона, не оцениваем его. Нам надо было притворяться, что ничего из ряда вон выходящего не происходит, но при этом не упускать ни одного его жеста.

В общем, дурацкая была обстановка, и разговор шел дурацкий до тех пор, пока наш новый знакомый не опрокинул на себя только что налитый ему Аликом полный фужер водки. Потянулся через стол за салатом «оливье» и рукавом задел. Залпл свой новый костюм, который, как мы уже знали от Алены, она сама ему купила в подарок на всеамериканский праздник — День отца. «Нет, ты не думай, детей у него нет, — сказала она по телефону Татьяне, — но мне так хотелось ему что-нибудь подарить, а у него как раз ничего приличного надеть не было».

Наши дамы сразу захлопотали вокруг Эдика, начали стряхивать с него водку, предлагать салфетки, соль. А он, как вскочил из-за стола, когда перевернулся фужер, так и остался стоять — с растопыренными руками. Вроде бы даже покраснел немного, но лед, как говорится, был уже сломен. По крайней мере, лучшая половина присутствующих уже точно прониклась к нему самыми теплыми чувствами, а Марина даже принесла какие-то мужнины брюки, чтобы гость мог переодеться.

— Он очень умный мужик, — наклонившись ко мне, сказал в этот момент Алик.

— Почему ты так думаешь? — спросил я.

— Потому что он специально это сделал. Чтобы его пожалели. Нестандартный ход. Далай-лама, наверное, научил.

Судя по тому, каким тоном это было сказано, я понял, что добром вечер у Зарецких не закончится.

...— Нет, вот ты как специалист мне скажи, — говорит Алик, — как же можно всерьез о гороскопах этих рассуждать, когда известно, что все они составлялись в древности, чуть ли не в Шумере еще, так как египтянам они уже точно были известны. А с тех пор все эти знаки зодиака сместились на тридцать градусов...

— Да, о прецессии древние астрономы не знали, — совершенно спокойно говорит Эдуард. Именно так он нам представился.

— О чем? — спрашиваю я. — О рецессии?

— Прецессия — это колебание земной оси, — поясняет Алик и продолжает развивать свою мысль. — Изначально двенадцать знаков зодиака соответствовали двенадцати одноименным созвездиям, но из-за уже упомянутого смещения созвездие Тельца сегодня соответствует знаку Близнецов, созвездие Близнецов — знаку Рака и так далее. Получается, что, если человек появился на свет, скажем, первого апреля — в международный день дурака, — астрологи говорят, что он родился «под знаком Овна», а на самом деле солнце находится в этот день в созвездии Тельца. Я понятно излагаю?

— Не совсем, — говорю я.

— У тебя же не первого апреля день рождения, — говорит Татьяна. — Что ты так волнуешься?

— А когда? — спрашивает Эдуард.

— Что когда? День рождения? Двадцать первого октября, — говорю я.

— Все ясно, — говорит Эдуард.

— Что ясно? — усмехается Алик. — Ну что из этого может быть ясно?

— Весы, — говорит Эдуард. — Знак Венеры. Эти люди хотят нравиться и иметь признание, но при этом никогда не откажутся от своих принципов ради аплодисментов.

— Но это же прямо противоположные качества, — ехидно замечает Алик.

— Ничего подобного, — говорит Эдуард и обращается ко мне: — Разве я не прав, Алексей?

— Меня можно Лешей называть, — говорю я. — А вообще-то я думаю, что вы правы и что эти качества вполне могут уживаться в одном человеке.

— Весы — очень интересные люди, — продолжает воодушевленный моей поддержкой наш новый знакомый. — Они живут в настоящем времени и очень предприимчивы. Активность у Весов невысокая, им необходимо сотрудничество с другими людьми. Им нужны партнеры, потому что в одиночку они никогда не могут закончить начатое дело. Правда, партнер должен быть такой, который позволяет им сохранить индивидуальность.

— Так предприимчивые или с низкой активностью? — опять усмехается Алик.

— Подожди ты, не мешай человеку, — говорю я, так как все больше и больше начинаю узнавать в рисуемом Эдуардом словесном портрете самого себя.

— Весы — очень творческие натуры, — говорит, не обращая на нас никакого внимания, он. — И вопреки мнению многих астрологов, они вовсе не ленивы. Особенно интенсивной их деятельность становится после 29 лет, так как тут вступает в силу цикл Сатурна. Весы — знак Воздуха. У них высокий интеллект, они постоянно в поиске знаний и новых идей. Очень интересуются психологией, человеческими отношениями. Умеют советовать, помогать людям в решении личных вопросов. Редко дают выход раздражению, но если вдруг вспыхнут, то сразу же выскажут все, что у них накопилось. Они и через пятьдесят лет помнят нанесенные им обиды и постоянно напоминают об этом. Правда, гнев их быстро улетучивается, и остается одна подавленность.

— А что, Леш, действительно похоже на тебя, — говорит Володя, который, не считая Алика, знает меня из всей этой компании лучше всех.

— Да там в каждой фразе противоречие, — опять не выдерживает Алик. — Они все специально так говорят, чтобы, во-первых, человеку приятно было, а во-вторых, чтобы, благодаря набору прямо противоположных черт характера, узнать себя мог бы практически каждый.

— А вот Алику вы можете гороскоп составить? — вмешивается в разговор Мила. — У него тридцатого марта день рождения.

— Только если вы знаете, во сколько точно он родился, — говорит Эдуард.

— Знаю. Около девяти утра, — говорит Мила. — Его мама мне рассказывала, что навсегда запомнила этот час, потому что чуть не умерла тогда от боли.

Судя по интонации, с которой это произносится, благополучный исход родов Мила, похоже, оценивает далеко не однозначно.

— В каком году это было?

— В пятьдесят восьмом.

— В Москве?

— Нет, она к родителям уехала рожать, в Энск.

— Аленушка, — говорит Эдуард, — ты не могла бы принести из машины мой лэптоп?

К нашему невероятному изумлению, Алена покорно поднимается из-за стола и идет выполнять эту просьбу, которая, несмотря на ласковую интонацию, все же скорее звучит как приказание.

— Мне нужно точное время рождения и географические координаты, чтобы получить полную картину характера и судьбы вашего мужа, — обращается Эдуард к Миле, но Алик его тут же перебивает:

— А если бы я за Полярным кругом родился, что бы ты сейчас сказал? Ведь там солнца большую часть года вообще нет, а зодиакальные созвездия чаще всего попросту не видны. Что же бедным астрологам делать с чукчей каким-

нибудь или с лопарем? Или на них звезды никакого влияния не оказывают?

— Но вы же не чукча, — говорит Эдуард.

— Алик, правда, перестань, надоело уже, — говорит Мила. — Что ты прицепился к человеку? Давай посмотрим, что он скажет.

— Сразу могу сказать, что вы родились под знаком Овна, и ваши главные качества — это инициатива, активность и предприимчивость, — говорит Эдуард. — Овен, будучи кардинальным знаком, постоянно ставит перед собой новые задачи. Овны испытывают внутреннюю потребность активно действовать, активно утверждать себя в жизни. Им недостаточно разговоров о мелочах, о быте, о повседневном — такие вещи их не интересуют и не удовлетворяют. Овен может очень многого достичь, но импульсивность и неспособность слушать других нередко заводят его в трудные и неприятные ситуации.

— Опять же сплошные противоречия, — начинает Алик, но мы все, как один, поворачиваемся в его сторону и смотрим на него так выразительно, что он замолкает.

В этот момент в комнату возвращается Алена. Эдуард включает свой компьютер, нажимает какие-то кнопки на клавиатуре, но при этом продолжает говорить:

— Будучи честолюбивым, Овен везде хочет быть первым и лучшим. Овен — прирожденный вождь, лидер. Слава и признание для него важнее, чем деньги и удобства. Но, стремясь к авторитету, он может прибегнуть и к насилию, стать агрессивным. Овну надо учиться любезности, приветливости, хотя многие Овны обладают колоссальной силой воли, уверены в себе, имеют незаурядные духовные способности.

В комнате воцаряется гробовое молчание. Мы все хорошо знаем Алика, но ведь Эдуард видит его впервые в жизни и при этом довольно верно обрисовал его характер. С определенными оговорками, конечно, но для перво-

го знакомства достаточно близко. Просто даже поразительно близко.

— Это все только общие черты, — продолжает Эдуард, быстро печатая что-то на своем компьютере. — А вот сейчас моя замечательная программка, которую, не буду скромничать, я сам составил, выдаст мне полную натальную карту, и я смогу перейти к подробностям.

— Не надо подробностей, — говорит Алик. — Чушь это все собачья. Давай только самое главное скажи. Но не общее для всех твоих Овнов, а то, что в моей судьбе индивидуально. Общее в любой «Астрология для чайников» вычитать можно. А вот ты что-нибудь такое скажи, что только про меня будет. Самое главное, что в моей жизни есть.

Я замираю в предвкушении того, как сейчас будет посрамлен Аленин Аполлон. Остальные, похоже, испытывают схожие чувства. В наступившей тишине слышно только ленивое жужжание компьютера и постукивание клавиш.

— Самое главное? — невозмутимо говорит Эдуард. — Секунду. Сейчас у меня будет полное расположение планет по домам, и тогда я легко смогу выполнить вашу просьбу.

Компьютер жужжит. Алена достает из пачки сигарету. Вопросительно смотрит на меня, я киваю, и она перебрасывает пачку мне через стол. Я чиркаю зажигалкой, мы оба по очереди прикуриваем. Я глубоко затягиваюсь и окидываю взглядом всю сидящую за столом компанию. Надо сказать, что такими заинтригованными я своих друзей давно уже не видел.

— Неужели скажет? — говорит Володя, который вообще смотрит на манипуляции Эдуарда с компьютером как загипнотизированный.

— Сказать-то он обязательно что-нибудь скажет, — говорит Алик, кажется немного теряя свою обычную уверенность. — Сказать — язык не отвалится. Скажет что-нибудь, а потом тут же что-нибудь прямо противоположное доба-

вит. Но так, чтобы и то, и другое было мне очень лестно и чтобы я с удовольствием признал, что именно это самое главное в моей жизни и есть. Ты, Нострадамус, не забыл еще, что мы с тобой на самое главное забились, а не на лагу какую-нибудь?

— Нет, не забыл, — не отрываясь от экрана, говорит Эдуард.

— Самое главное должен сказать. — Голос Алика снова становится прежним — сильным и звенящим. — Самосамос. Что-то такое, важнее чего в моей жизни ничего нет и быть не может.

— Готово, — персбивает его Эдуард и буквально впиивается глазами в экран своего компьютера. — Очень интересная картинка вырисовывается. Мелочи всякие типа незаурядных интеллектуальных способностей опустим — по просьбе клиента.

— Ну, я же говорил, — победно смотрит на нас Алик.

«Неужели занервничал все-таки?» — думаю я, но тут же гоню от себя эту мысль.

— В Первом доме восходящий Юпитер. Да еще Меркурием усиленный — потрясающий потенциал самореализации, давно такого не видел, — продолжает Эдуард. — Правда, Луна тут мешает немножко, но это не беда. Это мелочи.

— Ладно, ребят, все понятно, — уже с полным облегчением говорит Алик. — Накатим на посошок? — И он тянется к последней оставшейся недопитой бутылке водки.

— Почему на посошок? — говорит хозяйка дома Марина. — Не торопитесь так. Время детское еще.

— Не, завтра на работу, — говорит Алик и начинает разливать водку по нашим фужерам. — Некоторым реально работать приходится, а не далай-лам консультировать.

— Во Втором доме, который за материальное благополучие и врожденные таланты отвечает, тоже все прекрас-

но, — не обращая на него ровным счетом никакого внимания, продолжает Эдуард. — В Третьем — это коммуникабельность — скверная ситуация, но о ней мы уже говорили.

— Ты что, нас тут за полных чудаков на букву «м» держишь? — В голосе Алика начинает звучать неподдельное раздражение. — Все прекрасно знают, что астрология твоя — туфта. Два близнеца рождаются с промежутком в несколько минут. С точки зрения расположения планет это несущественно. Гороскоп у них, значит, один и тот же. А судьбы и характеры могут совершенно разными оказаться. Иногда полярно противоположными. Что по этому поводу твоя наука говорит?

— Четвертый дом нейтральный, — не останавливается Эдуард. — Это воспитание, предки, родители, земля, недвижимость. Пятый дом — тоже. Шестой — хороший. На работе вас всегда ценили, ценят и будут ценить.

— Ну, посмотрите, ничего его не берет, — говорит Алик, обращаясь ко всем нам и поднимая свой фужер. — Хорошо. Еще один вопрос тебе задам, Нострадамус. Шестого августа тысяча девятьсот сорок пятого года американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Восемьдесят тысяч сразу накрылись, в один миг. У них что, у всех гороскопы одинаковые были? А когда извержение вулкана происходит? Или другое какое-нибудь стихийное бедствие? Ладно, Нострадамус, расслабься. Ну, не получилось у тебя — не страшно. В другой раз получится. С лохами какими-нибудь. А сейчас давай лучше выпьем на посошок — и по домам. Ну, не можешь ты мне главного про меня сказать — так это ничаво. Я же тебе все равно налил. И в будущем еще наливать буду.

— Почему вы решили, что не могу? — Эдуард резко отрывает взгляд от своего компьютера. — Как раз наоборот, могу. Вот оно, главное, в Седьмом доме.

— Да ты что, правда? — говорит Алик. — Не знаю я никакого седьмого дома. Мне бы за первый дом мортгидж¹ выплатить. При всех моих врожденных способностях никак не хватает.

Эдуард молчит, и Алик как бы вынужден продолжить:

— Ну, чего замолчал? Раз уж начал — говори теперь.

— Вы уверены, что хотите это услышать? — спрашивает Эдуард, и в его голосе звучит что-то такое, что все за столом, уже было начавшие опять о чем-то трепаться, снова смолкают.

— Уверен, уверен, — говорит Алик. — Только если это не будет самым главным, я тебе штрафной фужер налью. Согласен? Будет это самым главным или нет? Отвечай.

— Будет, — говорит Эдуард и вдруг тяжело вздыхает. — Ну ладно, раз вы настаиваете, то я скажу. В Седьмом доме у вас Плутон восходящий, в самой силе своей, а это очень неблагоприятная планета. Очень зловредная. Мало того, тут же мы видим ретроградную Венеру, причем здорово ретроградную. Такая нечасто встречается.

— Ну и что это значит? Что я ретроград? Так я этого и не скрываю. — Алик подносит к губам свой наполненный до краев водкой фужер, но выпить так и не успевает.

— Нет, — говорит Эдуард. — Никакой вы не ретроград. Венера — это планета любви. Ее движение вспять означает, что самое главное в вашей жизни — это большая неразделенная любовь. Настоящая. Не каждый человек может похвастаться, что у него такая была. Такой любви все в жизни подчинено. Все без исключения. Седьмой же дом связан с браком и с партнером по браку. А у вас тут, как я уже говорил, Плутон-злодей, да еще убойной силы. Вот это и есть самое главное в вашей жизни, Алик. Только это, и больше ничего. Все остальное, как вы сами совершенно

¹ От англ. mortgage — закладная.

верно заметили, — мелочи, попросту не достойные упоминания.

— Очень интересно, Эдуард, — говорит Розалия Францевна, и, несмотря на то что мы знакомы с ней уже почти два года, я, кажется, впервые слышу ее резкий, скрипучий, звучащий, как будто из могилы, голос. — Позвоните мне, пожалуйста, завтра с утра — у меня есть к вам предложение, которое, я думаю, могло бы вас заинтересовать.

В этот момент Даша, которая так же, как и ее бабушка, не проронила за весь вечер ни слова, вскакивает из-за стола и, опрокинув антикварный стул с высокой спинкой, выбегает из комнаты. Ей вослед громко хлопает огромная резная дверь, которую, как я совершенно точно знаю, Зарецкие выписали из Франции. Эту дверь там с одного средневекового замка сняли. Барон еще какой-то французский, говорят, чуть было из-за нее не удавился.

ДАМА С БОЛЯЧКОЙ

Хоть что-нибудь у Розалии Францевны болит всегда. Голова раскалывается от непреходящей мигрени, сердце колет и работает в сбивчивом ритме, в почках камни, в желчном пузыре — тоже, печень функционирует исключительно благодаря регулярно привозимому из России аллохолу, измученные артритом суставы ломит до, после и во время дождя, а желудок то отказывается переваривать пищу, то сводит с ума обострением язвы двенадцатиперстной кишки. Добавьте к этому такие мелочи, как сниженное почти что до уровня неодушевленной материи давление и временами не прощупывающийся пульс, и вы поймете, почему в доме Зарецких жизнь всей семьи подчинена самочувствию Марининой мамы. Отчасти считается, что и в Америку они уехали только для того, чтобы обеспечить ей самое совре-

менное и эффективное лечение, хотя и в Москве она пользовалась услугами самых лучших в городе врачей, включая персонал ЦКБ, а лекарства в последние годы принимала исключительно заграничные.

Жалуется на здоровье Розалия Францевна постоянно. Марина утверждает, что это вообще чуть ли не единственная тема, на которую ее еще можно разговорить, но от Даши мы знаем, что это не совсем так. Даша ходит в студию моей жены на уроки рисунка и живописи, и хотя от природы она очень застенчива и молчалива, именно от нее мы и узнали всю историю семьи Зарецких, о которой сами Марина и Антон распространяться не любят. Мы с Татьяной, естественно, всегда делаем вид, что ничего ведать не ведаем, но после сцены у них за столом мы сразу же поняли, что Розалия Францевна решила использовать астрологические и эзотерические познания Эдуарда в чисто утилитарных целях.

— Неужели она и вправду надеется, что он ее от всех болячек вылечит? — говорит Татьяна, поднимаясь впереди меня по лестнице к нашей квартире, из-за двери которой уже доносится мяуканье голодного и наверняка чувствующего себя брошенным Мурзика.

— А с чего ты взяла, что она именно из-за этого его позвонить просила? — говорю я. — Может, она просто гороскоп составить хочет? Себе или Даше.

— Конечно, — говорит Татьяна, открывая дверь. — Даша потому и психанула так. Судя по тому, что она мне рассказывала, что у них это не в первый раз. Еще в Москве все время дома гадалки какие-то крутились, экстрасенсы, йоги, последователи Порфирия Иванова и хасида-индуиста Бхагвана. Да и со здоровьем у нее, похоже, действительно труба. Она и так постоянно на что-нибудь жалуется, а тут еще шарлатан какой-то вмешиваться будет.

— Почему шарлатан? — говорю я и наклоняюсь, чтобы погладить Мурзика, который уже улегся на спину

и подставляет пушистый животик, чтобы его приласкали. Видно, действительно скучал тут без нас. — Он же Алику все правильно сказал.

— Какой же ты у меня... — Татьяна поворачивается ко мне и замолкает, подбирая наиболее точное, на ее взгляд, слово, — наивный. Неужели ты думаешь, что он это все в роскоше его увидел?

— А как же он узнал тогда, что Алик всю жизнь Милку любит, а она его — нет? Это ведь только мы, друзья, знаем.

— Вот именно, — говорит Татьяна, насыпая в миску Мурзика сухой кошачий корм, который я лично ни за что в жизни есть бы не стал, а он любит больше всего на свете. — Все это знают. И Алена в том числе.

— Алена-то тут при чем? — говорю я и смотрю, как Мурзик начинает есть, прихрюкивая от удовольствия. Наверное, мы его все-таки неправильно назвали. Хрюка он, а не Мурзик. Самая настоящая Хрюка. Или в крайнем случае Хрюкин.

— Ты что, Алену не знаешь? — терпеливо объясняет мне Татьяна. — Да она давным-давно своему Аполлону про всех нас все рассказала.

— Это-то я понимаю, — говорю я. — Но согласись, все равно удивительно, как он, в первый раз увидев человека, только по дате и месту рождения смог так точно его характер обрисовать. И ведь действительно самое главное назвал.

— Пойдем спать, — говорит Татьяна. — Я устала страшно.

— Может, он так и Розалию эту вылечит, — продолжаю я. — Представляешь, как здорово будет.

— Сомневаюсь, — говорит Татьяна. — И вообще, меня, честно говоря, во всей этой ситуации гораздо больше Володя твой беспокоит.

— А он что? Он здоров как бык, — говорю я.

— Да, но ты видел, как он на все смотрел? Видел, какое впечатление на него там все произвело? Ты бы по старой

дружбе объяснил ему, что это такое, как это делается и на кого рассчитано. Он тебя уважает. Может, послушается, чтобы глупостей каких не натворить.

— Не натворит, — говорю я. — На глупости у него теперь уже совсем денег не осталось. Да и не послушает он меня.

— Предупреди все-таки, — говорит Татьяна и, взяв Мурзика на руки, начинает гладить его за ушком.

Довольное мурчанье наевшегося котенка постепенно сменяется совершенно отчетливым похрюкиванием.

Володя звонит мне сам, прямо с утра.

— Слушай, у тебя телефон Алены есть? — говорит он, как всегда не здороваясь.

— Есть, конечно, — говорю я. — А что?

— Можешь дать?

— 555-1326, — говорю я.

— Ну, у тебя голова, — говорит Володя. — Ты все телефоны так помнишь?

— Все, — отвечаю я довольно резко в надежде, что он сейчас положит трубку и я смогу досмотреть замечательный сон, в котором я, одетый в пиджак и брюки, залез под душ и никак не мог понять, почему мне так дискомфортно. Когда же я наконец догадался сделать воду чуть теплее, как раз зазвонил телефон.

— Ну ладно, пока. Спасибо, — говорит Володя, и я с облегчением вешаю трубку.

В следующий раз я просыпаюсь от того, что Мурзик тычется мордочкой мне прямо в лицо и лижет нос. На часах уже половина второго, и мне пора вставать, хотя делать этого ужасно не хочется. Кажется, спал бы всегда — пусть даже без того сна, который из-за Володи я так и не смог досмотреть до конца. Но вставать все же надо, потому что завтра

я должен сдавать отцу работу, которую мы вместе с ним делаем, а я за свою часть еще и не брался. Работа эта — сложнейший перевод инструкции по использованию какого-то прибора, о предназначении и функционировании которого я имею весьма смутное представление. Впрочем, мне разбираться в таких мелочах и не нужно, потому что отец переводит эту инструкцию, наговаривает текст на диктофон, а я все это потом перепечатаваю на компьютере. Он говорит, что так у него гораздо быстрее получается.

С трудом освободившись от назойливых приставаний Мурзика, я отправляюсь на кухню, насыпаю в привезенную еще из Грузии турку две ложки сахара и две ложки моего любимого кофе с орешками, заливаю все это холодной водой, зажигаю газ и иду в большую комнату включать компьютер. За пару минут я успеваю запустить интернетовскую программу, и от сводки последних новостей меня отрывает только шум выкипающего на плиту кофе.

Обычное мое утро. Обычный день, ничем не отличающийся от многих-многих других, счет которым давно уже мною потерян. Еще один день бесконечного, совершенно не заслуженного мною счастья.

За ужином Татьяна говорит:

— Звонила Зарецкая. Очень просила нас прийти к ним завтра вечером.

— Зачем? — спрашиваю я, с большим неудовольствием отрываясь от котлет с жареной картошкой, которые, как всегда, получились у Татьяны просто замечательно.

— К ним опять придут Эдуард с Аленой, и Марина сказала, что с нами ей будет спокойнее.

— В каком смысле опять? — говорю я. — В смысле после вчерашнего?

— Нет, они и сегодня уже у них были, — отвечает Татьяна. — Созвонились с Розалией Францевной и тут же

подъехали. Час просидели с ней, о жизни говорили. Она просила ей гороскоп составить, но не простой, а медицинский. Эдуард сказал, что это очень кропотливое и сложное дело, хотя именно медицинские гороскопы являются его главной специальностью и что он даже диссертацию по ним защищал. Я, конечно, спросила у Марины, показал ли он им хоть диплом какой-нибудь, и она ответила, что да — продемонстрировал, причем не один, а целых два — из Санкт-Петербургской астрологической академии и из какой-то закрытой тибетской школы, куда, как Алена тут же объяснила, только по рекомендации далай-ламы берут. В общем, договорились, что сам гороскоп с диагнозом будет стоить полторы тысячи, а если Розалия Францевна захочет, чтобы Эдуард порекомендовал ей лечение, то за это придется платить отдельно. По его словам, он ни с кого так мало не берет, но Алениным друзьям всегда готов сделать скидку.

— Это очень благородно с его стороны, — говорю я.

— А ты с Володей разговаривал? — спрашивает Татьяна, как будто не расслышав моей реплики.

— Утром еще, — отвечаю я.

— Ну вот и замечательно, — говорит она. — Умница. Еще котлетку хочешь?

— С паршивой овцы... — говорит отец, когда я приношу ему распечатанный перевод, но я знаю, что это он так шутит, и поэтому не обижаюсь. Да и некогда мне сейчас обижаться, потому что в «Гамбринусе» меня ждут Алик с Володей. Я и так уже опаздываю, но работа важнее, да и деньги отец всегда сразу дает. Много, конечно, на этом не наваришь, но на пару чего-нибудь импортного и холодного я точно с надиктованной им пленки понапечатал.

Как я и предполагал, когда я вхожу в «Гамбринус», мои друзья уже сидят за столиком, уставленным кружками и всякой снедью.

— Леш, мы чешское взяли, темное, — говорит Володя. — Нормально?

— Конечно, — отвечаю я. — Что лучше чешского может быть? В Москве за ним когда-то по два часа в очереди стоять приходилось. Если еще удавалось найти. В «Парке культуры», помнишь?

— Да, недостаточно мы, видно, в братьев-славян нефти залили, что их пиво в таком дефиците было, — говорит Алик. — Танкер небось целый на бутылку выменивали. А то и на кружку. Нет, все-таки Сталин большую ошибку совершил. Хотя и умный он был мужик, но иногда все же сильно ошибался — по доверчивости своей и мягкости.

— Смеешься? — говорю я, отхлебывая приятно леденящий горло напиток.

— Какой тут смех, — говорит Алик. — Не хрен было освободить всю эту шелупонь. На границе надо было в сорок четвертом году остановиться, с генералами какими-нибудь немецкими здравомыслящими сепаратный мир заключить, и все. Знаешь, сколько там народа за пивко это легло? Если с умом подойти, то они и так бы нам все отдали — за нефть ту же. И тогда немцы у них захватчиками считались бы, а не мы. Мы бы в лучших друзьях ходили, а так ходим в круглых дураках.

— Ну почему мы ходим в круглых дураках? — говорю я, хотя спорить с Аликом мне совершенно не хочется. И не потому, что я с ним согласен, а потому что креветки в «Гамбринусе» уж больно хорошие. Почти такие же, как когда-то в «Сайгоне» у Киевского вокзала были.

— Мы-то точно в дураках, — говорит Алик. — Вон на друга своего посмотри. Он просто клинический дегенерат какой-то.

Я вопросительно перевожу взгляд на Володю, а он улыбается своей добрейшей улыбкой, которая вообще свойственна людям такого же, как и он, огромного роста.

— Ну давай, Расскажи Лешке, зачем ты нас сюда вызвал, — говорит Алик. — Ты же его тоже в долю хочешь взять. Расскажи ему, какой ты подвиг сегодня совершил.

— Ты не объективен, — говорит Володя, — и поэтому твое мнение нельзя принимать всерьез. Ты Эдуарду этого вечера никогда в жизни уже не простишь, хотя ты сам нарвался. Подкалывать всех ты любишь, а правду слушать — нет. Да и вообще, я тебе по дружбе рассказал, чтобы ты за мортгидж свой рассчитался наконец, а ты как Фома неверующий. Впрочем, как хочешь. Никто ведь тебя не заставляет.

— Вы объясните, наконец, в чем дело, или нет? — говорю я, хотя, если по-честному, мне не очень-то и интересно.

— Твой дружок закадычный ездил сегодня на прием к нашему Нострадамусу, — говорит Алик. — Тот офис собственный открыл — прямо у Алены в квартире. «Аполлон и сыновья» называется. Двести вечнозеленых американских президентов за визит берет.

— Ну и что он тебе рассказал? — спрашиваю я Володю. — У тебя-то там в Седьмом доме все в порядке, надеюсь?

— А я про себя ничего и не спрашивал, — говорит Володя все с той же улыбкой.

— А про что же? — говорю я, допивая из кружки последние капли.

— Про себя он и так все знает, — говорит Алик. — Он ездил гороскоп уолл-стритовских компаний составлять.

— Я давно уже про это читал, — перебивает его Володя. — Гороскоп ведь не только на людей, но и на все, что угодно, составить можно. На любую фирму, на организацию, даже на целую страну.

— Ну и что? — говорю я, придвигая к себе вторую кружку.

— Я выбрал десять самых солидных американских компаний, чьи акции продаются на бирже, и попросил Эдуарда составить их прогнозы на самое ближайшее будущее. Ну, кто из них вверх пойдет, кто вниз. Он потрясающий

парень, сказал, что как раз по бизнес-гороскопам в Англии специализировался и что с меня — как с друга Алениного — он всего штуку за все про все возьмет, включая оплату визита. То есть двести баксов я сразу отбил.

— И что дальше? — спрашиваю я.

— Он потрясающе все разложил. Как настоящий эксперт, — говорит Володя. — Американская экономика, говорит, в полных кренделях. Все акции только падать будут. Это я, правда, и без него знаю, но таким образом я его на вшивость проверил. Я ведь этими акциями долбаными сколько лет уже занимаюсь, а он не специалист никакой, и — в самую точку. Но там в моем списке одна компания была — я уже больше месяца к ней присматриваюсь. Им большой контракт правительственный светит, об этом даже в «Нью-Йорк таймс» писали, но Эдуард-то ее не отслеживал, а сразу определил, что «UComm» — единственная из всего списка, кто резко поднимется — причем очень скоро. Он все, конечно, планетами какими-то там объяснил, домами и углами, но мне ведь это до одного места, сам понимаешь.

— Сколько ты купил? — спрашиваю я.

— Брось, Леш, — говорит Володя. — Я не лох. И потом, ты же знаешь, у меня сейчас взрослых денег и не осталось вообще. Купил всего штучку по шестнадцать баксов с копейками. Как удвоится, продам. Хотя Эдуард говорит, что там сейчас угол такой, что и в пять раз может вырасти, и в десять. Я вам по дружбе только старой все это рассказываю, а там делайте что хотите. Дело ваше.

— Я вот, например, точно знаю, чего я хочу, — говорит Алик и подзывает официанта. — Пиво без водки, как известно, — деньги на ветер.

Как я в тот вечер добрался до Зарецких, я, честно говоря, помню смутно. Еще более смутное воспоминание осталось у меня от всего, что произошло у них.

Помню только, что к моменту моего появления все уже в сборе и внимательнейшим образом слушают разливающегося соловьем Эдуарда. Сделав невероятное усилие, я начинаю постепенно разбирать, что он проводит подробнейший анализ состояния здоровья Розалии Францевны, которая буквально на каждую его фразу одобрительно кивает головой, подтверждая тем самым точность поставленного им диагноза. Исходя из каких-то одному ему ведомых тонкостей расположения звезд и планет, а также сложнейших взаимосвязей, возникающих в результате образуемых этими небесными телами геометрических фигур, Эдуард довольно точно устанавливает, что у его пациентки врожденный порок сердца, расшатанная нервная система, камни в почках и в желчном пузыре, хроническая гипотония, сопровождаемая острыми приступами мигрени, запущенный артрит и медленно прогрессирующая катакстракта.

— Все? — выдыхает Розалия Францевна, когда Эдуард останавливается.

— К сожалению, нет, — говорит он. — Я еще не коснулся дыхательных путей, потому что именно они у вас в самом плачевном состоянии. Обе части дыхательной системы — как верхняя, то есть трахея и гортань, так и нижняя, легкие, — находятся под Близнецами, а этот знак у вас поражен, причем очень сильно. У вас там Марс, да еще в квадратуре с Луной вдобавок. К тому же в астрологии известно, что, когда планета-управитель Шестого, Восьмого или Двенадцатого домов попадает в другой дом, это указывает на серьезные проблемы со здоровьем. У вас, к сожалению, сейчас самая тяжелая комбинация — управитель Шестого дома недавно вошел в Двенадцатый, а это прямое указание на то, что больниц и операций вам не избежать. С учетом сказанного выше о прискорбном состоянии Близнецов, я думаю, что у вас в легких опухоль, и в довольно запущенной стадии.

— Американские врачи — это сборище придурков и шарлатанов, — говорит Розалия Францевна своим скрипучим, замогильным голосом. — Два года уже лечат меня, а самое главное все равно проморгали. Я так и знала, что смертельно больна, и очень благодарна вам, Эдуард, за то, что вы сказали мне правду.

— Да, положение действительно очень серьезное, — говорит Эдуард. — Метастазы могут пойти в любой момент. Простите, что говорю вам такие неприятные вещи, но это мой долг. Как наследника, так сказать, одновременно Птолемея и Гиппократы.

— Дело не в этом, — говорит Розалия Францевна. — Ведь если я пойду к врачам, они тут же уложат меня на операционный стол. Будут торопиться, чтобы содрать со страховки побольше денег. На трупе моем им ведь ничего уже не заработать. Они тут всегда так: чуть что — сразу резать. Сколько раз я отказывалась уже. Может, потому только и жива до сих пор.

— Американская медицина очень несовершенна, — говорит Эдуард. — Для них это в первую очередь бизнес, и конечно же они стремятся побыстрее отправить человека в больницу или прописать ему самые дорогие лекарства. Желательно экспериментальные, чтобы их на нем опробовать, а потом статью научную на эту тему в журнальчик какой-нибудь тиснуть. Но в вашем конкретном случае операции можно избежать. На Востоке есть совершенно иные методы лечения.

— Я знаю, — говорит Розалия Францевна. — Поэтому я к вам и обратилась.

— Мама, ты что, серьезно? — чуть не плача, говорит Марина. — Ну откуда у тебя опухоль может быть?

— Марина, я понимаю ваш скепсис, — говорит Эдуард, — и уважаю ваше мнение. Так что, если вы готовы рискнуть здоровьем, а скорее всего, и жизнью вашей матери, окончательное решение, естественно, всегда за вами.

— Она, может быть, и готова рискнуть, — говорит Розалия Францевна, — но я не готова. Продолжайте, пожалуйста. Что вы говорили о восточных методах лечения?

— В вашем случае, — говорит Эдуард, — я бы прописал интенсивный курс сингхартии. Это разновидность мумиё, которое собирают в Непале. На западе оно практически не известно, хотя более действенного средства от злокачественных новообразований пока нет. Побочных эффектов оно, кстати, не имеет. Или, скажем, почти не имеет.

— Я согласна, — говорит Розалия Францевна. — Вы заслужили мое доверие своей прямоотой и профессионализмом, и я согласна. Сколько я должна буду вам заплатить?

— Я ничем не торгую, — несколько обиженным голосом говорит Эдуард. — Вы меня за кого-то не того принимаете.

— Нет, нет, — начинает протестовать Розалия Францевна. — Простите, пожалуйста. Я вовсе не это хотела сказать...

Она замолкает, а Эдуард, выдержав длинную паузу и как бы сменив в конце концов гнев на милость, говорит:

— Эзотерика и торговля — вещи несовместные. Но у меня действительно есть знакомый, который мог бы достать нужное количество сингхартии за разумную цену. Это очень серьезный человек, глубоко порядочный и совершенно бескорыстный. Он прожил много лет в Непале, заплатил там за это лекарство целое состояние и продает по себестоимости только из сострадания к болезням близких. Его, кстати, Жора зовут.

— Деньги не имеют значения, когда речь идет о жизни и смерти, — говорит Розалия Францевна. — Но все же сколько примерно это может стоить?

— Ну, я думаю, что за полный курс лечения запущенной опухоли с метастазами речь пойдет о сумме тысяч в десять–пятнадцать, не больше.

— Бабушка, — робко подает голос Даша, — может, сначала надо все-таки с врачами посоветоваться? Если в легких опухоль, то ее ведь любой рентген сразу покажет.

— Покажет, — соглашается Розалия Францевна. — Но они ведь тогда меня сразу резать захотят. Нет уж, лучше не надо. А десять тысяч для нас же не проблема, правда, Марина?

Марина растерянно разводит руками, Алена с умным видом кивает головой, Даша в отчаянии смотрит то на свою бабушку, то на Татьяну, а в моем категорически отказывающемся трезветь мозгу все их лица и голоса сливаются в одно сплошное марево, и я не могу думать ни о чем, кроме того, что хорошо бы побыстрее добраться до дома.

На следующее утро Татьяна, которая не выносит пьяных, но тем не менее после того, как я долго прошу прощения, великодушно прощает меня за то, что я так безобразно нахрюкался накануне, рассказывает, что Розалия Францевна согласилась на курс лечения сингхартией и что мы должны немедленно что-то по этому поводу предпринять.

Что тут можно предпринять, я не знаю и, включив Интернет, первым делом смотрю, как продаются сегодня акции «USoft». Оказывается, что со вчерашнего дня их цена выросла уже на целых два доллара. И каждый раз, когда я нажимаю на соответствующую кнопку, она становится все больше и больше.

Тут как раз звонит телефон, и, даже не успев еще снять трубку, я понимаю, что мне предстоит очень интересный разговор с Володиёй.

ПОЛЕ ЧУДЕС

— Биржа — это сердце мира, — говорит Эдуард и тянется за очередной котлетой: Татьяна успела пожарить их перед уходом на работу. Она, правда, рассчитывала, что мы их на ужин съедим, и никак не могла предположить, какая судьба ожидает эти маленькие шедевры, для приготовления кото-

рых, как она однажды подсчитала, требуется четырнадцать ингредиентов — мякиш белого хлеба, молоко, свиной фарш, говяжий фарш, тертый лук, тертая морковь, яйца, майонез, вода, тертый чеснок, соль, молотый перец, сливочное масло и панировочные сухари, в которых эти котлетки жарятся. Но давайте лучше все по порядку.

День начинается с того, что мне звонит Владимир Владимирович Путин. Сначала он интересуется моим здоровьем и общим ходом дел на Брайтоне, а потом спрашивает, нет ли у меня каких-нибудь предложений по спасению развалившейся российской экономики. Я скромно, но с достоинством отвечаю, что некоторые наработки в этом направлении действительно есть, и начинаю по пунктам излагать давно уже до последних мелочей продуманную мною программу. Путин слушает очень внимательно, записывает каждое слово, а во время возникающих иногда пауз отдает премьер-министру Касьянову соответствующие приказы по немедленному претворению в жизнь моих рекомендаций.

«Благодарю вас, господин Зернов, — говорит президент, когда я наконец замолкаю. — Еще я хотел бы узнать ваше мнение по поводу намечаемой реформы вооруженных сил Российской Федерации, если таковое у вас, конечно, имеется».

Мнение у меня, естественно, имеется, но поделиться им с Путиным я не успеваю, потому что в этот момент раздастся звонок в дверь. Открывать мне не хочется. Я вообще, надо сказать, дверь никогда не открываю, если только заранее с кем-нибудь не договорился, но звонить продолжают все наглее и настойчивее, а потом с лестничной клетки доносится голос Алика:

— Леш, а Леш, я же знаю, что ты дома. Давай просыпайся, поговорить надо.

Я с огромным неудовольствием открываю глаза и, поднявшись с постели, ковыляю в прихожую. Открыв дверь,

я вижу Алика с огромным полиэтиленовым пакетом в руках. В пакете что-то звенит и булькает, от чего я окончательно просыпаюсь, но никакой радости по этому поводу почему-то не испытываю. Незавершенный разговор с Путиным оставил на душе неприятный осадок, так что Алика я теперь слушаю безо всякого удовольствия.

— А меня с работы выгнали, — говорит он. — Отметить бы надо. Свобода все-таки.

— За что выгнали? — спрашиваю я, доставая из шкафа тарелки и фужеры.

— Да ни за что, — говорит он. — Контракт у меня кончился, а возобновлять его не стали. Сейчас все программисты без работы. Особенно хорошие.

— Ну и что ты делать будешь? — опять спрашиваю я, хотя мои мысли по-прежнему заняты тем, что в нынешней экономической ситуации переводить российскую армию на контрактную основу — это чистейшей воды безумие.

— А ничего, — говорит он. — Надоело мне это все. Мы ведь как думали когда-то? Вот на Западе, не то, что в Совке, работающего и инициативного человека ценят. Работай в свое удовольствие. Ни тебе планов никаких пятилетних, ни парткомов, ни волокиты бумажной, ни начальников-дураков. А оказалось, что здесь еще хуже все. Во-первых, здесь работа — это всего лишь разновидность добровольного рабства. Пожизненная кабала, за которую еще благодарить надо. Опутают сначала закладными всякими, счетами, кредитами, а потом попробуй только не поработай. И они это знают и до последней капли все выкачать из тебя норовят. Причем делают это так, как будто величайшее благодеяние оказывают.

— А во-вторых? — спрашиваю я.

— А во-вторых, ты знаешь, я готов поклясться, что тот же самый Борис Аркадьевич, который в моем НИИ сидел и орал на меня каждый раз, как я на десять минут опаздывал, теперь в «Мэррил-Линче» программистским отделом

заведует. Только вместо матерного русского он на чистейшем английском выражаться выучился и улыбается все время, как полный дебил. Да еще тот Борис Аркадьевич меня уволить не мог, и поэтому я на его крики самую драгоценную часть моего организма забивал, а этот все может.

— Так это он с тобой контракта не возобновил? — говорю я.

— Ну да, — говорит Алик. — Но мне это по барабану маленькому и до зеленой дудочки. Со мной этот номер больше не пройдет. Я больше на них пахать не буду. Пусть сами свои программы пишут — посмотрим, как у них получится.

Он замолкает на секунду, а потом добавляет:

— Да, кстати, я Володьку тоже пригласил отмечать мое освобождение. А он сказал, что у него Эдуард сидит и что без него он с места двинуться не может. Так что они оба сейчас подтянутся. И еще какой-то пацан там с ними. Брокер он на бирже, что ли. Или еще чем-то столь же важным и общественно полезным занимается.

— Биржа — это сердце мира, — повторяет Эдуард, откусывая большой кусок от котлеты. — Пламенный мотор, который всех нас везет и весь мир на себе тащит. Без биржи мы бы еще жили при феодализме и натуральном товарообмене. Смастерил ты, например, ведро — пойди обменяй его на огурец или на батон хлеба.

— Я бы тогда точно с голода помер, — говорю я. — Мне ведро никогда не сделать. У меня в школе по труду твердая двойка была. Наш трудовик говорил, что он таких, как я, вообще никогда в жизни не видел. А повидал он на своем веку, судя по его лицу, немало.

— Ты бы переводом занимался, — старается утешить меня Володя.

— Ну да, переводом слепых через дорогу, а они бы тебя за это огурцами кормили, — говорит Алик.

— Господа, вы же сами просили про биржу рассказать, — говорит Эдуард. — Вот я и Стива специально для этого от дел оторвал.

Стива, как я впоследствии узнал, на самом деле зовут Семеном, но для солидности и для более успешной адаптации к условиям жизни на исторической американской родине он переименовал себя на местный манер. Так что, когда Стив только прибыл в Нью-Йорк, здешние коренные жители никак не могли взять в толк, почему носитель столь старинного англосаксонского имени не в состоянии даже поздороваться правильно на языке своих предков. И, только узнав, что на самом деле перед ними Семен и что идишем он владеет вполне сносно, успокаивались.

— Да ладно, Эдуард, чего там, — говорит Стив-Семен. — Для общего же дела стараемся.

— Ну так ты и рассказывай им, — говорит Эдуард. — Кто из нас трехмесячные курсы брокеров только что закончил — я или ты?

— На самом деле все очень просто, — оживляется тот, кого я для простоты повествования буду все-таки называть Стивом. В конце концов, именно так он и просил, чтобы мы его называли. — Возьмем, действительно, Лешин случай. Ничего, кроме переводов, ты, насколько я понял, делать не умеешь, правильно?

— Правильно, — отвечаю я. — Но зато переводчик я классный. Вот недавно мы с отцом такую сложную инструкцию перевели...

— Это не важно, — довольно бесцеремонно перебивает меня Стив. — Важно другое. Пока ты просто переводами занимаешься, ты в лучшем случае на огурец себе зарабатываешь. А вот если создать корпорацию и выпустить ее акции на рынок, то это уже совершенно другой коленкор будет.

— «Леша инкорпорэйтид», — говорит Алик.

— Хорошее название, — говорю я, не обращая внимания на явно звучащую в его голосе иронию. — Но зачем мне акции выпускать? Разве от этого у меня переводов прибавится или за них лучше платить будут?

— Ты заиклен на старомодной ерунде, — говорит Стив. — Когда ты выпустишь акции, тебе уже больше переводить вообще не надо будет. Никогда.

— Почему это? — спрашиваю я.

— Ну, сам прикинь, — говорит Стив. — Выпустил ты, допустим, миллион акций по цене десять долларов за штуку. Вот тебе уже десять лимонов.

— А кто их у меня купит? — говорю я, с ужасом наблюдая, как Эдуард берет со сковородки последнюю котлету.

— Я могу купить. Целую штуку. По старой дружбе, — говорит Алик. — Что мне, для лучшего друга десять тонн зелени жалко, что ли?

— Кончай, Алик, — говорит Володя. — Тебе как безработному это особенно полезно послушать. А то вот сколько лет уже вкалываешь здесь, а до сих пор даже за дом не выплатил. Послушай умного человека хоть раз в жизни. Может, научишься чему полезному для разнообразия.

— Володя прав, — говорит Стив. — Единственная возможность по-настоящему разбогатеть в Америке — это биржа. Но прав и Леша — если компания неперспективная, то ее акции никто покупать не будет.

— Еще как будут, если им правильно голову заморочить и пообещать, что Лешка, который сегодня еле-еле страницу в день переводит, скоро начнет переводить две, и его доходы удвоятся, — не унимается Алик. — А если им пообещать, что он сто страниц в день переведет, то его акции уже не десятку, а штуку стоить будут, и я на мои несчастные десять тысяч получу уже целый лимончик. Правильно я излагаю?

— Правильно, — говорит Стив. — Только это уже будет называться обманом инвесторов, а за такое можно и присесть на секундочку. Солидные компании такими вещами не занимаются.

— «Энрон», например, да? — говорит Алик.

— «Энрон» — это исключение, — невозмутимо отвечает Стив. — Там уже на правительственном уровне расследование ведется, и все виновные понесут наказание.

— Обязательно понесут, — говорит Алик. — По три года условно получают плюс штраф символический. А десятки миллионов, которые они совершенно легально у своих вкладчиков и сотрудников скрысили, у них на офшорных счетах так и останутся.

— Посмотрим, — говорит Стив. — В любом случае для нас это не принципиально, поскольку играть можно как на повышение курса, так и на понижение. Главное — знать, куда данная компания пойдет.

— Если Лешка все-таки свои акции выпустит, я только на понижение играть буду, — говорит Алик. — Только как это сделать?

— Очень просто, — отвечает Стив. — Вместо того чтобы купить тысячу акций компании «Леша инкорпорейтид», ты их продашь.

— Но у него же их еще не будет, — говорю я.

— Вот именно, — говорит Стив. — Он продаст те акции, которых у него нет. По их сегодняшней цене — то есть по десятке за каждую. Вернее, его брокер одолжит ему эти акции и продаст за него. На счете у Алика появится десять тысяч долларов и так называемая «короткая» позиция — по-английски «шорт», которую он обязан в какой-то момент закрыть. И если цена действительно упадет, скажем, до семи долларов, то он купит тысячу акций уже по этой цене, чтобы закрыть свой шорт и вернуть одолженное у брокера, но при этом останется с чистой прибылью в размере трех тысяч баксов. Поди, хреново? Три

тысячи американских рубликов за пятнадцать минут работы, а?

— А если цена все-таки пойдет вверх? — спрашиваю я, хотя по многолетнему опыту я прекрасно знаю, что я и страницу-то перевода не во всякий погожий день могу осилить. — Вдруг я правда начну по две переводить?

— Тогда надо либо ждать, пока цена опять опустится, либо закрываться с потерей, — говорит Стив. — Но самое интересное даже не это. Это все мелочи. Детские игры. Взрослые мужчины играют совсем по-другому. Котлеты кончились, что ли?

— Да, — с большим сожалением говорю я.

— Ну ладно, давайте тогда так выпьем.

Мы все радостно киваем, а Володя говорит:

— По-взрослому — это как?

— Главная проблема любого инвестора — это ограниченность его капитала, — говорит Стив. — Даже если ты тысячу Лешиных акций зашортил и они до нуля упали, то все равно твоя максимальная прибыль — десять штук. Что это такое по нашим временам? Ничего, и зовут его никак. Но мы, слава богу, в благословенной Америке живем, и здесь такие проблемы легко решаются.

— Как? — спрашивает Володя.

— Есть два пути, — говорит Стив. — Один — это одолжить деньги у брокера. Маржа называется, и при хорошей кредитной истории тебе на каждый доллар, который ты на счете держишь, еще два дают. То есть с капиталом в десять тысяч ты уже не тысячу акций купить можешь, а три. Или зашортить, соответственно. Но и это еще не самое серьезное.

— А что самое? — спрашиваем мы с Володей в один голос.

— Самая взрослая игра, которая позволяет максимально использовать капитал, — это опционы. Они бывают двух видов — «колы» и «путы».

— Хорошие названия, — говорит Алик. — Говорящие.

— Покупая опцион, — продолжает, не обращая на него никакого внимания, Стив, — вы приобретаете или продаете не саму акцию, а только право купить или продать ее по определенной цене в определенный период времени.

— Это уже что-то слишком, — говорю я.

— Нет, нет, продолжай, — говорит Володя.

— На самом деле это только звучит сложно, — говорит Стив, — а если разобрать все на конкретном примере, то вы увидите, что это-то и есть самое интересное. Возьмем те же Лешины акции, которые сегодня стоят червонец. Допустим, мы хотим сыграть на повышение и покупаем «колы», которые дают нам право в течение ближайших шести месяцев приобрести эти акции по двенадцать долларов. Каждый «кол» стоит всего доллар, и таким образом мы на наши десять штук можем купить их десять тысяч. Если за полгода цена акций удвоится, то мы, как говорится, «реализуем опцион» — то есть акции, стоящие уже по двадцать долларов, мы покупаем за двенадцать. Причем не забывайте, у нас их не одна тысяча, как было бы, если бы мы пошли детским путем, а целых десять. Мы покупаем их по двенадцать и тут же продаем по двадцать. Чистая прибыль составляет семьдесят тысяч. И опять же за пятнадцать минут работы.

— Потрясающе, — говорит Володя. — А «путы» — это что такое?

— «Путы» — это то же самое, только наоборот, — терпеливо объясняет Стив. — Если мы считаем, что акция пойдет вниз, то покупаем «путы» по доллару каждый — то есть приобретаем право продать десять тысяч акций в течение ближайших шести месяцев, скажем, по восемь долларов. Если акции упадут до доллара, то мы их «шортим». Причем их опять же у нас десять тысяч штук, а не тысяча всего. То есть чистый навар — шестьдесят тысяч баксов. Естественно, во взрослой жизни речь идет о гораздо более

серьезных суммах. Поэтому и выигрыш тоже гораздо более серьезный.

— Самое главное — это правильно предсказать, куда пойдет акция, а выиграть по-крупному можно даже при ограниченных средствах, — вставляет свое веское слово Эдуард. — Вовсе необязательно быть Соросом.

— Уж этого проходимца ты бы лучше не упоминал, — говорит Алик. — Неужели не понятно, что, когда у человека на руках миллиарды, он может любые акции сам двигать в нужном ему направлении? А если у него еще и друзья такие же, то тогда — полный привет. Если они миллион акций какой-нибудь компании купили или продали, то цена автоматически идет соответственно вверх или вниз. Как против них играть?

— Вы, Алик, почему-то упорно отказываетесь понимать, в чем тут суть, — говорит Эдуард. — Игра — это для буратин. А мы не лиса Алиса и кот Базилио. Мы говорим о том, что ставки можно — и нужно — делать наверняка. Если знать будущее, то риска нет никакого.

— А будущее, естественно, просчитывается по звездам? — говорит Алик.

— Совершенно верно, — отвечает Эдуард, слегка наклонив голову. — Но дело даже не в этом. Человек, который видит будущее, чувствует, что он любим Богом. Иначе ведь Он не стал бы открывать ему то, что скрыто от всех остальных. Биржа позволяет этому чувству укрепиться и найти выражение в свободно конвертируемых денежных знаках. То есть превращает это чувство в уверенность. А что может быть для человека важнее, чем уверенность в том, что его любит Бог?

— Например, уверенность в том, что его любит жена? — пытается улыбнуться Алик, но это как-то плохо у него получается.

— Эта проблема решается гораздо проще, — говорит Эдуард. — Вот вы напрасно обиделись на меня тогда, чуть

ли не драться полезли и договорить мне не дали. А ведь негативное влияние планет можно довольно легко нейтрализовать. Например, при помощи драгоценных камней. Вам как типичному Овну очень могут пригодиться гелиотроп, яшма и особенно аквамарин, который связан с разоблачением обманов и усиливает привлекательность своего хозяина в глазах противоположного пола. Максимальной силой обладают индийские разновидности цвета морской волны. Еще есть хороший камень — авантюрин. Многие астрологи его совершенно неправильно понимают, считая, что он связан с шулерством и, кстати, в панда-дан к нашему сегодняшнему разговору, с игрой на бирже. Но на самом деле авантюрин связан не столько с игрой, сколько с чистой, возвышенной любовью. Такой любовью, о которой мы в прошлый раз говорили. Этот камень носил Дон Жуан, потому что он обостряет все эмоции и может расположить к вам сердце вашей возлюбленной. С укреплением семьи связаны также амазонит и сардоникс. Категорически противопоказан вам гиацинт — камень несчастной любви. Так что, если вы решите все-таки побороться со своим гороскопом, позвоните мне. У меня есть один знакомый — он прекрасный ювелир и может достать даже самые редкие камни по весьма доступной цене.

— А вот у вас какие красивые перстни, — говорю я. — Что это? Один я узнаю. Бриллиант вроде, но с какими-то черными вкраплениями. А остальные — это что?

— Александрит и змеевик, — говорит Эдуард так, как будто для кого-то из нас эти названия что-то означают.

Когда вечером усталая Татьяна возвращается с работы, я пересказываю ей все услышанное днем от Эдуарда и Стива и говорю, чтобы она не расстраивалась из-за котлет, потому что скоро мы очень разбогатеет. Володя уже столько

заработал на акциях «UComt», цена на которые за последние несколько дней поднялась до двадцати трех долларов, что заказал Эдуарду полные гороскопы двадцати компаний, а также всех ведущих биржевых индексов. На их понижение или повышение, оказывается, тоже можно играть, причем очень даже легко. Он также открыл счет в конторе, где работает Стив, пообещавший ему огромную маржу под совсем смешные, как он выразился, проценты, проверку Эдуардовых прогнозов экономическими и бухгалтерскими показателями, а также доступ к информации, которая предоставляется только брокерам и позволяет опередить остальных игроков — даже самых крупных.

Татьяна выслушивает меня очень внимательно, несколько не жалуясь на то, что после трудового дня ей приходится вместо полноценного ужина довольствоваться чаем с бутербродами, и говорит:

— А все-таки хорошо, что у нас денег нет, правда?

— Так ведь скоро будут деньги, причем очень много, — говорю я. — Если бы мы тогда «UComt» по шестнадцать долларов купили...

— На что бы мы его купили?

— Можно одолжить у кого-нибудь, — говорю я.

— Не надо, — говорит Татьяна. — Давай лучше знаешь как сделаем? Ты все рекомендации Эдуарда занеси в компьютер и последи за этими компаниями месяц-другой. Посмотрим, насколько точно он все предсказал. А Володиной Ларисе я сама позвоню.

— Зачем? — говорю я.

— Скажу ей, чтобы он то же самое сделал, — говорит Татьяна. — Нскуда торопиться.

— Поздно уже, — говорю я.

— Почему поздно? Полдесятого всего.

— Не в этом смысле, — говорю я. — Володька на прошлой неделе еще на рефинансирование дома подал, и кредитную линию ему открыли на пятьдесят тысяч. Как

старому клиенту. Он очень гордится тем, что, несмотря на все его неудачи последних лет, ему удалось сохранить хорошую кредитную историю.

— Кошмар, — говорит Татьяна. — Но я все равно позвоню.

— Позвонить можно, конечно, — говорю я. — Но это вряд ли что-то изменит. Да и вообще, ты уверена в том, что ты права?

Татьяна ничего не отвечает, а просто уходит в свою комнату. Через несколько минут оттуда раздается ее голос:

— Миленький, иди сюда, я тебе полработы покажу.

Я захожу к ней и замираю при виде почти что готовой картины. На ней изображена залитая утренним светом комната, свеча на подоконнике, лампа с абажуром и еще несколько свечей на пыльном трюмо, тяжелые шторы, покрытый красной скатертью стол. За столом сидит одетая в домашний халат старая обезьяна-шимпанзе. В одной руке у нее чашка с чаем, в другой — кусочек торта. Перед ней корзинка с фруктами и блюдечко с нарезанным на ломтики яблоком. Обезьяна смотрит на стоящий напротив нее по другую сторону стола пустой стул — или мимо него — и думает о чем-то своем. Может быть, о том, кто когда-то сидел за этим столом вместе с ней и кого больше нет, а может, и о чем-то совсем другом, совершенно постороннем, никак с ее одиночеством не связанном.

— Ну как? — говорит Татьяна. — Понимаешь?

Ответить я не успеваю, потому что в этот момент звонит телефон.

После краткого «алло» Татьяна замолкает на несколько минут, потом говорит: «Да, да, конечно», кладет трубку и поворачивается ко мне.

— Это Даша. Она заедет сейчас. Ты не возражаешь?

— Нет, — говорю я. — Случилось что-нибудь?

— У них большое горе, — говорит Татьяна. — Розалии Францевне утром стало плохо, она начала задыхаться, температуричь, бредить. Ее отвезли к врачу. Подозрение на рак легкого. Завтра они к хирургу едут, то ли об операции договариваться, то ли еще что. Все Зарецкие в панике, не знают, что делать. И Даша сказала, что ей очень нужно со мной поговорить.

О ЧЕМ УМОЛЧАЛИ ЗВЕЗДЫ

Отец Розалии Францевны родился в зажиточной семье известного франкфуртского раввина и, подобно автору «Капитала», вместо предуготованной ему родственниками карьеры, с самой ранней юности занялся проблемами освобождения рабочего класса. Он играл заметную роль не только в германском коммунистическом движении, но и в Коминтерне, был лично знаком с Лениным и Троцким, принимал участие в нескольких съездах РСДРП, выучил русский настолько хорошо, что его статьи печатали в «Правде», и после падения Веймарской республики, естественно, эмигрировал в Советскую Россию, где и появилась на свет его единственная дочь.

По материнской линии Розалия Францевна унаследовала одну из самых громких дворянских фамилий Российской империи — громкую настолько, что вплоть до самой перестройки в семье Зарецких ее произносили исключительно шепотом. Родственники ее матушки были людьми знаменитыми — из принадлежавших им поместий могла бы сложиться приличных размеров европейская страна, а то и две. Портреты ее предков украшали главные музеи обеих столиц, их именами были названы улицы и целые города, в их дворцы водили на экскурсии туристов со всего мира, а об их подвигах на государевой службе можно было про-

читать в любом школьном учебнике по отечественной истории. Революция разбросала родню Розалии Францевны по всей планете, но ее многочисленные дядюшки и тетушки, кузены и кузины, племянники и племянницы, так или иначе связанные кровными узами практически со всеми аристократическими семействами Старого Света, нигде не бедствовали и не умирали с голоду. Из тех же, кто не успел убежать от народной власти, многие верой и правдой служили ей, занимая довольно высокие посты: кто в дипломатическом корпусе, кто — в армии, кто — в академической сфере.

К ее отцу именитые родственники относились в общем и целом неплохо, тем более что в двадцатые годы он многим из них буквально спас жизнь. Связи в ЧК у него были колоссальные, поскольку и сам он занимался тогда борьбой с контрреволюцией и выявлением чуждых классовых элементов, за что и был в 1937 году расстрелян вместе со многими своими сослуживцами. В книге Мельгунова «Красный террор в России» его имя упоминается в ряду отличавшихся особым изуверством следователей, и, как следует из солженицынского «Архипелага», за особо изощренные методы ведения допросов заключенные прозвали его «Молоток», что само по себе говорит о многом. Солженицын пишет, что легенды о нем ходили на Лубянке вплоть до хрущевской «оттепели», но мне кажется, что тут он все-таки преувеличил. По крайней мере, документально этот факт, как и многое другое в его по-своему эпохальном произведении, подтвердить невозможно.

Сама Розалия Францевна запомнила отца нервным, издерганным, вечно куда-то мчащимся — то есть полной противоположностью ее маме, которая умудрялась сохранять спокойствие и невозмутимость во всех обстоятельствах, а судьба ей на долю выпала, мягко говоря, нелегкая. После расстрела мужа она вместе с десятилетней дочерью была выслана из Москвы, вплоть до самой войны жила на Крайнем Севере, а в июне 1941 года сразу же ушла на

фронт медсестрой, отправив дочь к родственникам в Таганрог. О том, что мать убило осколком немецкой бомбы под Ленинградом, Розалия Францевна узнала уже только после Победы. Она росла очень беспокойной, болезненной девочкой, и воспитывавшая ее тетя Анна Георгиевна старалась по возможности лишней раз ее не травмировать.

В 1947 году мужа Анны Георгиевны пригласили на какой-то ответственный пост в МИДе, благодаря чему Розалии Францевне удалось поступить на филфак Московского университета, закончить его и выйти замуж за сослуживца своего дяди. Муж был вдовцом, старше ее на добрых двадцать лет, но зато получил назначение в одну из западноевропейских стран, куда они сразу же после свадьбы и отбыли. Детей у них долго не было — Марина появилась на свет только в 1959 году, буквально за пару лет до того, как ее отец скончался от обширного инфаркта прямо за рабочим столом. Некролог о его кончине был напечатан во всех центральных газетах, но Розалии Францевне все равно пришлось возвращаться на Родину, где ничего хорошего ее, естественно, не ожидало.

Не привыкшая работать, растерявшая все свои связи, похоронившая практически всех своих родственников, оказавшаяся в чужом и незнакомом городе с маленьким ребенком на руках, Розалия Францевна с большим трудом устроилась преподавать английский язык в какую-то школу на самой окраине, но никак нельзя сказать, что она еле-еле сводила концы с концами. Марина иногда проговаривалась, что в детстве они питались сплошными деликатесами типа черной икры и крабьих салатов, а одевались у частных портных. И хотя слабое от рождения здоровье Розалии Францевны с годами не становилось лучше, необходимые на лечение деньги находились всегда — причем буквально в любых и ничем не ограниченных количествах.

...— Миленький! — зовет меня Татьяна из своей комнаты. — Ты собрался уже?

Я не без труда отрываюсь от экрана компьютера с таблицей из биржевых символов тех компаний, гороскопы которых Эдуард составил по заказу Володи. Таблицу я сделал очень красивую, расписав, сколько акций каждой компании и за какую цену Володя приобрел, что было им куплено за наличные, что — на кредитную маржу, а какие позиции он еще подкрепил опционами. В одних случаях ставка была на то, что курс данной акции пойдет вверх, в других — игра велась на понижение. Володя молодец — все очень здорово продумал. Стив говорит, что такого сбалансированного «портфеля» нет ни у одного из его клиентов.

— Из двадцати позиций четырнадцать в плюсе, — говорю я, входя в Татьянину комнату. — Причем по шести из них этот плюс уже с четырьмя нулями.

— Ты о чем? — спрашивает Татьяна.

— О пророчествах Эдуардовых и о том, сколько Володя уже на них заработал, — говорю я, но развить свою мысль не успеваю, потому что снизу раздается звонок — это за нами приехал Алик. Мы еще накануне договорились вместе навестить Розалию Францевну в больнице, куда ее, несмотря на все протесты, все-таки уложила Марина.

Когда мы спускаемся вниз, Алик стоит возле своей машины, на бампере которой красуется новенькая наклейка «Proud To Be An Idiot».

— Сам нарисовал? — спрашиваю я.

— Конечно, — говорит Алик. — А что, плохо получилось?

— Да нет, нормально, — говорю я.

Мы залезаем в машину, и Алик медленно трогается с места. Татьяна, сидящая рядом со мной на заднем сиденье, незаметно толкает меня и глазами показывает на правую руку Алика. Я перевожу взгляд и вижу, что на безы-

мянном пальце, там, где раньше он носил обручальное кольцо, у него появился большой перстень с камнем ярко-голубого цвета. Я вопросительно смотрю на Татьяну, но она только многозначительно пожимает плечами.

В больнице около палаты Розалии Францевны уже много народа. Во-первых, конечно, все Зарецкие — Марина, Антон и Даша. Потом Володя, который, как выясняется, сидит тут с самого утра, хотя он с Зарецкими, можно считать, почти что и не знаком. Марина начинает рассказывать, что без Володи вообще непонятно, что бы она делала. Он уже организовал им круглосуточную сиделку из благотворительной организации помощи раковым больным. Как впоследствии выяснилось, пожертвовал им довольно приличную сумму, чтобы не тянули с оформлением бумаг и провернули все это побыстрее.

Рядом с Антоном стоит Олег Герц со своей женой Светланой. Они как врачи, оказывается, имеют с этой больницей договор — пациентов своих сюда направляют. Рядом с ними еще один незнакомый мне врач в халате неприятного зеленоватого цвета. Лицо его тоже не внушает мне никакого доверия. Гладко выбритое, холеное, равнодушное лицо человека, у которого никогда в жизни ничего не болело и который вообще не знает, что такое со- и просто страдание. Вообще вся обстановка чудовищна — бездушная, холодная, скорее напоминающая морг, чем больницу.

Мы заходим в палату. У Татьяны в руках большой букет красивых цветов, но они Розалии Францевне, похоже, совершенно, не нужны. Завидев нас, она садится на постели и говорит:

— Die Aeffin ist krank, schwer krank.

— У нее бред, — говорит Володя.

— Alter Kram, — опять говорит Розалия Францевна. — Abgelegte Kleider. Die Aeffin ist schwer krank.

— Леш, это по-немецки, кажется, — говорит Татьяна. — Переведи.

Но перевести я не успеваю, потому что наше внимание переключается на стоящего рядом с Олегом неизвестного мне доктора, на халате которого висит бирочка с именем Пол Вулфовиц и который в этот момент как раз говорит:

— Я и сам не понимаю, почему мы не диагностировали опухоль раньше. Но вообще рак легкого бывает центральный и периферический. Центральный — это тот, который располагается в бронхах. Он сопровождается кровохарканьем, кашлем, болями в грудной клетке, повышенной температурой. Периферический же рак располагается глубже, и с помощью фибробронхоскопии такую опухоль увидеть нельзя. К тому же она может довольно долгое время никак не проявлять себя, а симптомы появляются только после того, как она прорастает в плевральную полость или дает метастазы. Похоже, что в данном случае мы имеем дело с опухолью именно такого типа.

Мне становится тошно, и я начинаю сильно жалеть, что вообще приехал сюда.

— Ваши оправдания сейчас не имеют значения, — говорит не теряющий присутствия духа Володя. — Что можно сделать — вот вопрос.

— Мы уже сделали бронхоскопию, — говорит Вулфовиц, — взятые кусочки ткани отправлены на биопсию и гистологическое исследование. Также мы провели смывы с поверхности бронхов для последующего цитологического анализа. Также проведена компьютерная томография. Ультразвуковое обследование печени и органов брюшной полости показало, что метастазов пока что нет.

— Слова, слова, слова, — говорит Алик.

— Простите, а вы кем приходитесь пациентке? — спрашивает доктор Вулфовиц.

— Не уходите от ответа, пожалуйста, — просит Марина. — Это все наши друзья.

— Я не могу сказать ничего определенного до тех пор, пока не получу результатов гистологического исследования, — говорит Вулфовиц, грозно оглядывая Марину поверх своих устрашающих очков в металлической оправе. — Если у вашей мамы так называемый мелкоклоточный рак, то не исключено, что можно будет обойтись химиотерапией. В противном случае лобэктомия практически неизбежна.

— Это еще что такое? — спрашивает Володя.

— Это удаление пораженной опухолью части легкого. Если же уже поражены лимфатические узлы, то может понадобиться и полная резекция в сочетании с лучевой или химиотерапией. Все это выяснится в ближайшие дни и в значительной степени будет зависеть еще и от того, что именно покрывает ваша страховка.

— Я не позволю вам меня резать, — вдруг раздается голос Розалии Францевны.

Мы все оборачиваемся в ее сторону и видим, что она стоит на пороге своей палаты, прислонившись к дверному косяку. Маленькая, сгорбленная, даже еще более высохшая, чем несколько дней тому назад, когда я видел ее в последний раз. Она опирается на высокий штатив, к которому прикреплены несколько капельниц. Если бы не это, то она, одетая в какое-то подобие балахона, была бы окончательно похожа на привидение.

— Делайте что хотите, но резать себя я вам не дам, — опять говорит Розалия Францевна, и в этот момент силы, наверное, оставляют ее, так как, закрыв глаза, она начинает медленно сползать вниз по стене.

Даша с криком «Бабушка!» бросается к ней. Марина подхватывает ее с другой стороны. Со всех сторон набегают неизвестно откуда взявшиеся медсестры, еще какие-то люди, и Розалию Францевну уносят в палату.

Обратно домой нас опять отвозит Алик, и Татьяна громко, как бы специально для того, чтобы он не пропустил, говорит:

— Обратите внимание, что Эдуарда там не было.

— Ну и что? — говорит Алик. — Милы тоже не было, хотя она и собиралась, но с Сашкой осталась уроки делать. И вообще, правильный диагноз ведь именно он поставил, а эти убийцы в зеленых халатах только потом на рентгене опухоль увидели.

Последующие несколько дней проходят очень напряженно. Даже я настолько включаюсь в судьбу несчастной Розалии Францевны, что не могу за целый день перевести ни одной страницы. Телефон звонит практически непрерывно, а так как Татьяна с утра на работе, то разговаривать со всеми приходится именно мне. Особенно часто звонит Володя. Поскольку предоставленная благотворительным обществом сиделка ему не понравилась, он сразу же заявил, что оставлять ее одну с Розалией Францевной ни в коем случае нельзя, и взял на себя добровольные дежурства. От меня же теперь требуется следить за тем, как себя ведут его акции — вот он и звонит мне буквально каждые полчаса для получения полного отчета.

— «Вертекс» поднялся еще на два доллара, — говорю я. — «UComm» пробил тридцатку — это его исторический потолок, и теперь специалисты говорят, что пределов его росту нет. «Биодемия» тоже прет наверх, как из пушки. Слушай, как ты думаешь, каким образом он это все угадал?

— Он не угадал, — говорит Володя, — он увидел. Но это не важно. Знаешь, я уже точно решил, десять процентов от всего, что я на этом заработаю, я на собор отдам. Тот, куда вы с Татьяной ходите. Там ведь ремонт сейчас, так что им деньги, наверное, очень нужны.

— Еще как нужны, — говорю я. — Это очень благородно с твоей стороны. А Розалия Францевна как?

— Плохо, — говорит Володя. — Температура высокая. Бредит опять. А если приходит в себя, то говорит только о том, чтобы не давали ее резать.

— Но ведь она умрет так, — говорю я.

— Эдуард говорит, что не умрет, — говорит Володя. — Он почти каждый день приходит, всего стольник за визит берет — вместо обычных двух. Говорит, что сигхартия должна помочь, а операция не нужна. Опухоль-то мелкокле-точная оказалась. Вулфовиц все равно резать хочет. Уверяет, что одной химиотерапией, которую они уже начали, не обойтись. Ну, да мы ведь знаем, сколько им страховка за каждую операцию платит — вот они и шебуршатся. Кушать-то, поди, всем хочется.

— Это уж точно, — говорю я.

— Ну ладно, я пойду, — говорит Володя. — Кажется, она проснется сейчас. Может, понадобится что-нибудь. Ты уж там не отвлекайся от стоков моих. Ты же знаешь, если получится, я вас всех миллионерами сделаю.

Я ни на секунду не сомневаюсь, что именно так все и будет, и когда Володя, как всегда не прощаясь, вешает трубку, опять утыкаюсь в компьютерный экран.

Вечером к нам приходит Даша.

— Вы не понимаете, — говорит она нам с Татьяной. — Родителей бабушка вообще не интересуется. Им только деньги ее нужны. Так всегда было. Я вообще не понимаю, зачем они меня рожали. Их ведь ничего, кроме денег, не колышет. Они только вид делают, что переживают, потому что им перед людьми неудобно, а на самом деле только и ждут, чтобы она загнулась поскорее.

— Дарья, не говори глупостей, — говорит Татьяна, которая всех своих учениц называет полными именами, даже самых маленьких. — Дети вообще не в состоянии понять своих родителей. Тем более их судить.

— Бабушке все хуже и хуже с каждым днем, — уже чуть не плача, говорит Даша. — Я же вижу, что она умирает.

А кроме нее, у меня никого нет. Родители меня с детства еле-еле терпели. Все время только с бабушкой была или по пионерлагерям.

— А что, большие деньги у нее? — спрашиваю я.

— Огромные, — говорит Даша. — Она им всегда давала столько, сколько они просили. Но им все равно мало. Всегда мало.

— Откуда у нее могут быть огромные деньги? — говорю я.

— Не знаю я, — взрывается Даша. — Да и какая разница-то? Что вы, дядя Леша, все о деньгах да о деньгах?

Я ненавижу, когда меня называют дядей, но я понимаю, что в данном случае Даша права. Источник богатства Розалии Францевны сейчас действительно не имеет никакого значения.

— Пойдем, Дарья, — говорит Татьяна. — Пойдем в мою комнату. Помолишься за бабушку.

Они уходят, а я, оставив все тарелки и чашки на столе, иду опять к компьютеру — Володя просил посмотреть, как идут торги вечером. Я раньше не знал, что, если есть желающие, акции продолжают продавать и покупать после закрытия биржи тоже, и это служит довольно надежным показателем того, как они откроются на следующий день.

На следующий день первой звонит мне Володина жена Лариса.

— Леш, — говорит она, — у меня к тебе просьба.

— Давай, — говорю я.

— Скажи Вовке, чтобы он мне шубу эту не покупал.

— Какую шубу? — спрашиваю я.

— Ну, он всем нам тут подарков накупил, — говорит она. — Девчонкам нарядов всяких, украшений. Маме моей серьги бриллиантовые заказал. Своим родителям машину. А мне шубу. Дизайнерскую какую-то. Даже страшно сказать за сколько.

— А ты и не говори, — говорю я. — Деньги для вас теперь не проблема.

— Да мне не нужно ничего, — говорит она. — Приятно, конечно, что он такой внимательный. А шуба сама не нужна. Когда же в Нью-Йорке носить-то? Здесь же зимы нормальной все равно нет.

— Ну так ты сама ему и скажи, — говорю я.

— Я говорила, — говорит она. — Но меня он никогда не слушался. А тебя послушается. Ты же знаешь, как он тебя уважает.

— Ладно, я попробую, — говорю я и возвращаюсь к компьютерному экрану.

Володя звонит примерно через полчаса.

— Плохи дела, — говорит он. — Умирает Розалия Францевна. Давай бросай все и приезжай сюда. Остальным всем я сам позвоню.

Ехать в больницу у меня нет ни малейшего желания, но и отказываться как-то неловко. Откажешься, а они еще возьмут и подумают, что мне на всех наплевать, кроме самого себя.

Нет, что ни говорите, но определенные преимущества в отсутствии собственного автомобиля все-таки есть, потому что приезжаю я в больницу последним. Володя действительно, похоже, обзвонил всех, потому что я вижу здесь даже Эдуарда с Аленой, не говоря уж об остальных наших, кроме только Малининых. Розалия Францевна лежит на кровати какая-то желтая, с закрытыми глазами и, кажется, не дышит. Впрочем, я думаю, что если бы она уже умерла, то обстановка тут была бы другой. А так медсестры суетятся, капельницы какие-то новые подвешивают, бегают туда-сюда, носят что-то. К Володе здесь, кажется, привыкли и позволяют ему даже отдавать приказания. Когда мы выходим в коридор, в противоположном его конце появляется доктор Вулфовиц, и Володя бросается к нему, успевая все же сунуть мне в руку свой мобильник.

— Позвони Малининым, — говорит он на ходу. — А я сейчас.

У Вадима с Надей дома автоответчик. В «Эдеме» говорят, что они уехали. Пока я ищу номера их сотовых, звонит Володин телефон.

— Алло, — говорю я.

— Володя? — раздается в трубке голос Стива.

— Нет, это Леша.

— Володю позови, — говорит он.

— Он не может сейчас подойти, — говорю я, глядя на то, как Володя, бурно жестикулируя, на своем ломаном английском кричит Вулфовицу: «Ну сделайте же что-нибудь! Неужели вы не понимаете, что она сейчас умрет?»

— Слушай, — говорит Стив, — ты скажи ему. Тут хренотень такая началась. На рынке. «UCom» обвинили в том, что они скрыли убытков на четыре миллиарда. Так что правительственного контракта им теперь не видать. А вслед за ними и остальное все посыпалось. Как домино грёбаное. Говорят, инвесторы доверие потеряли. Ко всем акциям вообще. Все вспомнили. И прошлые скандалы, и угрозы терактов. В общем, тут полный звездац — по всему фронту. А у него маржа огромная. Так что мы вынуждены его позиции закрывать. Но все равно бабок не хватает. Надо доложить еще.

— Слушай, — говорю я. — Подожди секундочку. Я его сейчас позову.

Я иду к Володе и дергаю его за рукав, но он отмахивается от меня, как от назойливой мухи. Учитывая, что он выше меня головы на две, если он замахнет сильнее, то, наверное, вообще может убить.

— Поговори со Стивом, — говорю я. — Там рынок рухнул.

— Как рухнул, так и снова поднимется, — отмахивается от меня Володя и опять начинает что-то кричать Вулфовицу.

— Ты не понимаешь, — говорю я. — Они закрывают твои позиции. Насильно. Они маржу свою спасают.

— Скажи Стиву, что я на них в суд подам! — кричит мне Володя и тацит Вулфовица прочь. Идти за ними я уже не решаюсь.

— Стив, ты здесь? — говорю я в телефонную трубку. — Он сказал, что он на вас в суд подаст. Не смейте продавать ничего.

— Уже, — говорит Стив.

— Что уже? — спрашиваю я.

— Уже продали, — говорит он. — Все. Хорошо, что успели. Он нам почти и не должен ничего. Теперь все еще ниже упало. Так что передай Вовке, что ему повезло. По-крупному. Мы его просто спасли. Так и скажи ему.

— Не понял, — говорю я. — Он что, вам еще должен остался?

— Да, ерунду какую-то. Тысяч шесть-семь, — говорит Стив. — Если бы мы его не закрыли, то по нынешнему курсу там уже под стольник накапало бы. Так и скажи ему.

— Подожди, — говорю я. — Но у него ведь денег там немерено было. Он же дом перезаложил. Кредитная линия одна — пятьдесят штук. И занял у всех. Даже у бандитов каких-то, по-моему. Как же он вам еще должен остался? Где акции-то все?

— Ты что, не понимаешь по-русски? — говорит Стив. — У него маржа была семьдесят процентов. Мы же не могли рисковать. Все закрыли. Хорошо хоть вовремя еще. Ладно, пусть он мне позвонит, как освободится.

— Знаешь что, — говорю я, — сам с ним поговори. Сам все скажи ему. Я не буду.

Я подхожу к Володе, который уже чуть ли не хватает Вулфовица за грудки, и насильно вкладываю ему в руку мобильник.

— Поговори с ним, — говорю я. — Это важно. Правда. Очень.

Их разговор мне слушать совершенно не хочется, и я медленно бреду обратно к палате Розалии Францевны. Там опять царит какое-то непонятное оживление. «Умерла, наверное, — думаю я. — Ну что ж, Царствие ей Небесное».

Но когда я подхожу к палате, то вижу, что Розалия Францевна не только не умерла, но, наоборот, открыла глаза и пытается приподняться на локтях. Руки у нее такие худые, как у прошедших через газовые камеры Бухенвальда.

— Вы дадите мне поесть что-нибудь? — говорит Розалия Францевна. — Сколько можно просить? Столько народу вокруг толпится, а поесть не допросишься. Где Володя? Он один среди вас всех человек настоящий.

— Там Володя, с доктором Вулфовицем разгова... — говорю я и оборачиваюсь, чтобы показать Розалии Францевне, где ее любимец.

То, что я вижу в противоположном конце коридора, заставляет меня замолчать на полуслове. Володя лежит на полу, растянувшись во весь свой огромный рост от одной стены до другой, а доктор Вулфовиц, склонившись над ним, давит ему на грудь руками и при этом что-то страшно кричит. Медсестры бегут к ним и тоже орут. Потом я слышу крик Ларисы, а потом Розалия Францевна говорит:

— Да не кричите вы так. Мне правда гораздо лучше. Честное слово.

Володю спасти не удалось. Он умер в одно мгновение — от разрыва сердца, хотя, казалось бы, все это в больнице было. Вокруг врачи всякие и оборудование самое лучшее. Но как сказал доктор Вулфовиц: «Смерть мы не лечим. Не научились еще». Умом я понимаю, что он прав, хотя в глубине души все равно уверен, что все врачи шарлатаны.

Тем более что Розалия Францевна в конце концов действительно поправилась. Безо всякой операции. То ли

сингхартя ей помогла, то ли химиотерапия. Теперь уже кто их разберет.

Когда я рассказываю эту историю моему соседу Михаилу Петровичу, с которым мы поздно вечером выходим погулять на бордвок, он задумчиво смотрит на черное, беззвездное небо и молчит.

ГЛОТОК СВОБОДЫ

Здравствуйте! Меня зовут Мурзик. Я появился на свет примерно полтора года тому назад и первые несколько месяцев моей жизни провел в зоомагазине на Шипсхэд-Бей. Там мне жилось относительно неплохо, потому что вокруг было много других маленьких котят, меня сытно кормили и не обижали.

Примерно раз в неделю к нам заходила симпатичная женщина невысокого роста со светлыми льняными волосами. Она ничего не покупала, а просто ходила по магазину, останавливаясь то около аквариумов с рыбками, то возле птичьего вольера, где она пыталась общаться с глупыми пернатыми на их чудовищном по своей громкости языке, то у наших клеток. Она подолгу рассматривала нас, и однажды, когда она наклонилась, чтобы через прутья погладить меня, я лизнул ей руку. Я неоднократно видел, как это делают собаки, и уже знал, что людям такие вещи почему-то очень нравятся. Мне казалось, что этой женщине очень грустно и одиноко, и я решил утешить ее.

Женщина действительно повеселела, почесала мне шейку, а потом поднялась, подошла к продавщице и о чем-то некоторое время с ней разговаривала. Потом она поспешно вышла из магазина, даже не попрощавшись со мной, что я счел проявлением некоторой невоспитанно-

сти. Впрочем, меня это нисколько не расстроило. Надо сказать, что у меня от рождения очень философский склад ума, причем из-за моей черно-белой расцветки я склонен к некоторому дуализму в духе китайской диады инь и ян. Мир я воспринимаю как арену борьбы двух начал — темного и светлого, хотя сам я по характеру скорее созерцатель. Люблю наблюдать за окружающими и делать свои выводы, делиться которыми с кем бы то ни было вовсе не считаю нужным. Так что я сразу же забыл о небольшом инциденте со светловолосой женщиной и преспокойно уснул. Сон — вообще мое самое любимое занятие на свете. Естественно, не считая философии.

Проснулся я от того, что дверцу клетки открыли, и продавщица начала за передние лапы вытягивать меня наружу. Не могу сказать, чтобы это привело меня в восторг, но я уже тогда знал, что самое выгодное — это создавать у людей такое ощущение, как будто они гораздо сильнее, чем мы, и могут делать с нами все, что захотят. Вреда от этого никакого, а польза может быть огромная. Например, от сознания собственного всемогущества человек способен даже расщедриться на кусочек чего-нибудь вкусного.

Когда меня вытащили из клетки, я увидел, что женщина с льняными волосами стоит посреди магазина и смотрит на меня с нескрываемым восторгом. Это было приятно, но я решил, что благоразумнее сделать вид, как будто мне все совершенно безразлично. Женщина непонятно за что поблагодарила продавщицу, посадила меня в какую-то картонную коробку и вынесла на улицу. Там светило яркое солнце и пахло мириадами незнакомых мне вещей, растений и существ. Это волновало воображение, но я сдержался, потому что для настоящего философа эмпирический мир не так уж и важен. Настоящий мыслитель, каковым я являюсь, должен быть в состоянии познавать все исключительно силой своего интеллекта. Опыт как

таковой ему не нужен, потому что философ должен уметь заранее прогнозировать последствия любых событий на основе логических выкладок. Учиться на собственных ошибках — это удел тех, кто не способен к абстрактному мышлению. Не спорю, мне интересно было побегать по улице и посмотреть как там и что, но разве это могло бы изменить мое общее представление о мироздании? Конечно, нет. Вот поэтому я и сидел смирно в коробке до тех пор, пока мы не пришли в какое-то помещение.

Там, прямо в коридоре, нас встретил неопрятно одетый мужчина, среднего роста, с всклокоченной рыжей бородой, блестящей лысиной и длинной косичкой из редких волос, за которую мне его сразу захотелось дернуть. По его большому животу я догадался, что кормят в этом месте неплохо, а все остальное мне в общем-то безразлично. Кроме философии, конечно. Мужчина посмотрел на меня с испугом, а потом его бесформенное лицо расплылось в улыбке. Это меня несколько не удивило. Я знаю, что люди часто так улыбаются, когда смотрят на меня, потому что я очень хорошенький и вызываю у них чувство умиления. Как и всякого настоящего философа, меня мало волнует, какое впечатление я произвожу на окружающих, поэтому в ответ на улыбку мужчины я только зевнул, а принеся меня из магазина женщина сказала:

— Ну как тебе, Леш? Нравится?

— Да, — ответил тот, кого, как я вычислил дедуктивным картезианским методом, звали Леша. Голос у него оказался столь же мало приятный, как и он сам, — высокий, писклявый и противный. — Надо его в ванную запереть. А то как бы он не нагадил здесь где-нибудь.

В тот момент я еще не знал, что такое ванная, но все равно понял, что ничего хорошего мне эта перспектива не сулит, и попытался выбраться из коробки. Сделать мне этого не удалось, но я не расстроился, потому что, с точки зрения убежденного созерцателя, сидеть в ванной или

в коробке — абсолютно безразлично. Истинному мудрецу мир раскрывает свои тайны всегда и повсюду.

Оказавшись в ванной, я все-таки обследовал ее всю и обнаружил, что в ней немало интересного. Самым увлекательным местом в ней оказался довольно внушительных размеров трон, на который можно было запрыгивать. Пользуясь тем, что я был там один и никто, следовательно, не мог заподозрить меня в инфантильности, я несколько раз забрался на этот трон и спрыгнул обратно на пол, а заслышав шаги за дверью, невозмутимо улегся на нем и стал ждать, что будет дальше.

Дверь приоткрылась, и я увидел Лешу, который сказал:

— Тань, посмотри, где он лежит. Он что, туалетом пользоваться умеет?

Так я узнал, что белокурую женщину зовут Таня.

Тут же появилась и она сама, держа в руках какую-то плошку, в которой была налита неизвестная мне белая жидкость.

— Котик, хочешь молочка? — сказала она и сунула плошку прямо мне в лицо.

От еды я никогда не отказываюсь — из принципа, и когда я начал лизать молочко, Леша протянул руку и погладил мою спину. Не могу сказать, чтобы это доставило мне какое-то особое удовольствие, но приличия ради я все-таки разок муркнул, что было воспринято как поощрение к продолжению поглаживаний.

— А как мы его назовем? — сказала Таня.

— Смотри, как он муркает, — сказал Леша. — Мурзиком и назовем.

Это легкомысленное имя показалось мне совершенно не соответствующим моему высокому уровню развития и философским наклонностям. Поэтому я тут же спрыгнул с трона и выскочил через приоткрытую дверь в коридор.

Вы даже представить себе не можете, какое впечатление этот совершенно безобидный поступок произвел на

Лешу и Таню. Они закричали почти так же громко и противно, как жившие по соседству со мной в зоомагазине птицы, и бросились меня ловить. Как вы сами понимаете, их шансы поймать меня, быстрого, ловкого и наделенного от природы идеальной реакцией, были равны нулю. Поэтому в какой-то момент я просто сжалился над ними и перестал носиться по их квартире. Увидев на подоконнике большой красивый цветок, я прыгнул туда и сделал вид, что исследую это доселе неизвестное мне растение.

Леша подбежал ко мне и уже было намеревался схватить, но Таня его остановила.

— Подожди, — сказала она. — Посмотри, это же настоящая картина. Сейчас я его сфотографирую. Подожди.

Она вынула из ящика стола какую-то штучку и, направив ее на меня, щелкнула ею несколько раз. Несколько позже я узнал, что это был фотоаппарат, потому что получившиеся снимки Таня с Лешей мне потом неоднократно показывали, и мы все сошлись во мнении, что я ужасно фотогеничный.

С тех пор мы живем вполне счастливо. Леша и Таня досаждают мне минимально, по пустякам не дергают, кормят сытно и вкусно, играют со мной, можно даже сказать, что балуют. Постепенно я, как и полагается, занял в доме главенствующее положение, и без меня здесь теперь не делается ни одно важное дело. Когда Таня рисует, я усаживаюсь рядом с мольбертом и наблюдаю за тем, чтобы она не перепутала краски. В те редкие минуты, когда Леша наконец заставляет себя приняться за работу, я укладываюсь на столе возле компьютера, кладу одну лапу на «мышку», вторую — на клавиатуру и слежу, чтобы он не наделал в своих переводах каких-нибудь грубых ошибок. По вечерам мы вместе с ним читаем газеты, чтобы быть в курсе всех последних новостей. Леша любит читать лежа, положив газету перед собой на диван, а я обычно пристраиваюсь рядом с ним. Если же какая-то статья кажется мне

особенно интересной, я ложусь прямо на газетный лист и, пока не прочту его весь, ни за что не слезу. В ванной меня больше не запирают, да и вообще позволяют делать все, что угодно, за исключением одной только вещи: вылезать через окно на пожарную лестницу мне категорически запрещено. Впрочем, мне и дома хорошо, и этот запрет меня нисколько не стесняет. Вернее, не стеснял до того дня, когда я познакомился с Бобби.

Бобби — это большой красивый кот, который однажды залез по пожарной лестнице прямо к нашему окну и, увидев меня, мирно лежащего после обильного ужина на подоконнике, решил познакомиться. Отчасти он похож на меня — такой же черно-белый, только не пушистый, а с гладкой шерсткой. Мы, как и полагается, сначала обнюхиваем друг друга через натянутую на окне тонкую металлическую сетку, а потом Бобби говорит:

— Какая прекрасная ночь! Не хочешь пойти прогуляться?

— Нет, — отвечаю я. — Мне не разрешают выходить на улицу.

— Почему? — спрашивает Бобби.

— Меня здесь очень любят, — говорю я, — и боятся, что я заблужусь и не найду дорогу обратно. Не хотят, чтобы я потерялся.

— Но неужели тебе не надоело сидеть взаперти? — говорит Бобби.

— Философу все равно, откуда созерцать мир, — говорю я.

— Это серьезнейшее заблуждение, — говорит Бобби. — Без свободы познать мир невозможно. Ты даже не представляешь, сколько на улице всего интересного. Одни только кошечки молодые чего стоят.

— Я не живу по принципу *coito ergo sum*, — с достоинством отвечаю я.

— А пища какая разнообразная, — не оценив моего каламбура, выдающего как знакомство с творчеством Декарта, так и знание древних языков, говорит Бобби. — Одной колбасы двадцать восемь сортов. Не то что эта искусственная гадость из банки, которой тебя наверняка кормят.

— Меня не только из банки кормят, — говорю я. — Стоит лишь муркнуть пару раз или потереться об ноги, как мне сразу же дают все, что я захочу.

— Но это же унизительно, — говорит Бобби. — Клянчить еду недостойно философа.

— Я не клянчу, я просто сообщаю им, что я проголодался, — отвечаю я, но все же эти слова заставляют меня призадуматься.

— Они же тебя закабалили, — говорит Бобби. — Они лишают тебя информации о мире, ограничивают твою свободу. Но посмотри, какая тонкая на этом окне сетка. Мы вдвоем раздерем ее когтями за пару минут. Давай! Ты же никогда нигде не был. Ведь если ты не видел магазинов и ресторанов на Брайтоне с их роскошными мусорными бачками, в которых столько деликатесов, то считай, что ты вообще в своей жизни не видел ничего.

Есть мне в этот момент совершенно не хочется, поэтому на слова Бобби я ничего не отвечаю.

— И потом, — продолжает он, — они же тебя дискриминируют.

— Ничего подобного, — говорю я. — Они меня очень любят.

— Но они же не позволяют тебе участвовать в принятии решений, касающихся жизни всей семьи. Разве они хотя бы раз спросили твое мнение хоть по одному вопросу?

Про себя я вынужден признать, что Бобби прав, и опять отмалчиваюсь.

— Они скрывают от тебя правду о мире, — продолжает он. — Они оболванивают тебя своей пропагандой, промывают тебе мозги. Ты живешь, как раб в темнице.

— Какой же я раб? — говорю я. — Они не заставляют меня работать. Просто так и кормят, и гладят, и лечат, если что заболит.

— Это только до тех пор, пока ты им подчиняешься, — говорит Бобби. — Стоит тебе проявить самостоятельность, и против тебя будут применены страшные репрессии. Люди замучили сто миллиардов котов, кошек и даже маленьких котят только за то, что они стремились к свободе.

— Откуда ты это взял? — спрашиваю я. — Откуда такая точная цифра?

— Это всему свободному миру известно, — говорит Бобби. — Но твои хозяева от тебя все скрывают. Потому что так им легче заставлять тебя подчиняться. Они держат тебя в неволе, на голодном пайке, в то время как свободные коты живут среди полного изобилия. Ты даже не представляешь себе, сколько на свете есть всего вкусного и разнообразного. Выбравшись из этой тюрьмы, ты сможешь увидеть другие страны, попробовать множество новых блюд, насладиться свободной любовью. Ты ведь, поди, даже не знаешь, что это такое?

О свободной любви я действительно имею довольно смутное представление, и мое молчание Бобби истолковывает как несомненный признак того, что я уже готов за ним последовать.

— Давай, — говорит он. — Смотри, какая тонкая сетка. Я помогу тебе. Это мой долг как твоего брата, который тоже когда-то страдал в неволе, но выбрал свободу. Давай!

С этими словами он начинает драть когтями сетку, которая отделяет меня от пожарной лестницы, и вскоре на этой сетке появляются небольшие дырочки.

— Мир — это арена борьбы добра и зла, — говорит Бобби. — Инь и ян. Мы должны бороться! Решайся! Я помогу тебе. Давай!

Я, впечатленный его познаниями в китайской философии, тоже начинаю драть сетку зубами и когтями, и совме-

стными усилиями мы проделываем в ней дыру, достаточно большую для того, чтобы я мог в нее протиснуться. В последнюю минуту я все-таки останавливаюсь.

— А вдруг они расстроятся из-за того, что я ушел? — спрашиваю я у Бобби. — Вдруг они будут переживать и волноваться?

— Они — твои палачи, — говорит он. — Конечно, они будут недовольны тем, что ты сбегал из их тюрьмы, но тебя это не должно беспокоить. Ты ведь теперь будешь свободный кот на свободной улице. Что тебе до крокодиловых слез твоих мучителей?

Эти слова придают мне решимости, и, обдирая бока о рваную сетку, я лезу на пожарную лестницу.

На улице все действительно довольно интересно. Бобби выводит меня на Брайтон-Бич-авеню, где я никогда раньше не бывал. Несмотря на глубокую ночь, повсюду горят фонари и светятся вывески магазинов и ресторанов. Возле каждого из них свалены отбросы, издающие волнительные ароматы съестного. Гора мусора около ресторана «Эдем» пахнет особенно аппетитно, а вокруг нее сидит несколько кошек. Знакомя меня с ними, Бобби говорит:

— Дамы и господа, разрешите представить вам Мурзика. Всю свою жизнь он был узником Фелиона, но сегодня вырвался наконец из-за железной сетки.

Кошачья компания начинает одобрительно шуметь. Со всех сторон сыпятся поздравления.

— За нашу и вашу свободу! — мяукает один старый кот, лапой подталкивая ко мне почти полностью обглоданный скелет какой-то рыбешки.

— Сегодня у тебя праздник, — говорит Бобби, — и поэтому мы тебя угощаем. Смотри, каждый из нас готов поделиться с тобой самым лакомым кусочком. А ведь искать их в помой-

ке — дело непростое. Это — целое искусство, и начиная с завтрашнего дня тебе придется этим заниматься самому.

— Но я не умею, — говорю я. — Я ничего не понимаю в отбросах и не смогу прокормиться.

Кошки начинают дружно хихикать.

— Никто из нас поначалу ничего в них не понимал, — говорит одна из них. — Но этому здесь быстро учатся. Есть захочешь — научишься.

— Зато ты будешь чувствовать себя самостоятельным и не зависящим от произвола тиранов и палачей, — говорит Бобби. — А это ведь в жизни самое главное.

— Скажите, — обращается ко мне совсем еще молодая кошечка. — А что, правда, люди такие звери, как все говорят? Я убежала на волю вместе с мамой, когда я была котенком, и о жизни в неволе у меня сохранились только самые смутные воспоминания.

— Да в общем-то... — начинаю было отвечать я, намереваясь рассказать о том, что лично мне жилось не так уж и плохо, но Бобби не дает мне договорить.

— Мурзик ужасно страдал, — перебивает он меня. — Они истязали его. Мучили. Угнетали. Он на собственной шкуре убедился в том, что люди хуже зверей.

Кошки одобрительно мяукают.

— У меня в свое время было все, — говорит старый кот. — Материально я был полностью обеспечен. Но я не мог терпеть ежедневных унижений и дискриминации. Не захотел мириться с тем, что среди людей я никогда бы не добился равных прав и возможностей. Поэтому я выбрал свободу.

— Свобода свободой, но с культурой тут как-то не очень, — говорит один довольно молодой и интеллигентный на вид котик. — Прямо скажем, уличная тут культура какая-то, не европейская.

— Да, мы совсем к другому привыкли, — говорит старая кошка. — А там у меня тоже все было. Моего мужа так

уважали. Можно сказать, души в нем не чаяли. Даже закрывали глаза на то, что он таскал лучшие куски со стола. Прямо из тарелок. А к дочке моей сватался кот с мясного склада. Сами понимаете, какое высокое положение у него было и какие связи.

— Зачем же вы тогда убежали? — спрашиваю я.

— Ради детей, — отвечает старая кошка. — Я как представила себе, что они тоже будут жить в этой страшной тюрьме, в этой гнилой атмосфере тотальной лжи и репрессий, сразу решила, что готова на любые жертвы — лишь бы только у них была нормальная жизнь.

— А где сейчас ваши дети? — спрашиваю я.

— Кто где, — отвечает она и грустно вздыхает. — Честно говоря, я уже давно их не видела. Но на улице не принято сидеть с родителями. Тут ценится инициатива и самостоятельность. К тому же им приходится так много работать. Конкуренция здесь страшная. Каждый кусок отбросов достается адским трудом. Но я так благодарна этой благословенной улице, что, несмотря на мою врожденную чистоплотность и брезгливость, просто готова целовать ее мостовую. Все-таки с голоду здесь никто не умирает. Тут такое богатство, что хватает на всех. Даже на нас, стариков.

— Если есть голова на плечах, — встречается Бобби, обращаясь уже непосредственно ко мне, — то можно и лучше место найти. Толковых котов на хорошие работы берут. Там и ветеринары бесплатные, и жилье дешевое, и баночки из супермаркетов выдают. Ты вроде головастый — может, я тебя к нам пристрою.

— Куда это, к вам? — спрашиваю я. — Ты чем вообще занимаешься?

— Я — боец невидимого идеологического фронта, — немного понизив голос, торжественно отвечает Бобби. — Я обхожу наших еще томящихся в заточении братьев и се-

стер и помогаю им вырваться на улицу. Это очень важное и очень благородное дело. Поэтому за него так хорошо платят.

— И много ты за мое освобождение получишь? — спрашиваю я.

— Немало, — отвечает Бобби. — Ты молодой, здоровый. Такие сейчас очень нужны.

— Зачем? — интересуюсь я.

— Мы проводим контртеррористическую операцию, — говорит Бобби. — Нас тут терроризируют мыши, и мы объявили им войну не на живот, а на смерть. Они совершенно распустились в последнее время. Просто проходу нам не дают. Допустим, наших кошачьих ценностей они никогда не уважали и не разделяли. Нам это было прекрасно известно, но как убежденные плюралисты мы все терпели. А теперь они вздумали покушаться на самое святое — на наш образ жизни и на нашу свободу. Поэтому отныне им не будет пощады. Теперь или они нас, или — мы их.

— Да, заколебали они нас. Никакой жизни нет, — говорит интеллигентный котик. — Достали уже всех. Фанатики проклятые. Нечего с ними церемониться. Бомбу на них надо сбросить. Водородную.

— Вон как раз поймали одного такого. Террориста, — говорит старый кот, махнув головой в сторону дома напротив.

Я оборачиваюсь и вижу здоровенного черного котяру, который тащит за шкурку маленького, полуживого от ужаса мышонка.

— Куда это он его? — спрашиваю я.

— Сначала допросят, чтобы выдал сообщников и их планы по совершению новых терактов, — авторитетно объясняет Бобби. — А потом судить будут. У нас ведь здесь честный суд — не трибунал какой-нибудь, не «тройка». Присяжные, адвокаты — все из уважаемых котов. С хорошим образованием. Так что, если он террористической

деятельностью не занимался, его тут же отпустят. Мы невиновных за решеткой не держим. Но уж коли террорист — то изволь держать ответ по всей строгости закона.

Бобби, кажется, хочет еще что-то сказать, но не успевает, потому что в этот момент у нас за спиной раздается громкое, пронзительное мяуканье. Кошки начинают беспокоиться, а некоторые из них вообще бросаются врассыпную.

— Вам надо спрятаться где-нибудь, пересидеть какое-то время, — взволнованно говорит старый кот, обращаясь ко мне.

— Почему? — спрашиваю я. — Что происходит?

— Облава на нелегалов, — объясняет он. — У вас есть документы?

— Какие еще документы? — говорю я.

— Ты разве не взял с собой квитанцию из зоомагазина и сертификат о сделанных тебе прививках? — спрашивает Бобби.

Я грустно мотаю головой.

— Извини, — говорит Бобби. — Я так торопился освободить тебя из этой проклятой тюрьмы. Так хотел, чтобы ты как можно быстрее оказался на улице и вдохнул наконец воздух свободы. Но ты не бойся. Они тебе ничего не сделают. Подержат какое-то время в убежище для бездомных животных, а потом тебя обязательно кто-нибудь оттуда заберет. Ты симпатичный такой. Ты людям нравишься. Тебя непременно кто-нибудь возьмет. А я пока адвоката тебе подыщу. В случае чего, он докажет, что ты беженец, что тебя дискриминировали и преследовали за твои убеждения. Я хорошего адвоката знаю. Он совсем недорого берет. Так что пока они бумаги на депортацию оформлять будут, мы тебя уже освободим. У них тут бюрократия такая, что на это годы уходят.

Я решаю не дослушивать речь Бобби до конца, потому что прямо на нас надвигаются какие-то люди с сетями и клетками. И мне даже не приходится вспоминать о де-

дуктивным методе, чтобы понять, что ничего хорошего их вид мне не сулит. Прижав уши к голове, я пускаюсь наутек, чем, кажется, только привлекаю к себе внимание и порчу все дело. Два мужика бегут за мной, а из-за угла, наперерез мне, бросается еще один. Без него они бы меня ни за что не поймали. А так он накидывает на меня сетку и тут же затягивает ее, чтобы я не мог пошевелинуться.

— Смотрите, какого пушистого изловил, — говорит он своим подбежавшим товарищам. — Может, не в убежище его, а прямо сразу на воротник?

Все трое принимаются ощупывать мою шкурку, и наконец один из них говорит:

— Да, пожалуй, ты прав. Воротник классный получится. Давай его в машину.

Еще крепче стянув сетку, мужик тащит меня куда-то в темноту. Я понимаю, что вырываться бессмысленно. Понимаю и все-таки пытаюсь освободиться, отчаянно мяукая при этом на пределе моих голосовых связок. Честно говоря, раньше я никогда и не подозревал, что умею издавать такие душераздирающие звуки.

— Отпустите меня! Пожалуйста! — кричу я. — Ну какой я нелегал? Меня Мурзик зовут! Я на двенадцатом Брайтоне живу. Я же не сделал ничего плохого! Отпууустите!

Но мужик не обращает на мои мольбы ни малейшего внимания.

— Вы не имеете права. Я на вас жаловаться буду, — начинаю угрожать я. — У меня все документы в порядке. И квитанция из зоомагазина, и сертификат о прививках. Отпустите меня! Я больше так не буду!

Вдруг в глаза мне бьет яркий свет автомобильных фар.

— Открывай кузов, — говорит мужик кому-то. — Быстрее.

Я начинаю мяукать еще громче, тщетно надеясь разжалобить моих мучителей, хотя в общем-то мне ясно, что дело это безнадежное. Когда же в распахнувшемся передо

мной кузове я вижу еще несколько котов и кошек, у меня пропадает последняя надежда.

— Давай, засовывай его туда, — говорит мужик. — Да побыстрес. Там еще штук десять таких же бегает.

Я делаю последнюю попытку вырваться и затихаю. Смиряюсь с ожидающей меня участью и начинаю прощаться со всеми, кого я знал в моей не такой уж долгой жизни. От ужаса я даже мяукать больше не могу. Да и ни к чему это теперь. Все ведь кончено.

— Пойдите, — раздается вдруг знакомый мне противный высокий голос. — Куда это вы моего котенка тащите?

Леша, запыхавшись, подбегает к машине и тут же начинает вырывать меня из рук страшного мужика.

— Отдайте немедленно! — кричит он. — Это мой котенок! Он случайно потерялся.

— Доказательства есть? — спрашивает страшный мужик с нескрываемым раздражением и даже с какой-то злобой в голосе.

— Есть, — говорит Леша и вынимает из кармана мою фотографию. Ту самую, на которой я цветок нюхаю. Он ее все время с собой носит, что ли? — Вот доказательство. Отдавайте котенка.

Леша несет меня домой на руках и все приговаривает:

— Мурзик, Мурзик, что же ты такой глупый? Хорошо, что я успел. Представляешь, я просыпаюсь случайно, а тебя нет. Я думал, ты на своем любимом месте спишь — в чулане. Там, где ты на мой единственный выходной костюм линяешь. Посмотрел — нет тебя. На книжной полке — тоже. Зову — ты не откликаешься. Начал тебе корм твой сухой любимый насыпать — ты ведь всегда на этот звук отовсюду приходишь. Сыплю, сыплю, а тебя нет. Ну, тут я и понял, что неладно что-то. А как я тебя на улице нашел — и не спрашивай. Отцовское сердце — оно ведь знает какое...

Так он бормочет, пока мы не добираемся до нашей квартиры. Таня, оказывается, тоже не спит. Она выхватывает меня из Лешиных рук, прижимает к себе и даже, кажется, целует, хотя никогда раньше не позволяла себе таких вольностей.

— Ты зачем же убежал, глупенький? — говорит она. — Мы тебя что, обидели чем-нибудь? Тебе что, плохо у нас?

Поскольку к этому моменту опасность миновала и я уже полностью успокоился, я только муркаю что-то неопределенное ей в ответ.

— Мы-то думали, ты философ, — говорит Таня, — а ты совсем еще несмышлениш.

— Но мы тебя и такого любим, — поспешно заверяет меня Леша.

— Конечно, любим, — говорит Таня. — Какой есть, такого и любим.

Я не возражаю. Пусть думают что хотят. Пусть считают меня инфантильным, глупеньким несмышленишем. Я-то знаю, что на самом деле у меня философский склад ума и неординарные дедуктивные способности. Эмпирика — это все ерунда. Надо в суть смотреть, в имманентно присущие качества. А имманентно я философ и созерцатель. И в обратном меня никто никогда не убедит.

ДОЛЖКИ И КОРЕШКИ

— Все на свете от бабок, — говорит Вадим. — Бабасов, бабулек, бабочек драгоценных и ненаглядных. Красных, синих, бордовых, серо-буро-малиновых. В последнее время в основном зеленых. С президентами покойными или с другой какой мертвечиной типа тринадцатизэтажных пирамид и всевидящего ока великого архитектора. От денег, короче гово-

ря, чтобы им всем до последнего юаня и тугрика сгореть и рассеяться пеплом бесследно.

— Не знаю, — говорю я. — По-моему, все на свете от любви.

— От любви к деньгам, — говорит Алик.

— Любви без денег вообще не бывает, — говорит Вадим. — Ладно, мужики, давайте за Вовку выпьем. Земля ему, как водится, пухом. Сколько бабла этого через его руки прошло, а с собой ни единого цента не взял. Там эта свободно конвертируемая валюта, говорят, не в ходу.

Мы сидим в принадлежащем Вадиму и его жене Наде ресторане «Эдем», какую-то часть которого они год назад продали Зарецким. Место это популярное, но сейчас раннее утро, и ресторан пуст. Кроме нас троих, тут и нет никого. Даже официанты еще не пришли.

— Много он тебе должен остался? — спрашивает Алик, после того как мы выпиваем, не чокаясь и не закусывая. Четвертый фужер, до краев наполненный водкой и покрытый кусочком черного хлеба, стоит на столе нетронутый.

— Что значит много? — говорит Вадим. — Для одного сто тысяч — мелочовка, а для другого трюльник — состояние. Мне Надя говорила, чтобы я ему не давал ничего. Корешам в долг давать — гиблое дело. Попросишь вернуть — обижаются. Не напоминаешь — говорят: дай еще. Самое неприятное — это когда люди думают, что у тебя бабок немеряно. Причем хитро так вопрос ставят. Говорят: ты не знаешь никого, кто мог бы мне тысяч шестьдесят одолжить? Что это значит, спрашивается? Что это за постановка вопроса?

— Шестьдесят штук? — с явным недоверием в голосе переспрашиваю я. — Крутой ты Вадик. Крутой, как американские горки на Кони-Айленде. Неужели дал?

— Тебе хорошо смеяться, — говорит Вадим. — Ты сам за всю жизнь ничего крупнее двадцатидолларовой купюры в руках не держал, и все это знают.

— К сожалению, — говорю я, — не все.

— Не придумывай, — говорит Алик. — Кто, например, не знает? Разве что кто-нибудь, кто только вчера с тобой познакомился.

— Нет, серьезно, — говорю я. — Если просит человек, значит, ему нужно, наверное.

— А кому не нужно? — говорит Алик. — Ты знаешь таких, кому деньги не нужны? Я не знаю. А в этом деле настоящие виртуозы есть. Почти все спиваковских. Просит, например, у тебя человек двести баксов на неделю. За квартиру заплатить или жрачкой закупиться. Семья голодает. Холодильник пустой. Или машина сломалась. Или еще что-нибудь столь же душераздирающее и оригинальное. Через месяц звонит, говорит: хочу долг отдать. Ничего себе, думаешь, остались же еще на земле честные люди. А он приезжает, достает столик мятый из кармана. Вот, говорит, сейчас больше нету пока. И что получается? Вроде он уже отдал половину, и напоминать неудобно. А сто долларов твои при этом того — улетели, как перелетные птицы, в теплые края, где никогда не заходит солнце и откуда нет возврата. Махнули крылышком тебе на прощание, прокрикали песню свою лебединую и улетели навсегда.

— Я один раз напомнил всего, — говорю я. — Приятель был у нас. Штуку занял. У него действительно полные кренделя были. Ну, никак не откажешь. Так он после этого вообще исчез. С концами. Случайно встретились на улице. Как ни в чем не бывало: привет — привет. Я помялся немного. Неудобно напоминать. Но штука все-таки — не два рубля. Выдавил из себя что-то нечленораздельное. А он мне говорит: «Так вы же богатые, а я бедный». Представляете? Это мы-то богатые? Он что, не знает, как Татьяна работает? Каким трудом каторжным все это достается?

— Не переживай, Лешка, — говорит Алик. — В этой истории большие плюсы есть.

— Это какие же, например? — говорю я, заметно мрачней. Мысли о том, сколько всего можно было бы купить на эту тысячу, окончательно портят мне настроение.

— Во-первых, больше он у тебя никогда ничего не попросит, — говорит Алик. — Что само по себе уже неплохо. А во-вторых, давая в долг, мы избавляемся от ненужных нам по жизни персонажей. Производим, так сказать, искусственный отбор и селекцию, в результате которой рядом с нами остаются только самые приятные и симпатичные люди.

— Это те, кто у нас ни разу ничего не одолжил, что ли? — говорю я.

— Дороговатая штука, эта твоя селекция, — говорит Вадим. — Не проще ли послать?

— Всех не пошлешь, — говорит Алик. — На почтовых расходах разоришься.

— И вообще, — говорю я. — Никогда не знаешь, каким боком жизнь повернется. Даже самый милый человек может вдруг в такую передрыгу попасть, что из наименее приятных и наименее симпатичных тут же перепрыгнет прямо в разряд самых отвратительных. Кого уже и вовсе никогда видеть не хочется.

— Ладно, можно подумать, ты не одалживал денег никогда, — говорит Вадим.

— Никогда, — говорю я. — С детства усвоил, что берешь чужие и на время, а отдавать приходится свои и навсегда.

— И не просил никогда ни о чем? — спрашивает Алик.

— При чем тут это? — говорю я. — Дружеская услуга — это не деньги.

— В Америке все деньги, — говорит Вадим. — И вообще, ты же верующий вроде. Ты каждый день должен с «Отче наш» начинать. А там прямо сказано: «...и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим». Или для тебя это не указ?

— Ну что ты прицепился к нему? — говорит Алик. — Давайте лучше накатим еще разок.

— Нет, я не могу, — говорю я. — Мне сегодня еще в Кеннеди ехать. Родственников встречать. Поедешь со мной? Тебе же все равно делать нечего.

— Вот видишь, — говорит Вадим. — Все вы одинаковые. Ты не можешь честно попросить, чтобы он тебя подвез. Так же как Вовка не мог просто, по-человечески попросить денег в долг. Это вам, так сказать, запаadlo.

— Что ты, кстати, с этим теперь делать-то будешь? — говорит Алик. — Неужели с Ларисы требовать? У нее полюбому нет ни копейки. Она и без тебя всем кругом должна.

— Не валяй дурака, — говорит Вадим. — Неужели ты думаешь, что я ему мог шестьдесят штук дать? Плохо же ты обо мне думаешь. Или, наоборот, хорошо слишком?

В Кеннеди мы едем втроем, забрав по пути с работы Татьяну. Слава богу, у Алика «Suburban» огромный, потому что родственников моих, которых нам предстоит встречать, целых четыре человека. Мой троюродный брат Илья Шварц, его жена Нина и двое их сыновей — Дима и Саша. С Илюшей мы, можно считать, вместе выросли. Наши мамы, приходящиеся друг другу кузинами, родили нас с промежутком в 4 месяца, и поэтому с самого раннего детства наши жизни развивались не просто параллельно, но и полностью совпадая, как тогда говорили, по фазам. В раннем детстве мы вместе ездили на дачу — то в пресловутую Малаховку, то в не менее пресловутое Кратово. Потом одновременно пошли в школу — только я во французскую, а он — в английскую. Потом одновременно поступили в институт: я — в педагогический на факультет иностранных языков, а он — туда же, только на исторический. Близкой дружбы у нас с ним никогда не было, но мы по-

стоянно пересекались в разных компаниях, общались практически с одними и теми же людьми, встречались то на просмотрах каких-нибудь иностранных фильмов, то на театральных премьерах «Современника», «Ленкома» или «Таганки», то на выставках на Малой Грузинской, где в те годы под вывеской секции графиков демонстрировались работы так называемых художников-нонконформистов. Короче говоря, вели обычную для нашей среды жизнь, объединяемые довольно схожими интересами, примерно одинаковыми взглядами и, что не менее важно, десятками, если не сотнями, общих знакомых, не считая, конечно, родственников, у которых мы тоже постоянно виделись на днях рождения и прочих праздниках.

Илюша был нормальным представителем московской интеллигенции, и поэтому столь неожиданным для всех стало то, что в середине третьего курса он безо всякого объяснения вдруг бросил институт и, естественно, загремел в армию. Я даже поехал тогда провожать его в военкомат и все время спрашивал, с какого это он хрена решил вдруг поломать свою такую комфортабельную жизнь. Добиться внятного ответа мне так и не удалось — он только повторял, что историю съездов зубрить надоело, что жизнь у нас какая-то ненастоящая, но все это звучало не серьезно. По крайней мере, для меня.

Служить Илюшу отправили в войска ПВО куда-то на Дальний Восток, а пока его не было, мы уехали в Америку, и на долгие годы связь между нами прервалась. От моей мамы, которая поддерживала переписку со своей кузиной, я знал, что, вернувшись из армии, Илюша восстановился все-таки в институте, по окончании которого женился на своей сокурснице. Тот факт, что она была русской, нанес его родителям и особенно нашим бабушкам, которые приходились друг другу родными сестрами, еще больший удар, чем его военная служба. Нина на фотографиях, которые присылались нам из Москвы, выглядела довольно симпа-

тичной, но обыкновенной. Ничем не примечательное широкоскулое лицо, веснушки, светлые волосы. Рядом со своим наделенным хрестоматийной еврейской внешностью мужем она смотрелась несколько странно, но брак у них вроде был хороший. Через год после свадьбы, которую из-за разлада в семье даже не отметили толком, появился на свет Дима, а еще через пять лет — Саша. Когда в 1988 году я впервые после эмиграции приехал в Москву, им было семь лет и два годика. С Илюшей мы встретились так, как будто никогда и не расставались. Ради меня он собрал у себя всю свою компанию — тогда гости из Америки были еще большой редкостью, хотя моим рассказам о Новом Свете никто из них все равно не верил. Почти все они уже готовились переезжать в какие-нибудь заморские страны, но сам Илья никуда ехать не хотел. Он тогда долго рассказывал мне о том, что перестройка открывает перед всеми совершенно новые возможности, что какие-то его знакомые пытаются создать независимую радиостанцию, куда и его тоже зовут работать, и что надо пытаться изменить что-то здесь, а не искать счастья за тридевять земель.

Радио они действительно создали. Называлось оно «Эхо столицы» и во время августовских событий 1991 года оказалось чуть ли не единственным неподконтрольным ГКЧП источником информации в стране. Забаррикадировавшись в маленькой квартире, где, собственно говоря, и размещалась тогда вся их студия, Илюша и его приятели умудрились связаться с американским посольством и продержаться до тех пор, пока незадачливые горе-путчисты не признали своего поражения. После этого в жизни моего троюродного брата начался самый настоящий «золотой век». Благодаря своей невероятной эрудиции и прекрасно подвешенному языку он довольно быстро выбился в ведущие самых популярных программ «Эха». Дать ему интервью почитали за честь не только знаменитые актеры и писатели, но и члены ельцинского правитель-

ства, не говоря уже о тех, кого в то время называли «демшизой». Бывали у него в студии и дипломаты, и даже главы иностранных государств. Короче говоря, Илюша превратился в самую настоящую московскую знаменитость, что, впрочем, не помешало ему несколько лет тому назад вместе со всей семьей обратиться в американское посольство и получить там статус беженцев. Выезжать они не спешили, но тут оказалось, что воспользоваться этим статусом можно только в течение определенного периода времени, а он как раз истекал. Одновременно с этим у Илюши начались какие-то неприятности на работе, рассказывать о которых по телефону он не хотел. В общем, так или иначе, они наконец решились на отъезд.

Мы с Татьяной выступали у них в роли поручителей и даже были вынуждены внести определенную сумму в ХИАС, не говоря уже о том, что мы нашли им квартиру в Боро-Парке, кое-какую мебель и забили холодильник едой. Именно в эту квартиру мы и предполагали отвезти их из аэропорта, но получилось все совсем по-другому — не так, как мы планировали.

— Все эти ваши разговоры о долгах — глупости, — говорит Татьяна, наслушавшись нас с Аликом, так и не прекративших начавшегося еще в «Эдеме» диспута на тему «Давать или не давать». — Все это проблемы буржуазии, которые совершенно не касаются людей, у которых денег нет. Поэтому и разрешается эта проблема очень просто. Не имей денег или не хвастайся теми, которые у тебя есть, и никто не будет просить у тебя в долг. А еще лучше, если можешь помочь, не отказывай никому, насколько это только возможно. А сам в долг старайся не просить — вот и вся премудрость.

— В жизни разные обстоятельства бывают, — говорит Алик, несмотря на все выпитое утром, довольно уверенно

управляя машиной. — Иногда случается такое, что и не захочешь просить, а все равно приходится.

— Тогда постарайся отдать как можно быстрее, — говорит Татьяна.

— А если не получается? — говорит Алик. — Если правда денег нет?

Я, честно говоря, так и не могу решить для себя, как надо поступать в подобных ситуациях. Да и разговор заканчивается ничем, потому что в этот момент мы как раз выбираемся из пробки на подъездах к «Кеннеди» и оказываемся на территории аэропорта.

В помещении терминала компании «Дельта» уже толпа. Рейсы из Москвы всегда встречает масса народа, но в данном случае тут творится действительно нечто невообразимое. А самое ужасное — это то, что в толпе я вижу сводного брата Ильи — Максима, да еще и не одного, а с женой Ириной и сыном Пашей. Вокруг них стоит множество нарядно одетых людей, которые держат в руках цветы и воздушные шары, раскрашенные в цвета американского национального флага. Еще в нескольких шагах — располагается настоящий оркестр из пяти или шести музыкантов, выраженных в военную форму времен войны за независимость.

Откуда Максим узнал о приезде Илюши, я понятия не имею, но мне совершенно точно известно, что они не общаются уже давно, да и никогда, по сути дела, не общались по-человечески. Когда Илюше было пять лет, его отец ушел из семьи. Максим был его сыном от второго брака, оказавшегося гораздо более удачным и счастливым, чем первый. Их отец упорно пытался подружить своих сыновей, но из этого никогда ничего не получалось. Во-первых, они были слишком разными, а во-вторых, Илюше не доставляло никакого удовольствия ни приходить в новый дом отца, ни возвращаться оттуда к своей маме, которая замуж больше так и не вышла. Я пару раз видел Максима на таких семейных торжествах, куда обязательно надо было пригла-

силь даже тех, кого видеть на самом деле никто не хотел. Он всегда был крупным ребенком и уже чуть ли не к двадцати годам вымахал в высокого, полного, jovialного мужика — большого любителя водки, прекрасного пола, преферанса и анекдотов. Естественно, отношение Илюши к нему с годами не улучшилось, и даже о том, что Максим, закончив Первый медицинский, уехал в Америку, рассказал ему я. В то время русских в Нью-Йорке было еще относительно немного, и почти все друг друга так или иначе знали. Вот и мы как-то встретились с Максимом у общих знакомых. Договорились созвониться, но, конечно, так и не сделали этого. Из периодически попадающихся мне на страницах русских газет рекламных объявлений я узнавал о том, что его врачебная практика постоянно расширяется, но больше мы ни разу не пересекались. В один из моих приездов в Москву я рассказал Илье об успехах его сводного брата, но он только поморщился. А когда они уже собрались уезжать и я спросил, надо ли предупредить Максима, Илюша специфически попросил меня этого не делать, сказав, что никакого желания видеть данного родственника у него нет. Но над тем, откуда же при таком раскладе Максим в аэропорту нарисовался, я подумать не успеваю: как раз в этот момент он замечает нас с Татьяной и начинает кричать, бурно размахивая руками:

— Ребята! Здорово! Идите сюда.

Выхода у нас нет, и мы покорно направляемся в его сторону.

— Теперь Илюша подумает, что это мы его сюда пригласили, — говорю я Татьяне.

— А разве это не так? — говорит она.

— Ты что? Я даже телефона его не знаю, — говорю я.

Тут я как раз попадаю в могучие объятия Максима.

— Ну, вы совсем пропали, — говорит он, стискивая меня так, что я начинаю ощущать каждую косточку моего позвоночника. — Как дела?

— Да нормально все. — Я пытаюсь высвободиться и вдруг вижу Илью.

Толкая перед собой тележку с огромными чемоданами, он появляется из автоматических дверей и растерянно оглядывается по сторонам. За его спиной виднеется и все остальное семейство.

— Вон они, — говорю я Максиму.

Он разжимает свои огромные руки и оборачивается.

— Уже? — говорит он. — Так быстро таможеню проскочили?

Отпустив меня, он начинает махать руками, пытаясь привлечь внимание Ильи, а когда ему это удастся, делает знак людям с цветами и воздушными шариками в руках, и все они с радостными возгласами бросаются к новоприбывшим. Сказать, что Илья ошарашен такой встречей, — это не сказать ничего. А тут еще и оркестрик начинает громко играть какой-то бравурный марш, постепенно переходящий в американский гимн. Илью, Нину и их сыновей тащат в нашу сторону, и в конце концов Максим разом обнимает их обоих. Он, кажется, действительно взволнован, потому что даже не находит слов — просто стискивает их обоих в своих медвежьих объятиях и бурчит что-то совершенно нечленораздельное.

— Кто все эти люди? — говорит Илья.

— Друзья мои. Коллеги по работе. Соседи, — отвечает Максим, как мне кажется, чуть ли не сквозь слезы. — Я так хотел встретить тебя по-человечески. Чтобы приезд в Америку запомнился тебе навсегда.

Оркестрик переходит на новую мелодию. Играя все громче и громче, музыканты начинают петь:

— While the storm clouds gather far across the sea, let us swear allegiance to a land that's free. Let us all be grateful for a land so fair, as we raise our voices in a solemn prayer.

Илья недоуменно глядит на меня, а я только пожимаю плечами.

— God Bless America. Land that I love, — поют музыканты. — Stand beside her, and guide her through the night with a light from above¹.

Илюша пытается освободиться из объятий своего сводного брата. Совершенно очевидно, что происходящее не доставляет ему никакого удовольствия, но в конце концов он вынужден смириться. Мы с Татьяной обнимаем и целуемся Нину, Диму и Сашу. За те несколько лет, что мы их не видели, Илюшины сыновья сильно изменились. Дима стал еще больше похож на отца, а у младшего остались ярко выраженные Нинины черты.

Откуда-то из толпы Максим вытягивает за руку своего сына Пашу.

— Смотри, какой вымахал, — говорит он Илье. — Его теперь Пол зовут. Узнаешь?

— Как я могу его узнать? — говорит Илья. — Когда вы уезжали, он был еще совсем ребенком.

— Когда мы уезжали, я сам был еще совсем ребенком, — смеется Максим, и его заразительный смех окончательно разбивает лед. По крайней мере, Илюша в первый раз за все это время улыбается.

— From the mountains, to the prairies, — все громче поют музыканты. — To the oceans, white with foam God bless America — my home sweet home.

— Ну что? Все едем к нам, — говорит Максим.

— Мы им квартиру сняли. Там готово все, — говорю я.

— Слышать ничего не хочу, — говорит Максим. — Что у вас там может быть готово? Это у нас все готово. Олеська неделю готовилась. И я тоже. Три дня уже не ел.

Он опять смеется, а я смотрю на Илью и развожу руками. Борьба с Максимом бессмысленно, и мы оба прекрасно это понимаем.

¹ Патриотическая песня (композитор Ирвинг Берлин), издавна ставшая неофициальным гимном США.

— God Bless America, land that I love, — поют музыканты. — Stand beside her, and guide her, through the night with the light from above.

Максим подхватывает в охапку обоих Илюшиных сыновей и тащит их к выходу. Мы все покорно следуем за ним, а оркестрик наяривает уже в полную, совершенно оглушительную силу:

— From the mountains, to the prairies, to the ocean, white with foam, God bless America, my home sweet home. God bless America, my home sweet home.

У Максима огромный, роскошный дом на Манхэттен-Бич, и он, похоже, действительно всерьез готовился к встрече Ильи. Стол, в центре которого стоят две огромные хрустальные вазы с цветами, ломится от еды и выпивки, что моментально примиряет меня со всем случившимся сегодня. Алика, естественно, тоже. Он даже где-то умудрился раздобыть себе фужер и пьяным голосом все время извиняется передо мной за то, что не нашел второго — для меня. Но мне фужер и не нужен. Судя по тому, как строго смотрит на меня Татьяна, мне уже и от рюмок стоит держаться подальше.

Дима, старший Илюшин сын, подводит ко мне какого-то высокого темноволосого парня и говорит:

— Дядя Леша, познакомься. Это Игорь Леваев. Мы с ним вместе в самолете летели. Его жена не встретила. Американская. Можно, он с нами немного побудет? С родителями я договорился уже, но они сказали, что надо у тебя спросить.

— Как это не встретила? — говорю я.

— Да так, — ухмыляется Игорь. — Забыла, наверное.

— Ну так что? — говорит Дима. — Можно ему с нами?

— Естественно, — отвечаю я, и в этот момент Максим поднимается из-за стола и начинает стучать ножом по своему бокалу, требуя всеобщего внимания. Когда голоса

в комнате наконец смолкают, он говорит, стараясь сделать свой голос как можно более торжественным:

— Сегодня у нас большой день. Сегодня мы встречаем моего брата на американской земле. Илюша, ты же знаешь: несмотря ни на что, роднее и ближе тебя у меня никого нет. И я хочу сказать тебе: добро пожаловать в Америку! Это великая и щедрая страна, перед которой мы все в долгу. По большому счету, мы вообще все — неоплатные должники. От рождения и до самой могилы. А уж я-то точно всем обязан — и стране этой, и моей жене и сыну, которые меня всегда в трудные минуты поддерживали, и друзьям моим, которых ты сейчас видишь здесь. И я хотел хоть как-то мои долги погасить, встретив тебя так... Ну, как могу, в общем. Как и должен, кстати, по всем законам и понятиям. Впрочем, речь не об этом. Речь о стране, которая принимает нас всех и дает нам возможность реализовать все наши мечты. Я надеюсь, что ты здесь будешь счастлив. Нет, я уверен, что ты здесь будешь счастлив. Совершенно уверен. На все сто. Давай! За тебя! За Америку! За то, чтобы на нас никаких долгов не осталось!

Все пьют, а я, обменявшись молчаливым взглядом с Татьяной, только подношу мою рюмку к губам и тут же ставлю ее обратно на стол. Я бы, конечно, с удовольствием выпил за Илюшу и его новую жизнь в новой стране, но мир в семье мне все-таки дороже. Причем намного.

УЗОР ИНФЕРНАЛЬНОГО ПОЛЯ

— Детки-конфетки, ягодки-цветочки, — говорит Максим. — Все ведь ради них делаем. Правда, Илюш?

— Котлетки эти детки, а не конфетки, — говорит Илья. — А уж если цветочки, то из разряда тех, о которых Бодлер писал.

— Если б не Пашка, я б никуда не ломанулся, — говорит Максим. — Мне и в Москве не кисло было.

— А здесь что, кисло? — говорю я.

— И здесь нормально, — примирительно соглашается Максим. — Работать надо хорошо — тогда везде нормально будет.

Вечер у Максима в полном разгаре, и с каждым новым тостом я чувствую себя все лучше и лучше, потому что сам, под пристальным надзором Татьяны, больше не пью. За другими же гостями приглядывать, похоже, некому, и поэтому состояние остальных присутствующих постепенно приближается к моему. Периодически я, правда, теряю нить общего разговора, который вертится в основном вокруг выгодных процентов по закладным на недвижимость и растущих цен на бензин. Про Илюшу все, кажется, забыли или, может быть, только делают вид.

В очередной раз я включаюсь в тему, когда Максим начинает кричать:

— Принесите мне калькулятор! Кто-нибудь может в моем собственном доме принести мне калькулятор или нет?

Калькулятор ему приносят, и он, удовлетворенный, начинает нажимать на нем какие-то кнопки.

— Вот смотрите, — говорит он. — Смотрите внимательно, потому что это совершенно научное исследование. Если бы год назад вы вложили тысячу долларов в акции компании «Нортел», то сегодня стоимость этих акций составляла бы ровно сорок девять долларов. Если бы вы на ту же самую сумму приобрели год назад акции «Энрона», то сегодня у вас осталось бы шестнадцать долларов пятьдесят центов. Та же самая тысяча, вложенная в «Уорлдком», сегодня превратилась бы у вас в пятерку. С другой стороны, если бы год назад вы на те же деньги накупили бы пива «Бадвайзер» — заметьте, не акций этой компании, а самого пива, — выпили бы его все, а банки сдали бы по десять центов за штуку, то вы получили бы обратно двести че-

тырнадцать долларов. Вот вам самое выгодное на сегодняшний день капиталовложение: пиво и утильсырье.

Все смеются, а мы с Аликом грустно переглядываемся. Нас теперь такие шутки больше не веселят.

С трудом выбравшись из-за стола, я отправляюсь искать туалет, что в таком особняке, как у Максима, занятие не из простых. Судя по всему, сам он никаких денег в акции не вкладывал, а усиленно занимался своей врачебной практикой. Дом его, надо сказать, обставлен с большим вкусом, на стенах повсюду висят картины модных русских художников, среди которых особенно много Целкова, специализирующегося на изображении людей в виде уродливых туш из расплывшейся тестообразной массы.

Я по очереди толкаю каждую встречающуюся на моем пути дверь, но туалета мне найти так и не удастся. По огромной лестнице я не без труда поднимаюсь на второй этаж и возобновляю поиски, значительно затрудненные тем, что здесь совсем темно. Свет виден только из одной комнаты — в самом конце коридора, и я медленно направляюсь туда. Дверь в эту комнату открыта, и я вижу, что там сидят белобрысый сын Максима Паша, Илюшин Димка и тот самый Игорь, с которым они познакомились в самолете, — долговязый парень лет 23-24 с длинными, до плеч, темными волосами. Судя по плакатам Мэрилин Мэнсона и Оззи Осборна на стенах и катастрофическому беспорядку, это Пашина комната. Здесь нет и следа той роскоши, в которой живут его родители. Кровать, стол, компьютер, пара стульев, огромная стереосистема, которая, правда, сейчас молчит. Меня ребята не замечают, и я, прекрасно зная, что подслушивать вообще-то нехорошо, не могу удержаться от того, чтобы не остановиться возле двери.

— Мои вообще никуда ехать не хотели, — говорит в этот момент Дима. — Я их еле-еле уговорил. У меня в Москве уже одни обломы были. Да и армия мне светила. Хотя сегодня легко отмазаться можно, но бабки нужны.

А у них бабок нет. Как на этом «Эхе столицы» начали большие деньги делить, так батяню моего и поперли. Причем так поперли, что его после этого ни в одно приличное место брать не хотели.

— Без бабок и здесь тоска, — говорит Паша. — Вам, конечно, немножко покрутиться надо сначала, осмотреться. Но времени даром не теряйте — потом локти себе обкусаете. Осмотритесь — и приходите ко мне, я вам помогу.

— С чем? — говорит Дима.

— Со всем, — говорит Паша. — Ты чего делать-то здесь собираешься?

— Учиться вроде, — говорит Дима. — Это главный мой довод был, когда я моих уезжать уговаривал.

— А ты уже решил, кем ты будешь, когда вырастешь, мальчик? — говорит Паша и смеется. Смех его мне почему-то не нравится. — Космонавтом или пожарником?

— Милиционером, — улыбается в ответ Дима.

— А ты, молчаливый, тоже за знаниями сюда прикатил? — говорит Паша, обращаясь к Игорю. — Еще один Ломоносов?

— У него жена американка, — отвечает за Игоря Дима.

— Богатая? — говорит Паша.

— Дорогу оплатила, — говорит Игорь.

— А чего не встретила тогда?

— Да она и не знает, что я приехал. Сюрприз ей будет.

— Сюрприз — это хорошо. Сюрпризы они любят, — говорит Паша. — Считают, что это романтика. А вообще сразу тебе могу сказать: замучишься ты с ней. Они тут все чокнутые какие-то. Запрограммированные, как роботы. Все реакции предсказуемы, как в таблице умножения. Если ты одну из них в койку затянул, считай, уже всю Америку перетрахал. Черненькие еще ничего попадают, а остальные — полный отстой. Ну что, еще хотите?

— Ты всегда так в открытую тут шмалишь? — говорит Дима. — И ничего?

— А что они мне сделать могут? — говорит Паша. — Прочитали мне, конечно, пару лекций о вреде контролируемых субстанций и безопасном сексе, а дальше? Это когда мне пятнадцать было, я боялся. А сейчас что? Накажут? Да у них и у самих поинтереснее дела есть, чем за мной шпионить. Ну так что, будете еще или нет?

В этот момент я все-таки решаюсь вмешаться в происходящее и, сделав шаг в сторону дверного проема, говорю:

— А мне дашь?

— А ты кто? — говорит Паша.

— Чмо в пальто, — говорю я. — Давай, чего там у тебя? Вместе покурим.

— Дядя Леш, он пошутил, — говорит Дима. — Нет у него ничего. Вы только родителям не говорите, ладно?

— Чего говорить-то, если нету ничего, — говорю я. — На нет, как известно, ничего и быть не может. По определению.

— Как же вы не понимаете? — говорит Игорь. — Это же так просто. Так очевидно, что и объяснять-то это неловко. Тем более дважды.

Мы так и сидим в Пашиной комнате, причем я, за отсутствием свободных стульев, разместился прямо на полу, прислонившись спиной к стене. Как разговор у нас свернул на философские темы, я уже и сам не помню, но на самом деле с теми, кому по двадцать с небольшим или чуть поменьше, так часто бывает: то о дури и телках, то — без всякого притом перехода — о смысле жизни. И вот в течение последнего получаса промолчавший до этого весь вечер Игорь излагает нам с Пашей и Димой свою теорию мироустройства. Теория эта, на мой взгляд, весьма сумбурна, но все равно она интереснее, чем «взрослые» разговоры о мортгиджах и акциях на первом этаже — поэтому я и не тороплюсь туда возвращаться. Тем более что, как принято в богатых домах, при Пашиной комнате оказался собственный туалет.

— Сегодня никто уже не отрицает наличия у человека биологического поля, — говорит Игорь, — но на самом деле гораздо большее значение имеет поле психологическое. В индуизме оно называется аурой, но не подумайте, что я о мистике какой-то. Все это — самая что ни на есть строгая наука. Психологическое поле человека — это основа и в то же время результат всей его жизнедеятельности, невидимая проекция его личности вовне. Естественно, у каждого оно очень индивидуально и принципиально отличается от всех других полей, хотя все они подчиняются одним и тем же законам, а также постоянно взаимодействуют друг с другом, образуя единое психологическое поле Земли. Еще Вернадский пытался описать этот феномен, назвав его ноосферой, но его последователи все извратили и опошлили, сведя его идеи к экологии и информатике. Я в Москве, кстати, около станции метро «Проспект Вернадского» жил, но это так, к слову. Мистики тут никакой нет — чистая наука.

— Ну и что? — говорит Дима. — Какое все это имеет значение?

— Огромное, — говорит Игорь. — Пси-поле каждого человека формируется из его мыслей, желаний, эмоций, которые могут быть как положительными, так и отрицательными по своему знаку.

— Это по какой шкале? — говорю я, потому что мне становится интересно.

— Возьмем для простоты традиционную шкалу классической этики, — говорит Игорь. — Она ведь примерно одинакова у всех народов, и поэтому оперировать с ней будет проще. Ту шкалу, по которой убивать, воровать и отбивать чужих жен считается предосудительным. Так вот, подобно тому, как, получая из атмосферы кислород, люди перерабатывают его и выдыхают обратно углекислый газ, — точно так же работают и психофизиологические процессы. Из того, что Вернадский называл ноосфе-

рой, человек получает положительно заряженный психический «кислород», а результатом его психической деятельности является выброс в ноосферу всяких шлаков и прочих отходов. Кто будет отрицать, что люди чаще всего испытывают негативные эмоции: зависть, ненависть, ревность, желание отомстить? Причем именно эти чувства, как правило, и являются самыми сильными, в наибольшей степени определяющими весь характер человека, все его поступки. Или, по крайней мере, их абсолютное большинство.

— Это все ты уже говорил, — перебивает его Дима, — и я в принципе согласен, но дальше-то что?

— Дядя Леша просил повторить, — говорит Игорь.

— Давайте вы не будете называть меня дядей, — говорю я. — У нас разница в возрасте всего-то двадцать лет. Какой я вам дядя?

— Договорились, — говорит Игорь. — Но теперь понятно?

— Более или менее, — нагло вру я. — Но действительно, хотелось бы услышать, что из всего этого следует.

— Следует очень многое, — говорит Игорь. — Индивидуальные пси-поля людей, то есть, по сути дела, отбросы их душевной и духовной жизни, взаимодействуя друг с другом, образуют единое поле, которое вобрало в себя всю психологическую помойку, накопившуюся за сотни тысяч лет осознанной деятельности человека как отдельного вида. Это поле несет в себе всю негативную пси-энергию, которую выбрасывали в ноосферу наши предки и которую ежесекундно продолжаем выбрасывать мы. Говоря другими словами, речь идет о десятках или даже сотнях миллиардов установок по переработке кислорода в углекислый газ, и если запасы кислорода в природе пополняются за счет фотогенеза, то никакого подобного механизма обновления позитивного пси-материала в ноосфере предусмотрено не было. Поэтому с каждым новым поколением и во-

обще с рождением в мир каждого нового человека это отрицательно заряженное поле, впитывая в себя весь вбрасываемый в него негатив, все усиливалось и усиливалось. Я вполне допускаю, что поначалу его или вообще не было, или оно было совершенно микроскопическим, и мир тогда казался людям раем, что отражено абсолютно во всех религиозно-мифологических системах. Но постепенно сила поля росла, количество зла увеличивалось, и в какой-то момент возникла обратная связь. Питаясь шлаками психической деятельности человека, это поле, которое я называл инфернальным, начало оказывать сильнейшее воздействие на индивидуальные пси-поля отдельных людей. Сильно упрощая, можно сказать, что вместе с положительной энергией ноосферы человек начал получать и негативную энергию инфернального поля, которая интенсифицировала все его отрицательные эмоции и чувства. Возник эффект снежного кома, при котором сила инфернального поля начала расти уже в какой-то супергеометрической прогрессии. На уровне общественных наук это объясняет, почему мир становится все более и более жестоким. Еще в начале прошлого века все человечество было потрясено ужасами Первой мировой войны, ее чудовищными жертвами, применением ядовитых веществ и т. д. Но не прошло и двадцати лет после ее окончания, как все эти кошмары начали казаться игрушками по сравнению с холокостом, концлагерями, гибелью десятков миллионов человек. А сразу вслед за этим — Хиросима и Нагасаки. Потом — Камбоджа с ее Пол-Потом, залитый напалмом Вьетнам. Сила и масштабы зла постоянно увеличиваются, в потенциале стремясь к воцарению на Земле самого настоящего ада. Что, кстати, тоже предсказано большинством мировых религий.

— Поэтому ты и поле назвал инфернальным? — спрашиваю я, чтобы хоть что-то спросить.

— Естественно, — говорит Игорь. — Это область ада, обретающего все большую и большую силу. Ада, мате-

риализующегося во плоти из нашей коллективной пси-энергии.

— Потрясающе, — говорит Дима. — Я никогда не мог понять, почему в мире так много зла и как все это согласовывается с религиозными догматами о том, что Бог есть Любовь. И мне никто до сих пор не мог этого объяснить.

Некоторое время мы все молчим, а потом Паша говорит:

— А ты не боишься?

— Чего? — говорит Игорь.

— Ну, что поле тебе отомстит, например. Вряд ли оно в восторге от твоих открытий.

— Не знаю, — говорит Игорь. — Никогда не думал об этом.

— А ты подумай, — говорит Паша. — И не рассказывай об этом никому. Особенно тем, кого это вообще не касается. А то как бы не пожалеть потом.

— Жалеть нечего, — говорит Игорь. — Зная законы, по которым поле функционирует, можно научиться им управлять. Бороться с ним все равно бессмысленно. Единственное, что остается, — это поставить его себе на службу.

— И что тогда? — говорю я.

— А ничего, — говорит Игорь. — Тогда уже больше ничего не надо. Тогда уже все твое будет.

— Что, например? — говорю я. — Что тебе, собственно говоря, так сильно нужно?

— Мир во всем мире и всеобщее разоружение, — говорит Игорь. — Что же еще?

Даша Зарецкая едет в метро и старается не думать о том, как сильно она его ненавидит. Шум и толкотня, скрежет металла, до запредельного уровня децибел усиленные дребезжащими динамиками голоса объявляющих остановки

кондукторов, грохот тормозящих и разгоняющихся вагонов, разношерстная толпа — все это почему-то вызывает у нее неподдельное чувство ужаса, объяснить которое она не в состоянии даже своему психотерапевту — милой, с большой заинтересованностью выслушивающей ее женщине, которую зовут Яна и к которой родители теперь заставляют ее ходить два раза в неделю. Теперь — это после того, как в прошлом году она сделала одну большую глупость, чуть было не закончившуюся непоправимой трагедией. Глупость. Конечно, глупость. Не подумала как следует. Тогда, правда, казалось, что другого выхода нет и не будет уже никогда, но все равно хорошо, что бабушка хватилась своего снотворного и подняла весь дом на ноги. Благодаря этому она и с Грегом познакомилась — он на общественных началах, после работы, вел семинары в группе психологической поддержки, которые ее обязали посещать после того, как выписали из больницы. Ну а русская в этой группе она одна была.

Грег — хороший. Красивый. Надежный. Любит ее. За муж зовет. Ему уже двадцать восемь. Он адвокат. Талантливый. Уголовные дела ведет. Скоро партнером станет в большой американской фирме.

Глупо все это было. Страшно глупо. Пришла в себя в белой палате, вся черная — руки, ноги, все тело. Потом объяснили, что это ее углем вымазали для детоксификации. Здесь так принято. Глупость. Хотели ее в психбольницу отправить. Здесь попытки таким образом свои проблемы решать к психическим заболеваниям приравниваются. Детский сад какой-то. Но все равно хорошо, что успели. Спасибо им за это.

И вот опять метро, от которого каждый день, по дороге в NYU, где она учится на искусствоведа, и обратно домой Даша старается полностью отгородиться одновременно и книгой какой-нибудь интересной, и плеером с огромными наушниками. Сегодня она читает третий том Ваза-

ри и слушает свою любимую Билли Холлидей. Джаз успокаивает, хотя голос у Билли слишком тихий для того, чтобы полностью заглушить грохот поезда. «Good morning, heartache», — поет она, и Даша поднимает глаза, внезапно почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд. Стоящий в проходе высокий молодой человек в бейсбольной кепке улыбается ей открытой американской улыбкой. С ней тут часто так пытаются познакомиться. Не пристают грубо и нагло, как когда-то в Москве, а просто улыбаются или вежливо спрашивают, что она делает сегодня вечером. Улыбнуться ему в ответ? Или он неправильно это поймет?

Даша опускает глаза, а потом смотрит в окно — поезд едет по мосту, приближаясь к Манхэттену. Мост — огромный, уродливый, железный, уже с самого утра раскаленный от палящего летнего солнца. Под мостом река, на другом берегу которой большой город. Там живут миллионы людей, и у каждого из них — свои серьезнейшие проблемы, с которыми они тоже не всегда могут справиться. Так и Яна говорит, и Грег тоже. У всех есть проблемы. У каждого свои. И каждому они иногда кажутся неразрешимыми. Но большинство все-таки решает их как-то. И Даша тоже решит. В конечном итоге все как-то решается. Неразрешимых проблем не бывает. Чистый детский сад.

Поезд уже пересек мост и въезжает на станцию. Даша опять поднимает голову. Высокий молодой человек в бейсбольной кепке снова улыбается ей и глазами показывает, что он выходит, как бы приглашая последовать за ним. Даша опускает голову, утыкаясь в книгу. Вазари — такой интересный, а диск Холлидей уже закончился. Но это ничего — на следующей остановке все равно выходить.

Даша прислоняется виском к оконному стеклу, закрывает глаза и ловит себя на мысли о том, что ей почти хорошо.

Вдруг она вздрагивает. Молодой человек в кепке уже стоит на платформе и стучит костяшками пальцев по окон-

ному стеклу. Он опять улыбается. У него такая хорошая, такая открытая улыбка, и Даша наконец тоже улыбается ему в ответ. Несколько вымученно, но все же. Молодой человек наклоняется к окну. Его лицо — практически на одном уровне с Дашиным. Он смотрит ей в глаза, улыбается еще шире и вдруг плюет прямо в стекло. Даша в ужасе дергает головой. Белая слюна растекается по вагонному окну, и в этот момент поезд трогается.

Я сижу через проход от Даши и смотрю на нее. Она меня не замечает, и, наверное, это к лучшему. Какая она все-таки красивая. Высокая, с правильными чертами лица, с фигурой не такой, какие сейчас в моде, а очень женственной. И молодец она, что не пошла в манекенщицы, как ей все советовали, а решила на искусствоведа выучиться. Нужная специальность. Всегда пригодится.

— Хорошо, что вы пришли, — говорит Марина, разливая по чашкам свежесваренный чай. — Дашенька так вас любит. Таню, конечно, особенно. Она ведь столькому ее научила. И еще она говорит, что Таня — единственная, кто относится к ней как ко взрослой. А какая она взрослая? Двадцать лет всего. Дурочка полная. Ребенок. Ничего не понимает. Хотя и я сама в ее возрасте такой же была. Ну, почти такой же.

Мы бываем у Зарецких очень редко. Нам с ними невероятно скучно, да и им с нами, я думаю, тоже, и приглашают они нас только из-за Даши. На уроках у Татьяны она в последнее время появляется эпизодически — то университет, то другие какие-то дела, а общаться с живым художником ей как будущему искусствоведу необходимо. Вот и сейчас они с Татьяной уединились в Дашиной комнате и обсуждают там что-то представляющее взаимный профессиональный интерес. Я же изнываю от тоски в обществе Антона, Марины и, как всегда, молчащей Розалии Францевны.

— Давно ты в «Эдеме» у нас не был, Леш, — говорит Антон. — Приходи, посмотришь, как мы там все переделали.

— Да я недавно как раз заходил, — говорю я. — Только утром, когда тебя не было. Вадим один был. Но вы здорово там постарались. Ночной клуб будет?

— Да, хотим молодежь привлечь, — говорит Антон. — Тематические вечеринки устраивать. Типа карнавалов. А в подвале казино сейчас делаем.

— Это разве легально? — говорю я, отпивая горячий чай.

— Не совсем пока, — говорит Антон, — но полиция не трогает. Особенно тех, кого она хорошо знает. А Вадим в этом смысле большой мастер. У него же всюду знакомые, и каждому он что-нибудь на избирательную кампанию пожертвовал.

— Все вы в этом казино неправильно сделали, — вдруг говорит Розалия Францевна своим скрипучим голосом. — Я вам не так все описывала.

— Как же не так? — говорит Антон. — В точности все, как вы рассказывали. Да и фотографии есть. Вот мы сейчас их Леше покажем и спросим у него, похоже или нет.

Антон снимает с полки толстый альбом и начинает листать страницы с наклеенными на них старыми фотографиями.

— Вот, — показывает он мне. — Это Розалия Францевна в Монте-Карло в пятидесятые годы. Они туда ездили, когда ее муж покойный в посольстве работал. А вот это казино, о котором она нам рассказывала. Это уже в Париже было. Тоже подпольное, но там собирался весь высший свет.

На фотографии изображена молодая и довольно привлекательная дама, в которой я никогда в жизни не узнал бы Розалию Францевну, но признаться в этом я, по понятным причинам, не могу. Вокруг этой дамы полукругом расположилось несколько мужчин во фраках. Лица их закрыты масками, напоминающими те, которые ис-

пользуются во время Венецианских карнавалов. Само помещение мало похоже на казино, но я, правда, в этих вопросах и не специалист. Столы действительно какие-то стоят, но не рулеточные и не карточные, как в Атлантик-Сити или Лас-Вегасе. На стенах — старинные гербы, гобелены, портреты мужиков каких-то. Судя по их облачению и тяжелым рамам, все это важные государственные деятели.

— Очень интересно, — говорю я. — И как вы такую древность собираетесь у нас на Брайтоне воссоздать?

— Да это не та фотография, — говорит сидящая рядом с Мариной и тоже разглядывающая альбом Розалия Францевна. — Казино — на той, которая рядом. На соседней странице.

Я перевожу взгляд. Вот это уже действительно напоминает игорный дом. Тоже роскошный — не знаю, как Вадим с Антоном смогут себе все это позволить.

— Да что вы человеку голову морочите? — говорит Марина, отнимая альбом у мужа и скопом переворачивая страниц двадцать. — Давай, Леш, я тебе лучше наши фотографии покажу. Вот наша свадебная. Мы в ресторане Дома писателей отмечали. Не спрашивай почему. Писателей среди нас нет. Просто там знакомые хорошие были. А вот Дашка родилась. Вот она в детском садике. А это — в пионерском лагере, когда мы ее забирать приехали.

— После третьей смены только и забрали, — говорит Розалия Францевна. — Она там чуть с ума не сошла.

— Ничего, ей полезно было с детьми общаться, — говорит Марина, продолжая листать страницы. — А вот она в школе. Седьмой класс. Девятый. А это выпускной ее. Правда красавица? Специально фотограф один из модного журнала приезжал ее снимать. Ей контракт предлагали в агентстве, но она отказалась. Может, и правильно. Что за работа такая — манекенщицей? Одна наркота там и разврат.

— Подожди, — говорю я, останавливая Марину, которая опять быстро листает страницы альбома. — А это она с кем?

На фотографии, которая привлекла мое внимание, Даша изображена в компании своих сверстников. Она стоит в центре, положив голову на плечо обнимающего ее за плечи молодого человека с длинными темными волосами. Лицо его кажется мне невероятно знакомым.

— С друзьями, — почему-то замямвшись, говорит Марина. — Плохая фотография. Сама не понимаю, как она в этот альбом попала. Мы сюда только лучшие самые собираем.

В этот момент Розалия Францевна наклоняется к альбому и, резким движением отодрав фотографию от страницы, начинает методично рвать ее на мелкие кусочки.

— Совсем из ума выжили, — говорит она. — Идиоты. Собственного ребенка хотят в могилу свести.

— Мама, да я же говорю, что это случайно осталось.

— Идиотка, — говорит Розалия Францевна. — Форменная идиотка. Какой с тебя спрос.

Когда мы с Татьяной возвращаемся домой, я пересказываю ей всю эту историю и говорю:

— А знаешь, кто это был на фотографии? Парень этот с Дашей.

— Кто? — говорит Татьяна.

— Игорь, — говорю я. — Ну тот, с которым Илюшин Димка в самолете познакомился. Который мне еще потом свою теорию inferнального поля излагал. Помнишь, я тебе рассказывал?

— Помню, — говорит Татьяна. — Не понравился он мне. Очень не понравился.

Мне он тоже не понравился, и поэтому я с готовностью соглашаюсь.

МЫ И ОНИ

— Скучно мы живем все-таки, — говорит Алик. — Одно и то же каждый день. Одно и то же. Работа, еда, сон. Ну, надемся иногда. Тоска.

— Тоска, — соглашаюсь я.

— А я знаю, что вам надо сделать, чтобы жить было веселее, — говорит Татьяна.

— Что? — почти хором говорим мы.

— Вон видите, полицейский на углу стоит, — говорит Татьяна. — Вы подойдите к нему незаметно, со спины, и попробуйте у него пистолет из кобуры выхватить. Знаете, какая у вас обоих сразу же интересная жизнь начнется. Сколько всякого разнообразия в ней каждый день будет. Лет на десять—пятнадцать ближайших потянет.

Мы сидим в открытом кафе на бордвоке и пьем пиво. То есть это мы с Аликом пьем пиво, а Татьяна заказала себе мороженое. Сейчас у нас на Брайтоне стали потрясающее мороженое продавать — прямо из Москвы его привозят, и оно очень похоже на то, которое мы там ели двадцать лет тому назад. Стаканчики вафельные, эскимо настоящее, даже то, что называлось когда-то пирожное-мороженое. Очень вкусно. Сам я, правда, пиво предпочитаю. С ним сейчас у нас тоже полный порядок. «Очаковское», «Балтика» всех сортов, «Афанасий». Что еще человеку для полного счастья нужно?

— Идея хорошая, — говорит Алик. — Мне нравится. Но боюсь, что моих проблем она не решит.

— Какие у тебя проблемы? — говорю я. — Найдешь ты работу свою, не бойсь. Сейчас по-любому все на компьютерах держится. Должен же кто-то их программировать.

— Индусы теперь все программируют, — говорит Алик. — Сидят себе на берегах своего священного Ганга в позе лотоса и пишут по программе в час. За чашку риса

в день, между прочим, а не за триста баксов. Ну и как при таком раскладе мы можем с ними конкурировать?

— Очень просто, — говорю я. — Просите полчаши, и выдадите их с рынка программирования.

— Я твоё предложением обязательно рассмотрю, — говорит Алик. — Обязательно.

— Вот тебе и решение всех проблем, — говорит Татьяна. — Если ещё какие сложности в жизни есть, ты не стесняйся. Прямо к Леше и обращайся. Вдвоем вы обязательно что-нибудь дельное придумаете. Как ни крути, один ум хорошо, а полтора все же лучше.

С Кеном Перри я познакомился совершенно случайно, хотя вообще-то Татьяна говорит, что ничего случайного в жизни не бывает, а все, что происходит с нами, для чего-то необходимо. Чаще всего — для нашего вразумления.

Кен — не типичный американец. Вернее, его история совершенно типична не только для американцев, но и вообще практически для всех иностранцев, по той или иной причине попавших в молодости в Советский Союз, где их принимали как самых желанных и дорогих гостей, хотя и по причинам чаще всего меркантильным. Во-первых, общаться с западными людьми было престижно и интересно. Во-вторых, они имели доступ в валютные магазины, а при повторных визитах всегда могли привезти из-за границы что-нибудь вкусное или модное, но в любом случае невероятно дефицитное. В-третьих, все они были — или, точнее, считались — идеальными женихами и невестами. В институте у меня были знакомые девушки, готовые выскочить замуж даже за самого распоследнего африканца и уехать в какую-нибудь Эфиопию или Судан — благо студентов из вечно развивающихся стран тогда хватало. Представители же чуть более развившегося мира были вообще нарасхват. Тут уже не имели значения ни внешние

данные, ни уровень интеллекта, ни даже реальное богатство, потому что в глазах простых москвичек 70-х годов любой никарагуанец выглядел миллионером. Кен же приехал все-таки не из Никарагуа, и поэтому, довольно хорошо изучив за два года своего пребывания в Москве русский язык, так и не узнал точного значения слова «нет».

То, что он увидел и пережил в России, отложило неизгладимый отпечаток на всю его последующую жизнь. То есть конечно же его любили и привечали в первую очередь именно за то, что он был американцем, но тем не менее весь московский стиль отношений, весь образ жизни так сильно отличались от того, к чему Кен привык в своем родном Миссури, что, вернувшись домой, он так и не смог снова вписаться в американскую действительность. Вернее, карьеру он сделал неплохую, защитил диссертацию, написал книгу об истории советского диссидентского движения, получил постоянное место на кафедре славистики в Колумбийском университете, но вот в личной жизни у него все время было что-то не так. Русские женщины, похоже, произвели на Кена впечатление такой неизгладимой силы, что найти свою вторую половинку среди американок у него уже не получалось.

Мы с ним познакомились еще в Москве, на домашней выставке у одного художника, который прославился тем, что регулярно изображал окружавшую его действительность в виде разложенной на газете «Правда» селедки. Когда я приехал в Нью-Йорк, Кен сам меня разыскал. Даже помог тогда здорово. Много советов полезных надавал. Так что я по гроб жизни ему благодарен.

Какое-то время мы перезванивались. Иногда Кен даже заходил к нам. То ли мы напоминали ему те годы, которые так и остались самыми яркими и интересными в его жизни, то ли он надеялся познакомиться у нас с кем-нибудь из Татьянинных подруг. Скорее всего, и то, и другое, конечно. В последнее время Кен исчез, а где-то неделю тому

назад объявился и сообщил, что написал еще одну книгу, влюбился, собирается жениться и вообще начинает все заново. Звонил, впрочем, не для этого, а чтобы пригласить на презентацию, которую устраивало его издательство. Я вообще-то подобные мероприятия с детства ненавижу, но отказаться было неудобно. К тому же Кен сказал, что и невеста его там будет.

Когда мы с Татьяной присаживаемся в «Макдиллан», там уже толпа народу. Кен стоит в окружении каких-то важных людей, но, заметив нас, сразу же начинает махать руками и подзывать к себе. Мы подходим и застаем дискуссию в самом разгаре.

— Кен Перри написал совершенно выдающуюся работу, — говорит представительный седой мужчина в костюме и бабочке. — Он, как никто, показал тот тупик, в который зашла сегодня Россия. Десять лет реформ пропали даром. Уникальный шанс, который история предоставила этой дикой стране, безвозвратно упущен. К власти опять пришли спецслужбы и государственники, мечтающие возродить утраченную ими империю. Благодаря своему прекрасному знанию российской действительности Кен сумел на конкретных примерах показать, как традиционная русская ментальность способствует постоянному возвращению этой страны к той или иной форме тоталитаризма. Его книга не случайно называется «На круги своя». Она, как мне кажется, подводит окончательную черту под всеми надеждами на то, что цивилизованному миру удастся установить с Россией нормальный диалог, и полностью оправдывает любые наши действия по нейтрализации нынешнего кремлевского режима.

— Спасибо большое, профессор Косинский, — говорит Кен. — Я очень польщен и очень благодарен вам как за высокую оценку моего труда, так и за ту помощь, которую оказал мне ваш Фонд содействия демократическому развитию.

— Это эпохальный труд, — говорит пожилая полная дама в больших очках. — Мне особенно понравились те главы, в которых вы анализируете наиболее вероятные тенденции развития ситуации и очень убедительно показываете, что по отношению к России возможны только силовые варианты.

Так продолжается еще минут десять, после чего Кен извиняется и отводит нас с Татьяной в сторону.

— Молодец, — говорю я. — Раз такие серьезные люди хвалят, значит, стоящая книга.

— Для того и писалась, чтобы хвалили, — говорит Кен, но видно, что он доволен.

— А где же невеста? — говорит Татьяна, которая вообще не переносит разговоров о политике, считая их пустой тратой времени.

Кен улыбается своей неотразимой, чисто американской улыбкой и говорит:

— Вот она идет. Познакомьтесь: Мила.

Повернувшись к подходящей к нам женщине, я буквально открываю рот от изумления, а никогда не теряющая самообладания Татьяна говорит:

— А мы знакомы. Привет, Милочка. Ты одна или с Аликом?

— Одна, — совершенно невозмутимо говорит Мила, как всегда чуть растягивая гласные. — В кои-то веки муж решил с ребенком посидеть — что же, лишать его теперь такого удовольствия?

Это, значит, на прошлой еще неделе было, а сейчас, как я уже объяснял, мы сидим в кафе на бордвоке, и о чем, кроме поисков работы, мне теперь с Аликом говорить, я, по правде сказать, и не знаю.

— Удивительная все-таки штука эмиграция, — говорит Алик. — Как будто мало людям других проблем, они еще

и семью сохранить не могут. Сплошные разводы вокруг — вы заметили? Слава богу, хоть у нас с Милкой сейчас все хорошо. Вроде самый опасный период мы уже прошли. Поначалу она еще дергалась все, а теперь успокоилась вроде бы. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.

Он плюет через левое плечо и добавляет:

— Леш, можно я еще по твоей голове постучу? Для надежности.

— Потому и разводы, что проблем много, — говорит Татьяна. — Стресс у всех, вот и не выдерживают.

— Это-то я понимаю, — говорит Алик. — Одна загадка: что наши дурехи в америкосах находят? Неужели они и вправду надеются с ними счастье обрести? Неужели не понятно, что мы все-таки совершенно разные и что рано или поздно это обязательно скажется?

— Конечно, скажется, — говорю я. — Я вообще ни одной такой смешанной пары не знаю, чтобы они были счастливы.

— А Полина? — говорит Татьяна.

— Что Полина? — говорю я. — Полина — это особый случай. У нее всю жизнь просто нереальная непруха какая-то. Такого с нормальными людьми вообще не бывает. Фатальность полная. А тут богатый, вдовец, прыгает вокруг нее, руки-ноги целует.

— А она говорит, что он ее любит, — говорит Татьяна. — Говорит, что ее так никто никогда не любил.

— Еще бы он ее не любил, — говорит Алик. — Он всю жизнь с американками общался, а после них любая наша королевой покажется. Ихние ведь феминистки уже сами в мужиков давно превратились, а наши еще все-таки женщины.

— Если она действительно так счастлива с ним, — говорю я, обращаясь к Татьяне, — чего она тогда, спрашивается, звонит тебе каждый день?

— Ей просто по-русски поговорить хочется, — говорит Татьяна. — И вообще, я от многих слышала, что

американцы гораздо тактичнее наших, внимательнее, заботливее.

— А я от многих слышал, что они зануды, — говорит Алик. — Что с ними разговаривать не о чем. Что их ничего, кроме денег, не интересует.

— Не знаю, не знаю, — говорит Татьяна. — Может, просто с нами разные люди своими впечатлениями делились.

— Да нет, — говорит Алик. — Не в этом дело. Скорее всего, поначалу им всем нравится, а потом они постепенно понимают, что все равно что-то не так. Чего-то все-таки не хватает. Ну, конечно, он там душ принимает два раза в день. Голос, может, вообще никогда не повышает. Не пьет, не курит, занимается спортом. Вроде все при нем, а поживет она с таким годик-другой и взвост. Даже сама, может, и не понимает, отчего ей так тоскливо. Пытается разобраться и не может. Вроде все хорошо, а почему-то бежать от него хочется. Почему — непонятно. Но очень хочется.

— Это извращение, — говорит Татьяна. — Мазохизм называется.

— Может быть, — говорит Алик. — Однако факт: мы с Лешкой таких счастливых пар не знаем. Рано или поздно они все распадаются. А если и продолжают жить вместе, то в муках.

— Ну, это про многие пары так можно сказать, — говорит Татьяна. — Американцы тут ни при чем. Правда, Леш?

— Правда, — говорю я. — Люди-то все разные. Нечего всех одной гребенкой причесывать.

— Или, наоборот, одинаковые все, — говорит Татьяна, и с этим тоже нельзя не согласиться.

После похорон Лариса приглашает нас всех к себе. Хорошили Володю на еврейском кладбище за какие-то совершенно потусторонние деньги. У Ларисы такой суммы не было,

и нам, естественно, всем пришлось скинуться. Больше всех — полторы тысячи — дали Эдуард с Алсеной. Они вообще все последние дни от Ларисы не отходили, ездили с ней повсюду, помогали бумаги оформлять, с гробовщиками торговаться, с девчонками ее, близняшками, сидели или к себе их забирали, пока она по каким-то делам бегала. А дел у нее, конечно, было немало.

На кладбище Володину могилу выкладывают какими-то мелкими камушками. Пожилой человек в кипе уговаривает заплатить ему за то, чтобы он прочитал «Кадиш».

— Да он неверующий был, — говорит Володина теща. — Не соблюдал ничего.

— Это не имеет значения, — говорит человек в кипе. — Я много не прошу.

Деньги ему дает Пол Вулфовиц — тот самый доктор, который вылечил Розалию Францевну, но так и не смог спасти Володю. Я сначала удивляюсь, увидев его на похоронах, а потом понимаю, что и он тоже, наверное, свою долю вины за случившееся чувствует. Как и все мы.

Получив сотенную купюру, человек в кипе начинает заунывным голосом читать свою молитву, слов которой никто из нас не понимает. Может быть, поэтому, а может, и еще почему она производит на меня такое жуткое впечатление, что я отхожу в сторону. Татьяна присоединяется ко мне.

— Плохо это все как-то, — говорит она. — Неправильно. Не по-человечески. У тебя ниточки никакой нет случайно?

Я с недоумением смотрю на нее и мотаю головой, а потом лезу в карман и вынимаю оттуда тонкую резинку, которой почтальоны почту обвязывают, если ее много. Сегодня мы как раз несколько журналов и каталогов получили, вот резинка и осталась.

— Подойдет? — говорю я.

— Подойдет, — говорит Татьяна.

— А зачем тебе? — говорю я.

Не отвечая, она наклоняется к земле и поднимает две маленькие веточки. Скорее щепочки даже. Сложив их крестообразно, Татьяна стягивает середину резинкой, и когда, проводив человека в кипе, все направляются к выходу с кладбища, мы вдвоем подходим к могиле. Я стою и ловлю себя на мысли о том, что мне хочется вспомнить Володю, но ничего конкретного на память не приходит. Хотя сколько, казалось бы, у нас с ним было общего, сколько было выпито вместе, съедено, переговорено, а что вспоминать сейчас, что вообще думать обо всем этом — непонятно. Был человек и нет его больше.

Татьяна опускается на корточки и, слегка разрыв рукой насыпанный на могиле холмик, аккуратно укладывает туда перевязанные резинкой веточки и снова присыпает все землей. В этот момент я вспоминаю, как, встречая меня в Москве, куда я тогда приехал в первый раз после семилетнего отсутствия, Володя так сжал меня своими огромными ручищами, что чуть не задушил, и чувствую, что по моему лицу текут слезы.

Дома у Ларисы страшный беспорядок, потому что на днях им предстоит отсюда съезжать. Перезаложенный дом теперь достанется банку — хорошо хоть опять же Эдуард с Аленой подсустились, нашли квартиру недорогую в Сигейте, сами и задаток внесли, и плату за первый месяц. Стол этот роскошный тоже они организовали — полно закусок всяких, выпивки. Благородные они все-таки люди. Что бы о них ни говорили.

Алика с Милой на кладбище не было, и появляются они у Ларисы примерно через час после нашего приезда. Но самое удивительное — это то, что рядом с ними я вижу Кена. Он тоже выражает Ларисе соболезнования на своем безупречном русском языке, в котором только иногда проскальзывает едва уловимый акцент.

— Я не очень хорошо знал Володю, — говорит он, — но, по-моему, он был совершенно замечательным человеком.

Мы с Татьяной стоим в стороне от всех, и я вопросительно смотрю на нее.

— Ты понимаешь хоть что-нибудь? — говорю я. — Я ничего не понимаю.

— И что тебя в этом удивляет? — говорит Татьяна. — Поедем домой, а? Противно на все это смотреть. Да и Мурзик, наверное, голодный там. Скучает.

Кен звонит мне на следующей неделе, чтобы узнать, прочитал ли я наконец его книгу и что я о ней думаю.

— Замечательно все, — говорю я, хотя дальше вступления мне продвинуться так и не удалось. — Хотел бы что-нибудь покритиковать, да нечего. Безупречная работа.

— Я рад, что тебе понравилось, — говорит Кен. — Может, ты рецензию на нее напишешь?

— Для «Еврейского базара»? — говорю я.

— Ну да, — говорит Кен. — Если хочешь, могу тебе даже интервью дать. Эксклюзивное. Только пообещай про личную жизнь вопросов не задавать.

— А что, так плохо все? — говорю я.

— Да нет, — говорит он. — Почему плохо? Наоборот, хорошо. Как ты думаешь, уйдет она от него?

— Откуда я знаю? — говорю я. — А она что, обещает уйти?

— Обещает, — говорит Кен. — Но я не знаю, верить мне ей или нет.

— Разве есть основания не верить? — говорю я.

— Не знаю, — говорит он. — Я вообще еще плохо ее знаю. Даже месяца ведь не прошло с тех пор, как познакомились. Но все равно мне кажется, что я именно ее всю жизнь искал и ждал.

— Кажется? — говорю я.

— Что, разве так нельзя сказать по-русски? — говорит он.

— Нет, почему же? — говорю я. — По-русски все, что угодно, можно сказать. Но если ты не уверен, так, может, и не нужно ничего этого.

— Ты меня неправильно понял, — говорит Кен. — Я уверен. Я никогда так уверен не был, как сейчас.

— Ну, если уверен, тогда хорошо, — говорю я. — Если уверен, тогда это совсем другое дело.

Алик заваливается, как всегда, без звонка. То, что мне завтра сдавать большую работу, за которую я еще практически не принимался, его совершенно не беспокоит.

— Вот скажи, — говорит он, когда мы усаживаемся за столом и разливаем по фужерам принесенную им «Столичную», лучше которой все равно на свете нет ничего. — Ну что, мне убить ее, что ли? Нам же не шестнадцать лет. Мы же взрослые люди. И не мавры какие-нибудь дикие. Не в Эфиопии, поди, живем.

— Нет, конечно, — говорю я. — Но я все равно не понимаю, как ты так можешь.

— А что мне еще остается делать? — говорит Алик. — Можно, конечно, скандалить, сцены устраивать. Так тогда она точно уйдет. А без нее — ты ведь знаешь — я не смогу.

— Знаю, — говорю я. — И все равно не понимаю. Разве сейчас она с тобой?

— Конечно, — говорит он. — Вот она домой возвращается вечером. Поздно иногда. Сашка спит уже. А я посуду всю перемыл. Ужин приготовил. Сижу — телевизор смотрю. Ни о чем не спрашиваю ее. Ничего не говорю.

— А она? — говорю я.

— И она тоже молчит, — говорит Алик. — Да и что говорить-то, если она без всяких слов все про меня знает? Накатим еще по одной?

— И долго так будет продолжаться? — говорю я, решительно закрывая фужер ладонью. — Долго ты так выдержишь, как ты думаешь?

— Какая разница? — говорит Алик. — Что там загадывать попусту? Другого выхода-то все равно ведь нет.

Так и не налив себе водки, он ставит бутылку обратно на стол и заворачивает крышечку.

— Ты прав, — говорит он. — Хватит на сегодня. А то напьюсь еще. Кому это надо?

Вечером Татьяна возвращается с работы вместе с Милой. Я, сославшись на полный цейтнот, ухожу в нашу так называемую гостиную, где стоит мой компьютер, но двери в этой комнате нет, поэтому какие-то обрывки происходящего на кухне разговора до меня постоянно доносятся.

— Ты же знаешь, сколько я терпела, — говорит Мила своим певучим, несколько манерным голосом. — Вся жизнь уже почти прошла. Сколько можно? Я же тоже живая.

— Ну что уж такого ты терпела? — говорит Татьяна. — Нормальный мужик. Любит тебя. Пьет в меру.

— Да, любит, — говорит Мила. — Ну и что? Я-то его не люблю. И не любила никогда. Ты же знаешь. Вышла за него когда-то из жалости. Вернее, по глупости. Вот так же, как ты, рассуждала. Любит меня. Нормальный. Умный. Программист. Пьет в меру. Все это очень хорошо, конечно, но любви-то все равно нет. А мне сорок уже. Что же, никогда ее у меня и не будет?

Я упорно пытаюсь сосредоточиться на переводе занудного делового договора, но мне это не удается.

— Может, я последний раз в жизни влюбилась? — говорит Мила. — Почему я должна от этого отказываться? Ради чего?

Татьяна что-то отвечает ей, но что именно — я не слышу. Да и что тут, собственно говоря, можно ответить?

Весь следующий день я провожу на диване за чтением книги Кена. В принципе мне трудно с ним спорить, потому что факты он все подобрал безупречно. Не придерешься. Тут

вам и путинская вертикаль власти, и его борьба с олигархами типа Гусинского и Березовского, и разгром НТВ, и назначение на ключевые посты старых коллег по «конторе глубокого бурения». Картина вырисовывается и впрямь какая-то жуткая, и поэтому свою рецензию я решаю назвать «В круге втором».

Я сажусь за стол, включаю компьютер, с трудом выдавливаю из себя несколько общих вводных фраз, потом переключаюсь на биографию Кена, рассказываю о том, как он ездил в молодости в Москву, как его любили там все, как ему хорошо там было. Нет, из этого серьезной рецензии не получится.

Я начинаю снова перелистывать книгу, пока не натыкаюсь на одно место, за которое, как мне кажется, можно будет зацепиться. «Россия — это женщина, — пишет Кен уже ближе к концу своего трактата. — Красивая, капризная, страстная. То есть, в отличие от западных феминисток, настоящая. И, как всякая настоящая женщина, она нуждается в настоящем мужчине, который возьмет ее силой и с которым она поэтому будет по-настоящему счастлива. Только такого мужчину — самца, воина, победителя — она будет любить и только ему она будет верна до гроба. А без него она обречена на вечные метания и шараханья из одной крайности в другую. На вечную неудовлетворенность и собой, и всем окружающим миром. Теперь представьте, что у этой женщины в руках не кухонная скалка, а баллистическая ракета с разделяющейся боеголовкой, и вы поймете, как и на какой основе должны строиться ваши с ней взаимоотношения».

Сильно написано. Молодец Кен. Мне нечего ему возразить. Хочется придумать какой-нибудь контраргумент, столь же веский и фундаментальный, но ничего не получается. Молодец, ничего не скажешь.

...— Сашку я ей все равно не отдам, — говорит Алик. — Дом пусть забирает, машину, все, что хочет. А Сашка со мной останется.

— Здесь Америка, — говорю я. — Здесь все законы на ее стороне. Разве что ты сможешь доказать, что она плохая мать и не в состоянии воспитывать ребенка.

— Да нормальная она мать, — говорит Алик. — Разве в этом дело?

Мы опять сидим на бордвоке и пьем нашу любимую темную «Балтику». Жара такая, что только что принесенное из холодильника пиво за несколько минут нагревается до состояния противной теплой жидкости. Поэтому пить его надо как можно быстрее. Чтоб не успело нагреться.

— Если хочешь, можешь какое-то время у нас пожить, — говорю я. — Татьяна не будет возражать — я уверен. Правда?

— Правда, — говорит Татьяна.

— Спасибо, — говорит Алик. — Но жилье-то я найду себе какое-нибудь. Не такая уж это проблема. Мне тут вроде работу предлагают, так что сниму я себе студию какую-нибудь.

— Здорово, — говорю я. — Если работа будет, то и все остальное устроится.

— Конечно, — говорит Алик. — Все в порядке будет. Пучком. Как сказал один фурункул другому: «Не дрейфь — прорвемся».

ВРАТА РАЯ

Тот вечер у Максима вылился-таки в страшный скандал.

Когда Игорь заканчивает излагать свою теорию inferнального поля, на какое-то время в комнате воцаряет-

ся полная тишина. Никто из нас не знает, что сказать и как вообще реагировать на услышанное. Вдруг с первого этажа доносится грохот бьющегося стекла и громкие крики. Мы, естественно, все бежим туда и застаем там следующую картину:

Максим и Илья стоят посреди комнаты. Судя по их лицам, они готовы вот-вот вцепиться друг в друга. Одна из двух хрустальных ваз, украшавших некогда стол, валяется на полу в виде множества осколков. Там же лежат и стоявшие в ней цветы.

— Пошел бы ты знаешь куда, — говорит Илья, обращаясь к Максиму, который нависает над ним всей громадой своего огромного корпуса. — Пошел бы добровольно. А то ведь я и помочь могу.

— Илюш, ты что? — говорит Максим. — Ты в своем уме? Я же от всего сердца, от всей души. Ты чего?

— Не надо, — говорит Илья. — Не надо ля-ля этого твоего вечного. Ты что, думаешь, я не понимаю? Не вижу ничего? Ты же тут все специально обставил вещами, которые отец из нашего дома забрал, когда к твоей матери уходил. Так что не надо мне ничего от тебя. Тут и так все мое. Вот это хоть.

С этими словами Илья берет со стола вторую вазу и поднимает ее высоко вверх.

— Я ее прекрасно помню, — говорит он. — Это отец маме на юбилей их свадьбы подарил. Мне пять лет тогда было. А потом забрал.

— Ты с ума сошел, — говорит Максим.

— Если ты свою вину передо мной загладить хочешь, — говорит Илья, — так попроси прощения по-человечески, а не устраивай мне тут балаган этот с цыганщиной по-американски.

— Да забирай ты эту вазу на здоровье. Мне не жалко, — говорит Максим. Получается у него, правда, как-то не очень убедительно.

— А мне и не нужно ничего, — говорит Илья и, широко размахнувшись, швыряет вазу в стоящую у стены стеклянную горку. Осколки летят во все стороны, окончательно разбивая мои надежды на то, что все заботы по устройству жизни Ильи и его семейства в Америке возьмет на себя его богатый сводный брат.

Больше всего я люблю ходить по Нью-Йорку с людьми, которые приехали сюда в первый раз. Сам я без ума от нашего города, считаю его самым красивым в мире, и поэтому мне так нравится смотреть, какое впечатление он производит на «новеньких».

На следующий же день после того, как Илья с семейством и прибившийся к ним Игорь чуть-чуть отоспались, я везу их в Манхэттен — показывать мои любимые места. В Нью-Йорке столько достопримечательностей — ничуть не меньше, чем в каком-нибудь Риме или Париже. Надо только знать, где их искать.

Первым делом мы, естественно, отправляемся смотреть на статую Свободы и Бруклинский мост, оттуда — к руинам Всемирного торгового центра, где постоянно толпятся туристы и просто любопытствующие. Потом — через Уолл-стрит и знаменитую биржу — я веду всех в Чайнатаун, то есть в Китайский квартал, раскаленные от июльского солнца мостовые которого уставлены всевозможными лотками и торговыми палатками. Здесь можно купить все, что угодно, и очень даже недорого. Мы перекусываем в уютной забегаловке, где нам дают по полной плошке риса с овощами и зеленый чай, и идем выше — В Гринич-Виллидж. Здесь, как всегда, жизнь бурлит и клочет, заражая энергией всех населяющих этот студенческий и богемный район. Погуляв по «Деревне», как мы ее любовно называем в нашей компании, побродив по ее таким похожим на европейские улочкам, мы на метро едем на 34-ю стрит — любоваться «Мэйсисом» и небоскребом Эмпайр-Стейт. Забравшись на его смотровую площадку,

мы останавливаемся в восхищении — от открывающегося оттуда вида перехватывает дух. Внизу лежит гигантский город, чуть подернутый маревом горячего, обжигающего кожу воздуха, а здесь дует приятный ветерок и почти прохладно.

— Добро пожаловать в столицу мира, — говорю я, обводя рукой расстилающееся под нами чудо света.

Мои спутники так потрясены увиденным, что от восхищения просто не находят слов. Мы фотографируемся на фоне манхэттенского вида. Я делаю пару снимков всего Илюшиного семейства, а потом еще несколько портретов каждого из них по отдельности. Ну и Игоря, конечно, тоже. Получается очень впечатляюще: их профили крупно на переднем плане, а фоном — украшенный небоскребами горизонт. Портрет Илюшиной жены Нины выходит особенно контрастным — из-за ее льняных волос и такой светлой, что она кажется почти прозрачной, кожи. Илья с его крупным, высоким лбом и по-ветхозаветному резкими чертами лица вписывается в пейзаж гораздо гармоничнее. Его сыновья, когда я заставляю их позировать, оба начинают корчить смешные рожи, что при такой композиции фотографий дает дополнительный комический эффект. А Игорь, наоборот, совершенно серьезен. Даже как-то слишком для его возраста. Его длинные темные кудри развеваются на ветру и заслоняют добрую половину Манхэттена.

От Эмпайр-Стейт мы доходим пешком до главного здания Публичной библиотеки, а оттуда на метро отправляемся в район, известный всем еще по фильму «Вестсайдская история». Там находится театрально-концертный комплекс «Линкольн-центр», в который входит и «Метрополитен-опера» с ее знаменитыми шагаловскими витражами. Илья всегда был большим меломаном, а к опере относится с каким-то чуть ли не священным трепетом, так что эта часть нашей экскурсии представляет для него особый интерес.

Впрочем, больше всего меня радует реакция на все его старшего сына — Димки. Одно удовольствие с ним по го-

роду ходить: все ему нравится, все вызывает полный восторг. И музыканты негритянские на улицах, и панки с их фантастическими прическами и татуировками, и подтянутая, целеустремленная толпа в деловых районах. Димка, кажется, готов был бы около каждой витрины останавливаться, каждый дом по часу разглядывать, в каждый магазин заходить. Все ведь впервые, все в новинку, все интересно. И я прекрасно понимаю его, потому что и сам испытывал такие же чувства, когда только приехал. Да и сейчас еще, несмотря на то, что восприятие с возрастом притупилось, многое в нашем городе вызывает у меня и восхищение, и изумление одновременно, и Димка, при всем своем юном двадцатилетнем возрасте, формулирует это совершенно точно.

— Самое классное здесь — это ритм, — говорит он. — Я ведь и по Европе поездить успел, но там отстой — сонное царство какое-то. А здесь энергия бешеная, такой напор отовсюду... Потрясающее ощущение. Ни с чем не сравнимое. Выше любой наркоты поднимает...

Последнюю фразу он произносит шепотом, оглядываясь на родителей — не слышат ли они его. Но мы с ним чуть оторвались от остальных, да и они сами слишком заняты разглядыванием достопримечательностей, чтобы прислушиваться к нашему разговору.

От «Линкольн-центра» мы берем резко на восток и, посмотрев на «Дакоту» — дом, в котором жил и возле которого был убит Джон Леннон, — пересекаем Центральный парк и выходим к музею «Метрополитен». От него рукой подать и до «Гуггенхайма», и до особнячка с потрясающей художественной коллекцией Фрика. Впрочем, на осмотр картин у нас сил уже нет — и без того достаточно находились за день.

— Сюда вы и без меня как-нибудь придете, — говорю я. — А еще лучше — с Татьяной. Она может совершенно профессиональную экскурсию для вас провести.

Все соглашаются, а Илья говорит:

— Завтра куда еще пойдем, Леш?

Я несколько теряюсь, но стараюсь не показать вида и говорю:

— Ну, можно в «Рокфеллер-центр» сходить. Но там на Рождество интересно, когда елку устанавливают. А сейчас — не знаю. «Музей современного искусства» в Квинс перенесли... Да, еще Финансовый центр есть. Я сам, правда, не был, но говорят, там зимний сад потрясающий. Можно еще в зоопарк съездить, но это в Бронксе. Страшновато немного.

— И все? — говорит Илья.

Мы стоим возле музея «Метрополитен», и я упорно думаю, что еще можно предложить моим подопечным в качестве развлечения. Ничего толкового в голову не приходит, и это постепенно начинает меня раздражать и даже злить.

Вдруг я замечаю спускающуюся по ступеням Дашу Зарецкую и вспоминаю, что у нее здесь практика. Как будущий искусствовед она в летние месяцы в «Метрополитене» добровольцем работает. Меня Даша, кажется, не видит, хотя идет прямо на нас. Вид у нее, как всегда, несколько отсутствующий или, может быть, просто погруженный то ли в себя, то ли в ту музыку, которая играет в ее плеере. Интересно, что такая красивая девушка все время слушает?

— Еще есть замок средневековый. «Клойстерз» называется, — говорю я Диме. — Его из Франции по камешку привезли и здесь восстановили. Можем туда сходить. В нем и музей тоже есть. С гобеленами французскими. Это далековато, правда, — в Вашингтон-Хайтс, но все равно можно съездить. А вечером пойдем посмотреть, как Таймс-сквер и Бродвей рекламой освещены. Вы такого никогда в жизни не видели. Очень красиво.

Даша буквально натывается на нашу группу.

— Ой, дядя Леша! — говорит она, снимая наушники. — Вы откуда здесь? Вы же по музеям не ходите.

— Вот родственникам Нью-Йорк показываю, — говорю я и начинаю всех их между собой знакомить.

— Если в Нью-Йорке есть такие красивые девушки, то мне он еще больше нравится, — говорит Дима, и тут я замечаю, что Игоря рядом с нами больше нет, хотя, в какой момент он успел исчезнуть, я так и не понимаю.

«Показалось, — шепчет про себя Даша, стоя на самом краю платформы метро. — Показалось. Конечно, показалось. Не может его здесь быть. Ни при каких условиях не может. Показалось».

В тоннеле уже начинает греметь приближающийся поезд. Вскоре на рельсах появляется слабый отблеск его фар. Шум нарастает. Свет становится все ярче. Рельсы манят, как магнит. Один шаг. Всего один только шаг, и все проблемы решены. Раз и навсегда. Больше ничего этого не будет. Ни тоски этой непонятно отчего, ни холода в сердце, ни фантазий дурацких, ни мыслей, скачущих в бесконечной чехарде неизвестно зачем и куда.

Всего один только шаг вперед, и все будет ясно, просто и понятно. Раз и навсегда.

— Гнилое это место, поганое, — говорит Давид. — Где угодно лучше работать, только не там. Уж можешь мне поверить, я три года в этом гадюшнике отбарабанил, а теперь хасидов в Манхэттен вожу — и это намного лучше и приятнее.

Давид Рипштейн — старинный Илюшин знакомый, вместе с которым они когда-то «Эхо столицы» создавали. Он приехал в Нью-Йорк лет пять тому назад и довольно быстро устроился редактором в газету «Честное русское слово», куда теперь и Илья намеревается обратиться. Все дело в том, что вчера мы со всей его семьей ходили в НАЙАНу¹, где ведущий, встретив нас с очаровательной улыбкой, быстро

¹ Организация, ответственная за размещение беженцев.

и доходчиво объяснил, какая помощь оказывается вновь прибывшим. Курсы английского языка, фудстемпы¹, пособие, даже «медикейд»² бесплатный. И это все сразу, прямо через несколько дней после приезда.

Но Илья, подумав несколько секунд и, видимо, сопоставив услышанные цифры с ценами в магазинах, платой за квартиру, которую мы им сняли, стоимостью проезда в метро и прочими необходимыми расходами, спросил:

— А на что же я буду жить?

— This is a very good question, — опять широко и на удивление дружелюбно улыбнулся ведущий, на загорелом лице которого моментально отразились сострадание и понимание всей сложности ситуации.

— Это очень хороший вопрос, — мгновенно перевел я. Илья не нуждается в переводчике, и я с ним пошел скорее за компанию, чтобы он не робел в присутственном месте, но у меня уже автоматизм такой — все на свете с одного языка на другой переводить.

В общем вышли мы из НАЙАНЫ обескураженные. Было совершенно понятно, что Илье надо срочно искать работу, — вот он и вспомнил про Давида. Так что теперь мы все сидим в Илюшиной квартире и едим на скорую руку пожаренные Татьяной котлетки, запивая их кошерным вином фирмы «Манишевиц», несколько бутылок которого принес с собой Давид. И откуда только они у него в таких количествах берутся? На работе бесплатно выдают, что ли? Давид вообще оказался на редкость симпатичным человеком. Поначалу, правда, смущался немного, но после третьего тоста разошелся. А может, тема его задела.

— Да ведь это старейшая газета эмиграции, — говорит Илья. — Солидное учреждение.

¹ Продовольственные талоны.

² Медицинская страховка.

— Брось, — говорит Давид. — Что там солидного? Они полвека на четырех полосах выходили, причем две из них занимали похоронные объявления.

— Это разве могло окупаться? — говорит Илья.

— Нет, конечно, — говорит Давид. — Не могло и не окупалось никогда. Но это никому и не нужно было. Там тогда главным редактором очень шустрый мужичок был, Яков Соломонович Цимес. Он в Америку из Парижа приехал. Письма рекомендательные привез. Якобы он секретарь одного очень знаменитого писателя. Не буду имени его сейчас называть, чтобы не тревожить прах покойного понапрасну. Ну, короче, приехал Яков Соломонович в Нью-Йорк и сразу через «Честное русское слово» ко всей эмиграции обратился. Погибает, мол, солнце русской словесности. Умирает во Франции с голоду. А здесь люди не бедные жили. Скинулись — кто сколько мог. Вот только до писателя погибающего из всего этого ни единого цента не дошло. Правда, антисемит он был лютый, так что мне его и не жалко ни капли. Да и не о нем речь сейчас.

Давид разливает нам по рюмкам вино, от которого у меня уже начинает болеть голова, и продолжает:

— Яков Соломонович благодаря этой афере стал членом редколлегии «Честного русского слова». Его идея так всем понравилась, что ему тут же поручили создать Фонд искусств. Решили, наверное, что если один раз так легко бабки срубили, то грех будет не повторить. Короче, начали они собирать деньги в помощь голодающим русским писателям и художникам. Такие проникновенные статьи писали, что люди им последнее несли. А вот куда денежки-то эти все шли — никому не известно. Тут и третья волна эмиграции как раз подтянулась. Много взрослых, авторитетных людей приехало. Стали бизнесы разные открывать. Кто — ресторан, кто — мебельный магазин, кто — бензоколонку. К этому моменту Яков Соломонович уже в годах был. В редакции редко появлялся — так, только

секретаршу за попку ущипнуть. Всеми делами заправляло уже новое поколение.

— Трахтенберг, — говорю я, потому что знаю, кому принадлежит «Честное русское слово».

— Совершенно верно, — говорит Давид. — Валера Трахтенберг, который совсем мальчишкой сюда из какого-то кишлака молдавского приехал, покрутился немножко, видит, образования у него ноль, профессии — никакой, а тут сенильный бездетный старичок ищет, кому бы дела передать. Валера, надо отдать ему должное, парень был энергичный и предприимчивый. Когда третья волна чуть-чуть поднялась, он сразу понял, как своего благодетеля можно обути. Скажем, за полстраницы рекламы в газете брали тогда двести долларов, что по тем временам были приличные деньги, а он приходил прямо к хозяину ресторана какого-нибудь или мебельной базы и говорил: «Сема, только тебе, только по старой дружбе, за столы. Но наличными. И прямо сейчас». Как соглашался Сема, Зяма, видя рекламу своего конкурента на страницах единственной в те дни русскоязычной газеты, уже сам бежал к Трахтенбергу со столычником в руках. С малого начинали, с ерунды. Но через пару лет у Трахтенберга уже свой кабинет был, где он в кожаном кресле сидел.

— Откуда ты все это знаешь? — говорит Илья.

— Я когда туда пришел, еще старожилов некоторых застал, — говорит Давид. — Они мне много понарассказали.

— Когда же все это было? — говорит Татьяна.

— В начале восьмидесятых, — говорит Давид. — Когда Довлатов «Новый американец» открыл. А в «Честном» этом «слове», как назло, ни одного профессионального журналиста не было. Старички одни, которые новости из американских источников сдирали. И вот, представляете, выходит газета, а на первой полосе главный заголовок, огромными такими буквами: «В Калифорнии трясется земля». И так каждый день. Да и сейчас там все то же са-

мос. Вот на днях буквально заголовков видел: «Израиль взялся за ХАМАС». И как не стыдно только? Ведь эту газету и женщины, и дети читают.

Ну, в общем, когда «Новый американец» не без помощи Трахтенберга развалился, все, кто личными нападка-ми на Якова Соломоновича запятнать себя не успел, переметнулись в «Слово». С тех пор и новые лица появились, конечно, но все равно — типаж один и тот же. Понимаете, там они всю свою сознательную жизнь Советскую власть воспевали и перед коммуняками выслуживались, а здесь с тем же пылом американскую власть славословят, а все русское помоями поливают. Все присмы те же самые. Вся стилистика. Как будто газету «Правда» какого-нибудь сверхзастойного 1983-го года читаешь, только с обратным знаком. И вообще, на примере «Честного русского слова» можно прямо теорию эволюции Дарвина изучать. Там такая борьба за выживание идет, что остаются только самые-самые. Те, кто всех остальных сумел загрызть.

— А главный там кто? — спрашивает Илья. — Если я решу все-таки туда пойти, к кому мне обращаться?

— Трахтенберг, — говорит Давид. — Он поначалу на должность главного редактора брал кого-нибудь, но никто не уживался. Так что теперь он сам главредом стал. Видно, решил, что достойнее себя, любимого, все равно никого не найти. У него, правда, с русским языком не очень. По сравнению с его словарным запасом у Людоедки Элочки прямо-таки лексикон Пушкина был. Но понахватался он, конечно, за годы общения с творческой, так сказать, интеллигенцией. Какую статью ни прочтет, реакция всегда одна и та же: «Нет, это все-таки не Кафка, е... твою мать».

— Но там же и его статьи печатаются, — говорит Татьяна. — Как же он их пишет?

— Да ничего он не пишет, — говорит Давид. — Ребята за него кропают. Причем всегда видно, кого именно на этот раз крайним назначили. Да и вообще — в основном все

статьи под подписью Трахтенберга — это все тот же старый, но по-прежнему работающий мотив: подайте денег на благородное дело. Вот анекдот вам расскажу, хотите?

Не дожидаясь ответа, Давид опять разливает нам по рюмкам вино и продолжает:

— Посетителю в еврейском ресторане приносят счет. Он углубляется в его изучение, и постепенно у него глаза вылезают на лоб. Он подзывает официантку и говорит:

«Послушайте, вы мне чего принесли? Вы только посмотрите! Закуска — сто долларов. А в меню было написано — двадцать».

«Вы не волнуйтесь так, — отвечает официантка. — Это у нас традиция такая. Посетители платят небольшую наценку в пользу Израиля».

«Ну ладно, — говорит посетитель, — я не против Израиля. Но это что такое? Рыба фаршированная — триста долларов! А в меню не так было. С ума можно сойти!»

«Я же вам объяснила уже, — не теряет терпения официантка. — Вы что, не хотите оказать Израилю небольшую финансовую помощь? Вы что, не знаете, какая сейчас тяжелая ситуация в мире?»

«Да я не против в принципе, — говорит посетитель. — Я все понимаю. Но ведь это уже все границы переходит. стакан вина — триста пятьдесят долларов. Нет, это уже слишком! Кто у вас тут главный? Позовите его немедленно!»

«Неугомонный вы какой. Ну ладно, как хотите, — говорит официантка и, повернувшись в сторону подсобки, кричит громким голосом: — Израиль Яковлевич, подойдите сюда, пожалуйста. Вас клиент спрашивает».

Мы все смеемся, а Давид допивает вино и говорит:

— Плохой анекдот. Антисемитский. Но вы меня простите, пожалуйста, — уж больно он к данному случаю подходит. Главный бизнес Трахтенберга — это сбор денег с читателей. То для Израиля, то в помощь пострадавшим от

терактов, то еще на что-нибудь. И все точно так же, как раньше его ментор Соломон Моисеевич делал. Душещипательные призывы, фамилии жертвователей в газете печатаются, а куда денежки идут — никто не знает. Поэтому и газета их на грани разорения.

— Как это на грани разорения? — говорю я. — Не может такого быть.

— Может, — говорит Давид. — Они сами виноваты. Трахтенберг просто все сделал для того, чтобы его «Слово» никто не читал. Сам он, едва раскрутился, сразу же решил, что он принадлежит к буржуинам и должен поэтому отстаивать их интересы. А кто читатели-то этого «Слова»? Подавляющее большинство — это те, кто в американскую жизнь плохо вписался, английский не выучил — иначе они бы другие источники информации нашли, посолиднее. То есть речь идет в первую очередь о получателях вэлфера, пенсий и прочих пособий, каковые «Честное русское слово» постоянно требует отменить или в крайнем случае существенно сократить. Другими словами, они сами же просят правительство лишить их читателей средств на покупку их газеты. Очень умно и очень оригинально. Разве нет?

— Наверное, вы правы, — говорю я.

— Плюс к этому называются они «Честное русское слово», а Россию ненавидят так, что любой Бжезинский у них поучиться может, — говорит Давид. — На впавшего в старческий маразм Рейгана молились, твердили вслед за ним «империя зла», «империя зла». А у Рейгана такая мощная экономическая программа была: налоги сократить, а военные расходы увеличить. Он говорил, что от этого самые богатые буржуины еще богаче станут и с остальным народом поделятся. Этой политикой он тогда всю страну разорил, и если бы не глупость Горбачева и не предательство верхушки КПСС, то еще неизвестно, чем бы это противостояние с Америкой закончилось. Может, пару лет еще

всего надо было продержаться, и Америка лопнула бы сама по себе. А эти на Россию весь мир науськивали. Бомбить призывали. Под видом борьбы с коммунизмом якобы. Вы знаете, я и сам к русским неоднозначно отношусь. Немало от антисемитизма пострадал. Но надо же меру знать какую-то. Вы же к русским читателям обращаетесь — что же вы их Родину, а значит, и их самих все время поливаете так?

— М-да, — говорит Илья. — А у нас в Москве совсем другое впечатление о них обо всех было. Я, по правде сказать, очень даже рассчитывал, что туда устроюсь.

— Ну смотри, — говорит Давид. — Дело твое. Хозяин, как говорится, барин. Только, по мне, лучше уж я буду хасидов на работу возить. Они люди мирные, спокойные. Не трогают меня. Не обижают. Вот вино на праздники дарят. Ну давайте, кстати, еще по одной. Лэ хаим!

— Прочитал я, Леш, рецензию твою в «Кинозале», — говорит Алик. — На «Копейку» сорокинскую. Хорошая рецензия. Мне понравилась. Вот только зачем ты Россию Россиянией там назвал? Некрасиво как-то получается.

— Почему некрасиво? — говорю я. — Если люди выбрали себе такого президента, который обращается к ним «Дорогие россияне», значит, и страна их должна называться Россиянией. Что тут некрасивого?

— А как же ему еще обращаться к электорату? — говорит Алик. — Это же многонациональное государство. Там ведь не только русские живут. Нельзя же других обижать.

— Нельзя, конечно, — говорю я. — Но тогда и Россия тут ни при чем. Россия — это страна русских. А у россиян своя страна — Россияния.

— И все же, как ты предлагаешь обращаться к народу? — говорит Алик.

— Да я никак не предлагаю, — говорю я. — Раньше такие обращения словами «Братья и сестры» начинали. Ничего, нормально было.

— Так тогда война была, — говорит Алик.

— А сейчас мир? — говорю я.

Алик молчит, и я меняю тему:

— Как вы там с Милой-то? Разобрались?

— Не знаю, — говорит Алик. — Трудно сказать. Она, по-моему, и сама не знает, чего она хочет.

— Это она тебе так сказала? — говорю я.

— Нет, — говорит он. — Это я сам так думаю.

Мы идем по Кони-Айленд-авеню по направлению к Кингс-Хайвэю. Игорь тут об одном одолжении нас попросил. Собственно говоря, единственным, кто извлек хоть какую-то пользу из встречи с Давидом Рипштейном, оказался именно он. Давид в Нью-Йорке во всех кар-сервисах переработал и порекомендовал Игорю одно, по его словам, наименее отвратительное место, где, как он выразился, «обманывают, конечно, но в разумных пределах». В чем там обман состоит, я, правда, так и не понял. На мой взгляд, все честно поставлено. Диспетчер говорит, куда ехать. Приезжаешь, забираешь пассажиров, отвозишь их, куда им там надо. Выручку делишь с базой: 60 процентов им, 40 — тебе плюс чаевые. Где тут обман, не знаю. И взяли они Игоря сразу. Попросили только, чтобы кто-нибудь поручился за него. Вот мы с Аликом и топаем теперь по жаре стоградусной¹. Машину-то свою он, наверное, Миле оставил. Как, впрочем, и все остальное. А сам неподалеку от меня теперь живет. Комнату снимает в общежитии одном для неприкаянных мужиков. Его у нас на Брайтоне «Домом, где разбивается маца» называют. Это потому, что мужики там все одинокие, а подруги их в основном на

¹ Это по Фаренгейту американскому сто градусов, а по-нашему, по Цельсию, тридцать три — тридцать четыре градуса.

фабриках по изготовлению мацы работают. Ну и таскают ее оттуда — своих возлюбленных подкормить немного. Алик там, по-моему, здорово в коллектив вписался, хотя и не признается в этом ни за что в жизни.

— А вообще, ты знаешь, — говорит он. — Я за Сашку беспокоюсь.

— В смысле? — говорю я.

— Ну, вдруг этот Кен извращенец какой-нибудь. Тут ведь это повально.

— Прямо-таки повально, — говорю я.

— Ты что, газет не читаешь? — говорит Алик. — Не знаешь, чего в стране делается? Только на этой неделе целую сеть таких педофилов накрыли. Причем самое интересное, что они собственных детей в непотребных позах фотографировали и по Интернету рассылали. А некоторые еще и обменивались детьми своими друг с другом.

— Кен-то тут при чем? — говорю я.

— Ну, кто его знает? — говорит Алик. — По-моему, англосаксы сплошняком такие. От этого у них и проблемы все. Сам посмотри: с кем ни поговоришь — обязательно прямо с самого раннего детства растленный. А потом все удивляются, что они варвары, бомбят всех подряд, бабы у них все феминистки. А какими им еще с такими мужиками быть? Вот если бы тебя твой родной дедушка в коляске прямо изнасиловал, еще неизвестно, что бы из тебя получилось.

— А так что из меня получилось? — говорю я и вижу, что мы уже подходим к кар-сервису «Boris Cars», который и является целью нашего изнурительного путешествия.

— Ладно, — говорю я, — давай сейчас приличными людьми прикинемся. А то Игоря на работу не возьмут, и он так и останется с Ильей жить. А этого, по-моему, никому не надо. Ни ему, ни им. Не для этого они сюда приехали, понимаешь?

...Из кар-сервиса мы выходим уже вместе с Игорем и Димкой, которые, как оказалось, ждали нас там вместе. Прошло все хорошо. Кажется, мы с Аликом произвели на хозяина, по имени которого и названа эта контора, вполне приличное впечатление. Он, естественно, сразу же понял, что имеет дело не с проходимцами какими-то, а с интеллигентными людьми. Ну и залог мы, разумеется, внесли — в размере пятисот долларов. Плюс он копии с наших водительских прав снял. На тот случай, если Игорь, несмотря на все наши самые положительные рекомендации, все-таки смоемся с выручкой или вообще машину угонит.

— Как ты тут работать-то собираешься? — спрашивает у Игоря Алик. — Ты же третий день в Нью-Йорке. Ни города не знаешь, ни языка толком.

— А карта на что? — спокойно пожимая плечами, говорит Игорь. — Да и потом, тут и так понятно все. Сплошные параллели-перпендикуляры. Заблудиться при всем желании невозможно. Поезжу немного, и через неделю все совсем ясно станет.

— Да, действительно, — говорю я. — Удобно все-таки тут все спланировано. В Манхэттене особенно.

— В зоопарке, где все на клетки разбито, тоже удобно спланировано, — говорит Алик. — А еще удобнее на шахматной доске жить и передвигаться только по прямым линиям. Шаг в сторону — расстрел.

— А я тоже сегодня на работу устраиваться ходил, — говорит Димка. — Не знаю еще, правда, возьмут ли. Магазин один прикольный. Компакт-дисками и видео торгуют. Ребята там такие молодые работают. Да и музыку с кино я очень люблю.

— Ну, вот и славно, — говорю я. — Пока человек здесь трудиться не начал, он Америки и не нюхал еще. Постоянное место жительства с первой работы начинается. До этого вы еще в гостях. А вот как на работу выйдете — считайте, все, уже приехали.

...«Показалось, — шепчет Даша, укрываясь с головой цветным пледом, который они с родителями купили в прошлом году, когда ездили на экскурсию в индейскую резервацию. — Показалось. Его ни за что не впустили бы сюда. Он одинокий, молодой, да еще с таким прошлым. Таких в американском посольстве сразу же заворачивают. Боятся, что они останутся здесь. А кому они тут нужны? Там, в посольстве, опытные люди сидят, они каждый фокус по тысяче раз уже видели. Их не проведешь. Не обманешь».

Несмотря на то что солнце уже давно зашло, жара на улице не просто не спадает, но и, как кажется, с наступлением ночи только усиливается. Может быть, это потому, что раскаленные каменные здания начинают отдавать накопленное за день тепло и нагревают воздух еще больше. Жарко ужасно. Настолько, что даже уютно жужжащий кондиционер не спасает. Очень жарко. И все равно под пледом лучше, чем без него. Надежнее. Спокойнее. Под пледом не страшно. Вернее, страшно, но не так.

«Что значат эти слова? — думает Даша. — Если он говорит: «Я тебя люблю», что это значит? Не вообще, а для него. Именно для него. Что он хочет этим сказать? Глупо звучит, но по-другому не получается. Игорь тоже говорил, что любит, но в этом был какой-то другой смысл. Не такой, как у Грега. И я ему говорила: «Я тебя люблю», а что это значило? Разве я знала? «Я» — понятно. «Тебя» — тоже. А «люблю» — что это такое? Я собаку нашу Леди любила, но она умерла, когда я в пятом классе училась. Родители меня любят. И бабушка. Добра мне хотят. Чтобы у меня жизнь нормальная была. Как у всех. А я? Я кого люблю? Да и они, может, просто так говорят. Потому что так положено. Или надеются, что, когда состарятся, я о них заботиться буду. Нельзя, наверное, про них так думать. Они хорошие все. Но на работу эту я все равно пойду. Грег считает, что мне не надо работать, что он достаточно по-

лучает. И бабушка говорит, что деньги нам не нужны. А я все равно пойду. Назло им всем».

Даша протягивает руку к лежащему рядом с кроватью плееру, надевает наушники, нажимает кнопку «Play». Билли Холлидей что-нибудь знала о любви? Понимала, о чем она поет? Или опять — просто слова? Красивые, конечно, но без всякого смысла и содержания? Все кого-то любят, и я должна. А что это значит? Что я хочу всю жизнь с ним прожить, детей ему родить, дом купить совместными усилиями, в пенсионный фонд регулярные отчисления делать? Или что я умереть за него готова? А он за меня? Вот тогда это настоящая любовь. И если кто-то из нас ее предал, то достоин смерти. А что значит — предал? И почему смерти обязательно? Когда Игорь так говорил, он не мог ведь буквально это понимать. Он же не сумасшедший все-таки. Что бы там мама с бабушкой ни говорили, он же не сумасшедший.

Даша опять натягивает плед и сворачивается под ним калачиком. «Показалось, — уговаривает она себя. — Показалось. Надо заснуть. Надо постараться заснуть. Побыстрее заснуть бы. Показалось. Конечно, показалось».

СКОВАННЫЕ ОДНОЙ СЕТЬЮ

— Брайтон, Брайтон, кто тебя усеял потными телами? — говорит Алик, раздеваясь до плавок и сбрасывая свою одежду на большой плед, который мы с Татьяной принесли из дома.

Суббота, жара страшная, и наш знаменитый пляж действительно забит так, что по нему невозможно пройти, не наступив кому-нибудь на руку или голову. Летом в выходные, да еще в такую погоду, сюда съезжается практически весь Бруклин — то есть все те, кому по тем или иным при-

чинам не удастся вырваться из города. При повальной, казалось бы, автомобилизации населения таких людей оказывается на удивление много. Причем не только наших, которые, конечно, преобладают, но и американцев с их включенными на полную громкость радиоприемниками и магнитофонами, из которых доносится совершенно адская — как по громкости, так и по ритмам — музыка.

Алик с Татьяной направляются к океану, а я, поскольку сильно в детстве перекупался и с тех пор ненавижу все мокрое, остаюсь сторожить наши вещи и разглядывать окружающих. Зрелище это, надо прямо сказать, не для слабонервных. Особенно колоритны наши непосредственные соседки, судя по всему, представляющие три поколения прекрасной половины одной семьи — то есть бабушка, дочка и внучка. Самая старшая из них — довольно полная, можно даже сказать, тучная женщина — наверное, недавно вышла из воды, потому что она стоит, возвышаясь над плоским пляжным пейзажем, завернутая в большое махровое полотенце, раскрашенное в цвета американского флага. Задрапированная этим звездно-полосатым узором, ее массивная фигура производит очень сильное впечатление и в какой-то степени даже символична. Ее дочка, наоборот, невысокого роста и худенькая, похожая на щуплую мышку, с завитыми, жидкими, давно и совершенно бесповоротно вытравленными волосами и столь же выразительным лицом, — возится с маленькой, лет двух или трех, девочкой, снимая с нее детский купальничек. Судя по всему, отношения между двумя старшими женщинами находятся не в самой лучшей своей фазе, потому что разговор между ними ведется на весьма повышенных тонах.

— Он из тебя в Америке старуху сделал, — говорит старшая. — Он тебя челки лишил. Посмотри, на кого ты стала похожа. А теперь он же тебя замухрышкой называет.

— Мама, при чем тут он? — говорит та женщина, которая помоложе. — Я от челки сама отказалась, когда бере-

новые знакомства завести, для этого существуют форумы и так называемые «chat rooms». Наши соотечественники их «чатами» называют с соответствующим производным глаголом «чататься».

— А «чат» и «форум» — это разве не одно и то же? — спрашивает Татьяна.

— Нет, — говорит Алик. — Форум — это практически та же почта, но только письмо твое не отправляется какому-то одному адресату, а вывешивается для всеобщего, так сказать, обозрения, и кто угодно может на него ответить. И ответа этого иногда днями ждать приходится.

— И что в этом такого интересного, что ты три дня, вместо того чтобы работу искать, свои письма для всеобщего обозрения вывешивал? — говорит Татьяна.

— Это невероятно увлекательное занятие, — говорит Алик. — Во-первых, знакомишься с новыми людьми, вступаешь с ними в разговоры всякие. А во-вторых, общение совершенно другое получается. В глаза человеку обычно трудно сказать, что он козел, — вдруг он тебе в ответ табло начистит? А в сети в этом смысле можно совершенно безопасно свои мнения по любому поводу высказывать. Ну, напишут тебе что-нибудь нецензурное. Ты в ответ что-нибудь еще позабористее. Вот и получится у вас дискуссия. Только по-интеллигентному все. Без мордобоя.

— А «чаты»? — говорит Татьяна.

— «Чаты» по-своему даже еще интереснее, — говорит Алик. — Там все вообще в реальном времени происходит. Несколько человек подключаются одновременно к одной так называемой «комнате» и болтают там друг с другом. Что ни скажешь — ответ моментально приходит. Там теперь все и женихов-невест себе ищут. А еще системы «instant messages» есть. Самая популярная — ICQ — в народе «аськой» называется.

— Представляю, — говорит Татьяна. — Заходишь ты в такую «комнату». Знакомишься там с кем-нибудь. Она

говорит, что ей двадцать шесть лет. Что она блондинка с длинными ногами и формами девяносто — шестьдесят — девяносто. Договариваетесь о встрече. Ты приходишь и видишь перед собой каракатицу на кривых ножках в предпенсионном возрасте. Или вообще мужика какого-нибудь лысого. Вот тебе и жених с невестой.

— Да, в сети все бывает, — говорит Алик. — Но все равно на нее подсаживаются, как на иглу, или еще хуже. Вон даже Илья ваш. Вы ему только что компьютер подарили, а он уже как приклеился к нему. Да и все семейство его тоже. Вместе с Игорем этим ненормальным, который почему-то так и живет у них. Днем работает, а по ночам у компа сидит. Вы же сами мне рассказывали, что Илья жалуется. И вообще, почему он до сих пор там живет?

— Откуда я знаю? — говорю я. — Он им за одну комнату платит. И им так легче, и ему.

— И все же я не понимаю, — говорит Татьяна, обращаясь к Алику. — Что ты во всем в этом находишь?

— Напрасно не понимаешь, — говорит Алик. — Там же такая иллюзия свободы. Ты можешь быть кем угодно. Что угодно о себе рассказывать. Взять, например, фотографию Тома Круза и рассылать ее всем, уверяя, что это ты. Ну, не Тома Круза, конечно, а кого-нибудь менее знаменитого, но столь же для женского глаза привлекательного. И всегда найдутся такие, которые тебе поверят.

— А смысл какой? — говорит Татьяна. — Если ты и снимешь там кого-нибудь, то при первом же реальном знакомстве обман все равно ведь раскроется.

— Это когда еще он раскроется, — говорит Алик. — А пока можно себя Томом Крузом представлять. И говорить всем, что ты крупный банкир, на «Ламборгини» едешь, в пентхаузе с окнами на Центральный парк живешь. Игра такая, понимаешь? Только ты не сам с собой в нее играешь, а с другими, что в миллион раз интереснее.

Мне становится скучно, и я невольно опять прислушиваюсь к разговору наших соседок. Тем более что происходит он снова на тонах несколько повышенных.

— Ну, к кому я от него уйду, мама? — говорит та женщина, которая помоложе. — Ты сначала найди мне кого-нибудь, а потом уйти предлагай.

— Да к кому угодно уходи. Хоть вот к этому, — говорит ее мать и, полагая, что я их не слышу, кивает головой в мою сторону. — Даже с таким лучше будет, чем с твоим.

— Ты что, мам, смеешься? Ты что, смерти моей хочешь?

В этот момент ее собственная дочурка опять начинает хныкать, причем гораздо громче, чем в прошлый раз.

— Мишелка, прекрати, — говорит молодая женщина, но девочка не слушает. Хныканье постепенно переходит в плач, заглушающий даже голос Алика, который так и продолжает расписывать Татьяне все прелести общения через компьютер.

— Мишелка, замолчи сейчас же! — кричит ее мама. — Вот дяде тебя сейчас отдам.

Во второй раз этот прием не срабатывает, и несчастная девочка продолжает заливаться слезами и надирать легкие.

— Прекрати немедленно!

— Да что ты орешь-то на нее? — вступает та женщина, что постарше. — Кто так обращается с ребенком? Ты посмотри — она же мокрая вся.

Мать разворачивает полотенце, в которое, как в кокон, была завернута Мишелка, и даже мне с моего места видно, что с ней произошел несчастный случай. Причем если по запаху судить, то по полной программе — в самом центре полотенца красуется огромное коричневое пятно. Теперь ясно, чего она так заливалась. Кому такое понравится? Я бы в ее ситуации, может, еще громче кричал бы. Впрочем, мне и без всякой на то причины иногда заорать хочется. Просто так. Как сказала бы Татьяна, от большого ума.

...Поздняя ночь. Родители и бабушка уже давно спят, а Даше заснуть сегодня так и не удалось. Она сидит перед экраном компьютера и собирает материалы к курсовой по своему любимому Караваджо. Все-таки с появлением Интернета такие задачи значительно облегчились, особенно для тех, кто владеет несколькими языками. А итальянский Даша, как будущий специалист по эпохе Возрождения, просто обязана была выучить. Она рассматривает новый каталог, размещенный на интернет-странице Римской академии искусств, как вдруг в правом верхнем углу экрана загорается окошечко ICQ и некто, чье «экранное имя» Сергей, спрашивает:

— Привет. Давай познакомимся.

Можно, конечно, сразу закрыть это окошко, ни к чему такие знакомства не ведут — все это мы уже проходили, причем не один раз. Но уж больно имя красивое, и здесь, в Америке, не так часто встречается.

— А ты кто? — печатает в ответ Даша.

— Я — Сергей. А тебя правда Даша Зарецкая зовут? Или ты это для «аськи» придумала?

Дура, какая дура. Ну кто же свое настоящее имя использует? Правда, когда ей эту программу устанавливали, она еще не знала про Интернет ничего. Поставила, чтобы с подружками, оставшимися в Москве, общаться. Чтобы им легче ее найти было. Но и врать теперь тоже как-то глупо.

— А что? — печатает она.

— Ничего. Просто Даша — мое любимое имя. Вот я тут его и искал. Я в Нью-Йорке живу. А ты?

— И я тоже, — печатает Даша.

— Ну, значит, мне опять повезло. А сколько тебе лет?

— 20. А тебе?

— 26. А как ты выглядишь?

— Нормально.

— У каждого свои представления о норме.

— Какая разница, как я выгляжу?

— В принципе никакой. Просто легче общаться с человеком, если хотя бы приблизительно представляешь себе его внешность.

— А ты как выглядишь?

— Высокий. Волосы темные. Глаза карие. Спортом занимаюсь. А ты?

— А я спортом не занимаюсь.

— Я не об этом. Как ты выглядишь?

— Как девушка.

— Это уже хорошо. У тебя есть фотка?

— Есть. А у тебя?

— Тоже есть. Давай посмотрим друг на друга.

— Зачем?

— Ни за чем. Просто так.

— Ну давай. Только ты первый присылай. А я тебе отвечу.

— Куда присылать-то?

— Dasha_Z@aol.com.

— Хорошо. Сейчас пришлю. Не уходи.

Странный парень. Настырный такой. Правда, ей всегда именно такие и нравились. Ладно, сейчас посмотрим, какой он высокий.

Проходит несколько минут, и в окошечке появляется новая фраза:

— Проверь почту.

Практически одновременно с этим компьютер противным голосом говорит ей: «You got mail». Действительно, пришло письмо. С обратным адресом Serega@hotmail.com. Она открывает его и нажимает на кнопку «Download», чтобы скачать фотографию. На это уходит минуты две, в течение которых экран заполняется изображением симпатичного молодого человека. Правда, высокий вроде. И волосы темные. И глаза карие.

— Получила? — появляется в окошечке ICQ.

— Да.

- Ну и как?
- Not bad.
- Свою пошлешь?
- А зачем?
- Ты же обещала.
- Ну ладно. Подожди.

Фотографий у нее много. Родители цифровой фотоаппарат, как приехали, сразу вместе с компьютером купили. Правда, они им пользоваться не умеют. Но зато Грег обожает ее фотографировать. Какую послать? Надо такую, чтобы с самого начала никаких иллюзий не было.

Она нажимает на кнопку «Reply» и присоединяет к письму тот снимок, где они с Грегом на праздновании пятилетия «Эдема» запечатлены. Это кто-то из друзей делал. Не очень хорошо вышло, но все равно другой вместе с ним у нее нет.

«Зачем я это делаю? — думает она. — Может, нажать на «Cancel», пока не поздно?».

Нет, уже поздно. Письмо отправлено. Ответ в окошечке появляется через минуту.

— Ты очень красивая. У тебя правда волосы такие черные или красишь?

— Нет, не крашу.

— А прическу всегда такую взрослую носишь?

— Что ты имеешь в виду?

— Ну, такую старомодную немного. Высокую. С локонами.

— Сам ты старомодный. Так теперь все носят. У кого волосы длинные, конечно.

— А глаза у тебя какого цвета? На фотке не очень видно.

— Серые.

— А вот то, какие ресницы пушистые и длинные, очень хорошо видно.

— :), — печатает Даша общепринятый на Интернетe знак, обозначающий улыбку. — А что еще видно?

— Видно, что ты не такая, как все. Необычная.

— В каком смысле?

— Во всех. Видно, что в тебе загадка есть, которую никто еще не смог разгадать.

— Это у тебя стандартная pick-up line такая? И что, работает?

— Нет, не pick-up line. Я серьезно.

— И я тоже.

— А кто это рядом с тобой? Брат, я надеюсь.

— Нет, жених.

— Жалко. Ты его любишь?

— Тебе не кажется, что ты задаешь слишком личные вопросы?

— Значит, не любишь.

— С чего ты взял?

— Догадался. А что ты любишь?

— Музыку люблю.

— Какую?

— Разную. А ты?

— И я тоже разную. Рок люблю.

— Русский или американский?

— Русский. А ты, наверное, кого-нибудь вроде Билли Холлидей предпочитаешь.

— Это вопрос? Ты вопросительного знака в конце фразы не поставил.

— Нет, не вопрос. Потому и не поставил.

— А как ты догадался?

— Вот так. «Good morning, heartache» — знаешь такую песню?

— Да.

— А ты любила когда-нибудь?

— Ты опять личные вопросы задасшь?

— Ты права. Глупый вопрос. Конечно, любила. А где он сейчас?

— Кто?

— Тот, которого ты любила?

— Я моего жениха люблю.

— :).

— Что здесь смешного?

— Ничего. Просто не верю.

— Почему?

— Потому.

— Ну и как хочешь.

— Знаешь, Даша, — появляется в окошечке после некоторого перерыва, — я тебя очень давно искал. Очень давно. И это хорошо, что я тебя нашел, как ты считаешь?

— Никак не считаю. У меня в школе по арифметике «тройка» была. А почему это хорошо?

— Я думаю, что смогу разгадать твою загадку.

Пока Даша думает, что ответить, в окошечке возникает новая фраза:

— Я тебе напишу еще. Не бойся ничего.

— А чего я должна бояться? — начинает печатать Даша, но окошко показывает, что ее собеседник уже вышел из ICQ.

Даша откидывается на спинку кресла и резким движением выключает компьютер.

НАЗАД — В ШКОЛУ

— Апчхи, — говорит Алик. — Апчхи, апчхи, апчхи.

Это его реакция на мое сообщение о том, что в связи с воцарившейся безработицей я решил вернуться к моей основной специальности и устроиться в школу учителем. Собственно говоря, специальность эту я выбрал когда-то в молодости по чистому недоразумению, так как детей не выношу и боюсь с детства, да и диплома об окончании МГПИ имени Ленина я тоже, признаться, не получил,

поскольку выгнали меня оттуда за безобразное поведение и тотальную неуспеваемость по всем дисциплинам — особенно тем, которые так или иначе были связаны с педагогикой.

Каплей, переполнившей терпение деканата, была моя практика в пионерском лагере, где я сразу же после завтрака запирался в своей комнате и делал вид, что умер, — сначала до обеда, а потом и до ужина. С порученным мне отрядом я договорился следующим образом: они не выходят за территорию лагеря и регулярно являются на все линейки, а я за это позволяю им целыми днями предаваться их любимому занятию — копошиться в огромной луже, которая находилась у нас прямо за столовой. Подходить к этому главному лагерному аттракциону дирекция категорически запрещала, и поэтому мое разрешение имело особую ценность. Правда, один раз, когда меня вконец уже замучила совесть, я решил вывести детей на природу. Закончилось это плачевно. Стоило нам углубиться в лес, как весь мой отряд, состоявший из мальчиков и девочек лет 12—13, моментально разбежался. Мне удалось поймать только барабанщика, которого я ремнем привязал к какому-то дереву на поляне и заставил изо всех сил колотить палочками на манер виденного мною в раннем детстве зайца из Уголка Дурова. Мои попытки собрать остальных успехом не увенчались. Пойманных я отводил к барабанщику, но, как только я уходил на поиски оставшихся, найденные ранее тут же снова бросались врассыпную. Так бы и поели нас всех серые волки, если бы дети сами не вернулись на звук барабана ближе к вечеру. Проголодались, наверное. Больше я таких попыток не предпринимал, и весь мой педагогический опыт этим казусом так и ограничился. Впрочем, все это совершенно отдельная история, и Алику я ее рассказывать не собираюсь.

— Должен же я в конце концов сделать что-нибудь общественно полезное, — говорю я. — Посеять, как говорит-

ся, что-нибудь если и не вечное, то хотя бы разумное и доброе.

— Разумное особенно хорошо у тебя должно получиться, — говорит Татьяна.

— Должен, — пропускает ее реплику мимо ушей Алик. — Но ты не представляешь себе, что такое сегодняшняя американская школа. Если ты думаешь, что она хотя бы отдаленно напоминает те учебные заведения, в которых некогда учились мы, тебя ждет большой сюрприз.

— В каком смысле? — говорю я.

— Сам увидишь, — говорит Алик. — Я тебе только один пример приведу. Когда мы только приехали, нашему малому семь лет было. Ну, ты сам знаешь, он мальчик замкнутый, необщительный, и мы очень беспокоились, как эта эмиграция на нем скажется. Поэтому постарались его в хорошую школу устроить — большая иешива¹ на Шипсхед-бэй, знаешь?

— Знаю, — говорю я.

— Так вот, он в первый день пришел оттуда и спрашивает у Милки: «Мама, а что такое ступид?» Ты сам-то хоть, надеюсь, не в иешиву устроился?

— Нет, конечно, — говорю я. — Ты что?

— Ну и то хорошо, — говорит Алик. — Мы его забрали оттуда, естественно, но и потом все равно проблемы были. В какой-то момент директриса тамошняя вызвала меня и говорит: «А вы не думаете, что вашему мальчику надо бы побольше смотреть телевизор?» Представляешь? Я просто рассвирепел и отвечаю: «А вы не думаете, что это другим мальчикам надо бы смотреть телевизор поменьше?» Так что ситуация в здешних школах особая. Пограничная, как сказал бы Сартр. И все равно я не совсем понимаю, как тебя туда взяли. Вернее, совсем не понимаю.

¹ Учебное заведение с религиозным уклоном.

— Повезло, — говорю я. — С учителями совсем худо в городе. Не хватает их катастрофически. Вот и берут всех со степенью бакалавра. А мои три курса МГПИ как раз на бакалавра тянут. Правда, заставили пообещать, что я в самое ближайшее время на магистра сдам. Но кто решает, какое время ближайшее, — непонятно.

— И что ты этим несчастным детям преподавать будешь? — говорит Алик.

— Очень интересный предмет, — говорю я. — «Russian Studies» называется. «Русские штудии» по-нашему. Район-то у нас сам знаешь какой. Вот и решили они русскоязычной общине наконец потрафить. А там по курсу все: и язык, и литература, и история.

— То есть как раз все те науки, в которых ты являешься особенно крупным специалистом, — говорит Татьяна. — Большое дерзновение имеешь.

— Я знаю, — говорю я. — Я и сам тут недавно подумал, что уже сороковник разменял, а жить толком не научился. Страшно, конечно, но что же делать — теперь других пойду учить. Зарплата там нормальная, все страховки, два месяца отпуска летом.

— А правду говорят, здесь учиться легче? — говорит Саша.

— Конечно, легче, — говорит Надюхина дочка Катя — она, как выяснилось, так же как и Сашка, в моем классе будет. — На дом задают много, но все ерунду такую.

— Что вы последнее по литературе проходили? — говорю я.

— «Гекльберри Финна», — говорит Катя.

— В одиннадцатом классе? — удивляется Татьяна.

— Да, — отвечает за дочку Надя. — Причем в адаптированном варианте. А что задавали в связи с этим — Кать, расскажи.

— Ну, картинку нарисовать какую-нибудь, — говорит Катя. — Проиллюстрировать какую-нибудь сцену.

— Кошмар, — говорит Татьяна. — Ужас.

— Почему кошмар? — говорю я. — Книжка-то хорошая. Про дружбу между представителями разных рас, а это очень актуально сегодня...

— Вот поэтому-то все и пытаются детей по каким-нибудь кружкам пристроить, — резко перебивает меня Надя, бросив в мою сторону быстрый и какой-то непонятный взгляд. — Музыка, рисование, шахматы. Репетиторов нанимают по всем предметам. Все что угодно, лишь бы не ограничиваться школой. Иначе ведь вырастет ребенок дебилом.

— Не выдумывай, — говорю я. — Все вон школы заканчивают, в институты нормальные поступают, работают потом. Никаких катастроф я не наблюдаю.

— Наблюдательный ты наш, — ласково говорит Татьяна.

— Я иногда начинаю думать, что они специально это делают, — говорит Надя.

— Что именно? — говорю я.

— Дебилов выращивают, — говорит Надя. — Это же пародия на образование какая-то. Гуманитарные предметы — это полный караул. Да и все остальное — тоже. Физика, химия, биология, география, астрономия — все, что мы изучали годами, у них объединено в один предмет под названием «Science». По одному году на каждую из этих наук — и вперед. Ну как можно всю физику за один год изучить? А то, что это специально делается, я уверена. Дети из богатых семей в общественные школы все равно не ходят, а простому народу знания, считается, не нужны. Необразованными, дремучими дураками управлять-то, поди, легче будет.

— Не знаю, не знаю, — говорю я. — Во всех предвыборных кампаниях столько внимания системе образования уделяется.

— Ну ты сам подумай, — говорит Надя. — Самая богатая страна на свете, которая главную мировую валюту сама печатает, и не может такую простую проблему решить?

— А как ее решить-то? — говорю я.

— Да очень просто, — говорит Надя. — Платить учителям надо такую зарплату, чтобы работать в школы шли не неудачники всякие, которые ни на что другое все равно не способны, а толковые, талантливые люди. На войну вои сотни миллиардов гробят, а учителю платят тридцать тысяч в год. Половину от того, что начинающий программист получает.

— Намек понял, — говорю я. — Но сегодня, когда все программисты без работы сидят, и это неплохо.

Тут в комнату входит старший Илюшин сын Дима и говорит:

— Дядя Леша, там девушка какая-то пришла. Игоря спрашивает. А его дома нет. Говорит, что она жена его. Ваша помощь требуется. — Он замолкает, а поймав мой вопросительный взгляд, говорит: — Ну, русский у нее на уровне моего английского.

— Саманта Уилби, — говорит поджидающая нас с Димой в соседней комнате молодая девушка, протягивая мне руку. — Я ищу Игоря Леваева.

— Его сейчас нет, — говорю я. — А вы ему кем приходитеесь?

— Я его жена, — говорит она. — Но я ничего не понимаю, что происходит. Он даже не позвонил мне, когда приехал. Я и этот-то адрес с трудом нашла, через друга его в Москве.

— Так вы в Москве познакомились? — говорю я, чтобы что-нибудь сказать.

— Да, — говорит она. — Я там по контракту работала. А у него какие-то неприятности были. Крупные вроде бы. Год почти скрывался от кого-то. А теперь и с друзьями своими тоже расплевался. Так вот, друг его этот мне и сказал, что брак наш с Игорем не настоящий. Что Игорь вообще женился на мне только ради того, чтобы в Америку попасть.

— Бывает, — говорю я.

— И еще он сказал, что Игорь сюда отомстить приехал, — говорит она.

— Кому? — говорю я.

— Девушке какой-то, которая его не дождалась и сюда уехала, — говорит она. — Найти ее и убить.

— Прямо так сразу и убить? — говорю я. — Он, конечно, странный немного, но все-таки не похож на человека, который убить может.

— А вы его давно знаете? — говорит она.

— Достаточно давно, — говорю я.

— Сколько? — говорит она.

— Ну, месяца полтора-два, — говорю я.

Саманта смотрит на меня, и ее губы медленно складываются в ироническую улыбку.

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА

— Не могу поверить, что год прошел, — говорю я. — Помню все так, как будто вчера это было. Что на завтрак сегодня ел — уже забыл, а это помню.

— Все помнят, — говорит Алик. — Это теперь такой день будет, как убийство Кеннеди. Люди годами будут другу другу рассказывать, что они 11 сентября 2001 года делали, где были, как обо всем узнали...

— Я проспал все, конечно, — говорю я. — Меня Татьяна разбудила уже около двенадцати и говорит: «Вставай, сбылась мечта идиота. Весь мир жужжит, а ты спишь». А у нас ведь телевизора нет. То есть как предмет он, конечно, есть, но ни одного канала не принимает. Мы только видео по нему смотрим. Значит, нам только радио оставалось и Интернет. А там такая неразбериха-царила. Столько сообщений было, которые исчезли потом. Может,

не подтвердились, а может, вообще по ошибке попали. Тогда ведь разобраться трудно было.

— В чем разобраться? — говорит Илья, в постепенно обрастающей подробностями быта квартире которого мы все и сидим. Как-то так получается в последнее время, что чаще всего мы у него стали собираться. Алик одинокий теперь — к нему не пойдешь, там с едой, как в Бангладеш, ситуация. У нас тоже нельзя, потому что Татьяна к выставке готовится и на все светские приемы наложен мораторий. Малинины заняты вечно — то с «Эдемом» своим, то с Катей, о которой вообще особый разговор. А к Зарецким можно было бы пойти, но не хочется почему-то. Вот и выходит, что, кроме моего кузена с его женой Ниной, нам и податься некуда. У них же, несмотря на некоторую неустроенность, характерную для только недавно приехавших людей, мы чувствуем себя довольно уютно. К тому же и молодежи полно, а с ней все-таки поинтереснее.

— Да во всем, — говорю я. — Это же вторник был. А «Еврейский базар» в четверг выходит. Чтобы газета утром в магазины попала, ее надо в среду вечером в типографию отправить. Номер, конечно, заранее всегда планируется, но какие могут быть планы, когда тут такое событие произошло? И материалов море. Одни одно пишут, другие — другое. Плюс у нас же газета еженедельная. Ее так надо сделать, чтобы она не теряла актуальности. Неизвестно ведь, когда человек ее купит. Хорошо, если в первый день или два, а если в воскресенье или в понедельник? Что же ему, устаревшие новости читать?

— Еженедельникам не надо гнаться за сиюминутностью, — говорит Илья. — Они должны общий анализ давать.

— В принципе ты прав, конечно, — говорю я. — Но не в таких случаях, как тогда. Слишком крупное событие все-таки.

— Ну хорошо, — говорит Алик. — С тех пор год уже прошел. Сейчас-то ты что обо всем этом думаешь?

— В смысле? — говорю я.

— В прямом, — говорит Алик. — Кто все это сделал-то?

— Бен Ладен, конечно, — говорю я. — Кто же еще?

— А зачем ему это было нужно? — говорит Алик.

— Как это зачем? — говорю я. — Зачем террористы теракты совершают? Из злобы и человеконенавистничества. Они ненавидят свободу и завидуют нашему образу жизни.

— А почему он тогда не признается? — говорит Алик.

— Что значит «не признается»? — говорю я. — Сколько его выступлений по телевидению показывали...

— И ни в одном из них он не сказал прямо: «Это я самолеты ваши угнал и башни ваши протаранил. Потому-то и потому-то», — перебивает меня Алик. — Вот посмотри, в Палестине, в Северной Ирландии, в Испании или еще где-нибудь, чуть что взорвут, сразу в газеты звонить: «Это мы! Это мы!» Иногда еще и несколько организаций сразу на себя ответственность берут. Потому что для них это не только честь и слава, но и доказательство их боеспособности. Результат их жизнедеятельности, так сказать. Они под это и бабки свои получают.

— Что ты хочешь этим сказать? — говорю я.

— Ничего, — говорит Алик. — Признайся бен Ладен, он в момент стал бы героем всего исламского мира. Типа второго Магомета. А он почему-то в несознанку ушел. Почему?

— Боится возмездия, — говорю я.

— Ну да, — говорит Алик. — После того, что с его любимым Афганистаном сделали, а за его голову назначили чуть ли не сто миллионов и все спецслужбы мира его день и ночь ищут, он еще чего-то боится? И потом, тебя ничего нестораживает в том, как это расследование шло?

— Нормально шло, — говорю я. — И сейчас еще идет. Вон повсюду членов «Аль-Каеды» арестовывают.

— Ну и что? — говорит Алик. — Да, арестовали немало. Держат их в клетках на Гуантанамо. В наручниках

и с мешками на головах, чтоб они в охранников плевать не могли. Допрашивают, тоже надо думать, не самыми гуманными методами — недаром адвокатов к ним не пускают. А ни одного доказательства так и нет. Ни одного! Ни одного судебного процесса провести не могут. Единственное официальное обвинение предъявили чурке какому-то, которого еще за несколько месяцев до терактов повязали за нарушение визового режима. Обвинение есть, а доказательств нет. Кроме тех, конечно, что они в первый же день нашли. Помнишь?

— Нет, — говорю я.

— Ну как же? — говорит Алик. — Сначала обнаружили машину, на которой террористы в аэропорт ехали. А в ней Коран и руководство по управлению «Боингом» на арабском языке. То есть они по дороге все в памяти освежить решили. Типа где там какая кнопка находится. А как в самолет садиться стали, один себя по лбу хлопает и говорит: «Ой, блин, инструкцию-то мы в машине оставили. Как теперь полетим-то?» Представляешь сцену?

— Об этом сейчас уже никто не вспоминает, — пытаюсь возражать я.

— И правильно делают, — говорит Алик. — Кто же в это поверить может? А поначалу много говорили. А паспорт, который они в руинах ВТЦ нашли, помнишь?

— Какой еще паспорт? — говорю я.

— Ну как же, — говорит Алик. — Главного из угонщиков — Мухаммеда Атты. Новенький такой паспорт. Чудесным образом уцелел, когда самолет в небоскреб врезался. «Черные ящики», которые из специального материала делают, не нашли. Стальные конструкции, на которых «близнецы» держались, тысячеградусным огнем расплавилось. А паспорту этому — ничего. Даже не обгорел ни капельки. Так, по краям только немножко. Но и фотография, и ФИО, и адрес, и подпись собственноручная — все ясно

и четко сохранилось. Как будто специально, чтобы по телеку можно было показать.

— Так об этом тоже сейчас никто уже не вспоминает, — говорю я.

— Конечно, — говорит Алик. — Они много о чем еще не вспоминают. Например, о том, как в первые дни по всем телеканалам сообщали, что в момент терактов была отключена спутниковая система слежения НАСА. Знаешь, что это такое?

— Да, — говорю я. — Знаю.

— Ладно, я все равно объясню, — говорит Алик, но, поскольку обижать меня ему сегодня не хочется, он добавляет: — Для других присутствующих. НАСА — Национальное космическое агентство Соединенных Штатов — имеет больше спутников, чем все остальные страны мира, вместе взятые. Эти спутники настолько мощны и там такая оптика стоит, что с них видно не только номер машины, на которой человек по дороге где-нибудь в Неваде едет, но и какую газету читает его пассажир. Допустим, бен Ладе-на с этих спутников не видать — он глубоко под землей спрятался. Но самолеты-то все учтены. Все до единого. Особенно те, которые в воздушном пространстве США или на подлетах к нему находятся. Это часть ПВО и одна из основных функций системы спутникового слежения. Иначе тут все летали бы, кому не лень. Теперь смотри, что получается.

Разумно обходя Димку и Игоря, Алик разливает по нашим фужерам водку. Илья пытается протестовать, но потом понимает, что это бесполезно.

— В один так прекрасно начинавшийся день с радаров, которые ведут все гражданские самолеты по их маршрутам, одновременно исчезают несколько лайнеров, — продолжает Алик. — Не планеров каких-нибудь, не дельта-планов, а полноценных «Боингов». Сначала говорили, что их одиннадцать было, потом — что восемь. Потом остано-

вились на четырех. Хорошо, допустим, их было четыре и, допустим, диспетчеры их действительно потеряли. Но со спутников-то почему их координаты не смогли определить?

— Может, не успели? — говорю я.

— С первым — возможно, — говорит Алик. — Трудно поверить, но в принципе все возможно. Растерялись там, перепугались, инструкций от начальства ждали. Все может быть. Но между первым и вторым тараном сколько времени прошло... А потом еще один самолет над Вашингтоном нарисовался. Над Белым домом покружил, потом хитрый такой маневр сделал, чтобы от двух супер-дупер истребителей уйти, и на Пентагон спикировал. А спутники ослепли. И у Пентагона своя система ПВО тоже, как назло, из строя вышла. Нормально?

— Ну и как ты все это объясняешь? — говорю я, потому что все остальные молчат.

— А никак, — говорит Алик. — В первые дни объяснение было представлено вполне рациональное: спутниковая система НАСА не сработала. Правда, тогда нам не сказали: это она сама такая умная, что в нужный момент отключается, или ей все-таки помог кто?

— Не понимаю, к чему ты клонишь, — говорю я.

— Я и сам не понимаю, — говорит Алик. — Многого не понимаю.

— Чего еще, например? — говорю я.

— Ну, например, как чучмеки, которые вчера только в Аравийской пустыне верблюдам хвосты крутили, без связи с диспетчерами три «Боинга» точно на цели вывели, — говорит Алик. — Каждый рейс ведь по коридору специальному на автопилоте летит, а им, значит, пришлось все компьютеры перепрограммировать.

— Так они же в летных школах учились, — говорю я. — Это ведь доказано уже.

— Да, учились вроде, — говорит Алик. — Но в первые дни, когда все это только всплывать начало, их инструк-

торы выступали и говорили, что они, типа, не очень хорошо себя там зарекомендовали. По-нашему если, то круглые двоечники они были. Полные раздолбаи. И вот эти тупицы и неучи, которые по дороге на аэродром, как ты некогда в последнюю минуту перед экзаменом, чего-то там дозубривали, выполняют в воздухе фигуры высшего пилотажа, пролетают точно над домами и врезаются в небоскребы в самых оптимальных точках.

— Что это значит? — говорю я.

— А это значит, что если бы они в башни эти повыше врезались, — говорит Алик, — то только верхние этажи бы и снесли. А так довольно точно, похоже, рассчитали. Калькулятором, наверное, запаслись. В общем, в сухом остатке что у нас получается? Какие-то бедуины, оказывается, могут одновременно стибрить несколько «Боингов», отключить многоэшелонную систему противовоздушной обороны США, уйти от истребителей (которыми, заметь, не погонщики верблюдов управляют, а профессионалы высочайшего класса), без связи с диспетчерами и без компьютерных программ автопилота выйти на цели в других городах и, точно рассчитав время так, чтобы Си-эн-эн успело подтянуться, успешно выполняют боевые задачи, посильные, может быть, только для асов, которые годами тренируются и сотни часов налетать должны, прежде чем им самостоятельно штурвал крутить позволят.

— Ну хорошо, — говорю я. — Значит, ты думаешь, что это не мусульмане?

— Почему не мусульмане? — говорит Алик. — Может, и мусульмане. Только мусульманин мусульманину рознь. Босняки вон тоже мусульмане, а им Косово подарили. Тут дело, похоже, в том, что крайними надо было именно арабов назначить.

— Зачем? — говорю я.

— Шут его знает, — говорит Алик. — Знаешь, как говорится, если звезды зажигают... И вообще, если мы все-

таки усомнимся, что бедуины на такие штуки способны, то тут еще один вопрос возникает. Не только «зачем?», но и «кто?».

— Ну и кто же? — говорю я.

— Мне не докладывали, — говорит Алик. — Эксперты, правда, утверждают, что операцию такого масштаба под силу только спецслужбам проверить. Вот и смотри сам: после того как КГБ разгромили и все оперативники Гусинского с Березовским охранять ломанулись, какие еще спецслужбы на свете остались?

— Ну, не сами же они свои небоскребы взорвали? — говорю я уже в полном отчаянии.

— Нет, конечно, — говорит Алик. — Сами они на такие злодеяния не способны.

— Ну и кто же тогда? — говорю я.

— Не знаю, — говорит Алик. — Какие еще спецслужбы есть, которым выгодно было бы Соединенные Штаты на арабов натравить? И которые организационно, технически и идеологически достаточно оснащены, чтобы все это подготовить. Какие?

Ответить на этот кажущийся мне совершенно риторическим вопрос я не успеваю, потому что в разговор неожиданно вмешивается Илья.

— Интересно у тебя, Алик, получается, — говорит он. — Столько всего ты знаешь, столько всего проанализировал, а как до самой сути доходит, сразу не знаешь.

— Понимаешь, — говорит Алик, — я с годами пришел к выводу, что это самая лучшая позиция. Мне достаточно в Совке мозги промывали, чтобы я кому-то теперь верить мог. Все ведь врут. Каждый свои интересы преследует. Кто-то хочет войска в новом регионе разместить. Кому-то нефть чересчур дорогой кажется. Кто-то под шумок этот мегатонный счеты с конкурентами сводит. Как я, сырый и убогий, могу в этом разобраться? По-моему, любой нормальный интеллигентный человек вслед за Сократом мо-

жет — и даже обязан — повторить: «Я знаю только то, что я ничего не знаю». Разве нет?

— Глупо получается, — говорит Илья. — Зачем ты тогда вообще думаешь об этом?

— Интересно мне, — говорит Алик. — Но это не значит, что я что-то окончательное миру объявить могу. Сколько уже мы слышали такого. Сначала про светлое будущее всего человечества. Потом про демократию и свободный рынок. Тоже лажа какая-то гнилая оказалась. Так что остается-то? Да и кто я такой, чтобы утверждать, что мне открыт смысл истории?

— Ну, со смыслом истории все как раз понятно, — говорит Илья. — Я еще в Москве как-то работу на эту тему написал и теперь с ужасом смотрю, как все, что я там предсказал, сбывается потихоньку.

— Что именно? — говорю я.

— Ну, я тогда новый метод исторического прогнозирования предложил, — говорит Илья, — и очень условно назвал его ретроспективным.

— Ретроспективное прогнозирование — это оригинально, — говорит Алик. — Может, выпьем еще?

— Перестань, — говорю я. — Дай человеку договорить. Интересно же.

— Я же сказал, что «ретроспективное» — это условное название. Просто финальный результат истории — он ведь известен. Он во всех религиях примерно одинаково описан и повсюду с небольшими вариациями представлен как конец света. Полный Армагеддон.

— Ты разве верующий? — удивляюсь я.

— Смотря что верой называть, — говорит Илья. — Знаешь, как говорят, в окопах атеистов не бывает? Так вот, у меня сейчас именно такое ощущение.

— Какое? — говорю я.

— Ну хорошо, — говорит Илья. — Давай чисто гипотетически христианскую версию дальнейшего развития со-

бытий возьмем. Как наиболее всем нам известную и понятную. В Апокалипсисе, как известно, описан приход и воцарение на Земле антихриста, которому должны поклониться все народы. Эту конечную точку мы берем за отправную и начинаем раскручивать историю в обратном направлении, чтобы понять, какие события должны произойти, какие условия должны быть соблюдены для того, чтобы данный результат стал возможным.

— И какие же? — говорит Алик.

— Тут одна большая загадка есть, — говорит Илья. — Христианство сегодня, конечно, уже не то, что прежде. Особенно на Западе. Но тем не менее сотни миллионов людей называют себя христианами, хотя бы раз в жизни читали Евангелие и верят, пусть с существенными отклонениями от первоначальной доктрины, но все же верят, что Христос есть Сын Божий. Как же, спрашивается, они смогут принять антихриста и поклониться ему? Среди них ведь немало и фундаменталистов так называемых, которые постоянно эсхатологическими вопросами занимаются. Эти люди всю свою жизнь живут в ожидании Армагеддона и Второго пришествия. Как же они антихристу подчинятся?

— Ну, значит, не подчинятся, — говорит Алик.

— Нет, — говорит Илья, — во всех книгах написано, что почти все подчинятся. В Евангелии сказано: «Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на Земле?» Из этого вопроса уже прямо следует, что не найдет. Что к моменту Второго пришествия истинно верующих почти что и не останется. Все почти антихристу поклонятся. Исключения будут, конечно, но не сотни же миллионов. И раз уж мы эту версию рассматривать взялись, то давайте последовательными будем.

— Давайте, — говорю я.

— Так вот, — говорит Илья. — Есть только один вариант, при котором сотни миллионов людей, которые о при-

ходе антихриста и о природе его предупреждены, тем не менее согласятся на его власть. Это только в том случае возможно, если предшествовать всему этому будут такие страшные беды и несчастья, что приход этот покажется им всем величайшим благом и избавлением. То есть: сначала жизнь людей на Земле превратят в ад, а потом явится тот, кто все наладит и устроит, и тогда измученное человечество встретит его не со страхом, а с благодарностью. Логично пока?

— Логично, — говорю я.

— Это могут быть техногенные катастрофы, — говорит Илья. — Вот, например, посмотри, что из экологии делают. Полезная вроде наука, а превратили ее в инструмент для устрашения человеков. Хотят всех убедить, что никакому правительству, никакому народу в одиночку с дырами озоновыми не справиться. Надо якобы всем вместе объединиться. И тогда придет тот, кто эти дыры заштопает. Понимаешь?

— Понимаю, — говорю я, но, наверное, как-то не очень уверенно.

— А еще лучше война, — говорит Илья. — Желательно мировая. Желательно термоядерная. Желательно с такими жертвами и разрушениями, чтобы ни у кого не могло возникнуть сомнений в том, что остановивший эту бойню и есть истинный спаситель мира. В самом прямом и буквальном смысле слова.

— Ну, так это когда еще будет? — говорит Алик. — Если будет вообще.

— Да, сроков никто не знает, — говорит Илья. — Это и в Евангелии черным по белому написано. Но подготовка идет полным ходом.

— В каком смысле? — говорю я.

— Опять же в самом прямом и буквальном, — говорит Илья. — Из всех пророчеств известно, что антихрист воссядет в восстановленном Иерусалимском храме и именно

оттуда будет в течение трех с половиной лет, до Второго пришествия Христова, управлять миром.

— Ну и что? — говорю я.

— А то, — говорит Илья, — что Храм этот должен быть восстановлен на том же самом месте, где он когда-то стоял. Его, в точном соответствии с пророчествами Христа, римляне разрушили. И еще Юлиан Отступник его отстроить пытался, но стены рухнули и похоронили всех рабочих под собой. Не время тогда еще было, значит.

— А сейчас время? — говорю я.

— Вот этого действительно не знает никто, — говорит Илья. — Но Институт Храма в Иерусалиме уже есть. Там всюду идут работы над восстановлением одеяний священнослужителей, культовой утвари и посуды. Вы про рыжую корову слышали что-нибудь?

— Нет, — почти хором говорим мы с Аликом.

— В девятнадцатой главе Книги Чисел, — несколько лекторским голосом говорит Илья, — написано, что, беседуя с Моисеем и Аароном, Бог сказал: «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма». Телицу эту надлежало отдать священнику, чтобы тот сжег ее на огне кедрового дерева с иссопом и нитью из червлёной шерсти, потом смешал пепел телицы с водой и использовал для очищения тех евреев, которые прикасались к мертвому телу или входили в шатер покойника. Не прошедший такой церемонии очищения, говорится в Книге Чисел, «осквернит жилище Господа: истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительною водою».

— Бред какой-то, — говорит Алик. — Мракобесие.

— Для тебя, может быть, и бред, — отвечает Илья. — Но для верующих иуданстов это основа основ их веры. Без восстановления Храма для них невозможен ни приход мошиаха, ни их собственное спасение. Когда на еврейской

свадьбе разбивают бокал, это делается в воспоминание о разрушении Храма. Раввины говорят — и я цитирую крупного израильского авторитета рава Рихмана: «Храм играет настолько важную роль в иудаизме, что можно смело сказать: тот иудаизм, который практикуется сегодня, не имеет никакого отношения к Божественному замыслу о нем. Израильские пророки неоднократно подчеркивали, что Храм — это не просто синагога. Храм — это тот «сосуд», через который Бог являет себя человечеству».

— Мало ли кто что скажет, — говорит Алик. — Мы вот тоже все тут базарить горазды. И что теперь? Конец света от этого произойдет?

— Вот смотри, — говорит Илья. — Иудаистская и христианская доктрины прямо противоположны друг другу. Но в одном у них полное единомыслие наблюдается. Приход в мир того, кого в христианской терминологии называют антихристом, а в иудаистской — мошиахом, должен непременно сопровождаться соблюдением следующих трех условий. Первое: евреи должны собраться в Земле обетованной. Второе: Иерусалим должен быть еврейским городом. Третье: Храм Соломона должен быть восстановлен. Эти пророчества были сделаны около двух тысяч лет тому назад, когда евреям было категорически запрещено селиться не только в самом Иерусалиме, но и в его окрестностях. Да что там тысячелетия? Ты прикинь, как это всего-навсего в начале прошлого века звучало, когда евреи в Палестине наперечет были. «Какое еврейское государство? Какой из Иерусалима еврейский город? Да там же одни арабы живут». Вот была бы стандартная реакция любого разумного современника наших дедов. Дедов всего лишь, Алик, а как уже все переменялось!

— Допустим, — говорит Алик. — Но при чем тут какая-то корова? Да еще и рыжая.

— Рав Рихман отвечает и на этот вопрос, — говорит Илья. — Вот еще цитата из его книги «Тайна рыжей коро-

вы: Божественное обещание чистоты» : «У нас есть 613 заповедей, данных нам Богом, и примерно одна треть из них так или иначе связана с Храмом. Большое количество этих заповедей имеют непосредственное отношение к жертвоприношениям, которые в иудаизме рассматриваются как единственная возможность для человека очиститься. Согласно еврейскому закону, который называется «Галаха», все живущие сегодня на Земле евреи осквернены, так как все они вступали в прямой или косвенный контакт с покойниками. По этой причине истинно верующие иудеисты никогда не заходят на Храмовую гору из боязни наступить на то место, где когда-то находилась святая святых — алтарь Храма, где хранился ковчег Завета со скрижалями Десяти заповедей, которые Моисей получил на Синайской горе. Очиститься же еврейский народ сможет только после омовения взятой из Силоамского источника водой, в которой будет особым ритуальным образом растворен пепел рыжей телицы. За всю историю еврейского народа церемония жертвоприношения рыжей коровы совершалась всего девять раз, а когда появится десятая рыжая телица — это и будет временем прихода мошиаха. По иудейской доктрине, осквернение происходит даже в тех случаях, когда человек ступает на землю, в которой когда-то был похоронен покойник. Поэтому ни один из ходящих сегодня по земле евреев не может находиться на Храмовой горе, а из этого прямо следует, что в отсутствие рыжей телицы даже сам вопрос о восстановлении Храма оставался чисто теоретическим».

— Что значит «оставался»? — говорю я. — Разве сейчас он уже таковым не является?

— В том-то и дело, что нет, — говорит Илья. — Несколько лет тому назад американский протестант-фундаменталист Клайд Лотт заключил контракт с министерством сельского хозяйства Израиля на поставку туда целого стада породы «Red Angus». Каждое животное инспек-

тировал совет раввинов, причем от их внимания не ускользнуло и то, что фамилия поставщика фонетически совпадает с именем того самого племянника Авраама Лота, чья жена обернулась посмотреть на горящий Содом и в наказание превратилась в соляной столб. Это сыграло не последнюю роль в том, что договор подписали именно с ним.

— Ну и что? — говорит Алик.

— А то, что необходимая для церемонии очищения рыжая телица уже есть. Совершенно рыжая. Без единого пятнышка.

— Я все равно не понимаю, — говорит Алик. — Даже если корову эту уже вывели, кто же будет проводить обряд очищения, если, как ты сам только что сказал, все живущие сегодня на земле евреи осквернены?

— Правильно мыслишь, — говорит Илья. — И для ответа на твой вопрос еще один израильский раввин Иосиф Элбоим создал свою организацию, тоже занимающуюся подготовкой к восстановлению Храма. «Мы начали с воссоздания священных сосудов и ритуальных одежд, — рассказал он. — Но потом мы столкнулись с поистине неразрешимой проблемой. Поскольку все живущие сегодня люди осквернены контактами с покойниками, у еврейского народа нет никого, кто мог бы совершить обряд жертвоприношения рыжей коровы. Поэтому нам нужны дети, которые с самого момента своего появления на свет находились бы в таком месте, где их осквернение смертью было бы абсолютно невозможным».

— Откуда ты все это знаешь? — говорю я.

— Удивительные вещи можно иногда в открытой прессе прочесть, — говорит Илья. — В данном случае информация почерпнута мною из статьи в самом популярном журнале американской интеллигенции «Нью-Йоркер», но, как я говорил, и специальные книги на эту тему уже написаны и продаются во все том же Институте Храма. Да и по Интернету тоже можно заказать.

— Ну и как же они свою неразрешимую проблему решили? — говорит Алик.

— Элбоим утверждает, что у него уже есть четыре поворожденных младенца мужского пола, — говорит Илья. — Они живут в специально построенном для них комплексе, находящемся на значительном возвышении и не соприкасающемся с землей. Правда, сам Элбоим признает, что ему нужно девятнадцать мальчиков: во-первых, для того, чтобы дети росли в нормальном обществе своих сверстников, а во-вторых, потому, что, по иудейским законам, существует более семидесяти врожденных дефектов, из-за которых человек навсегда теряет право стать священнослужителем, а проявиться они могут только через несколько лет после рождения. Здание для воспитания будущих «коханим» построено в одном из поселений неподалеку от Иерусалима, причем архитекторы спроектировали его таким образом, что мальчикам никогда не придется ступить на оскверненную землю. То есть ходят они только по специальному настилу, который и оберегает их от осквернения. Они проживут в полной изоляции от мира вплоть до своего тринадцатилетия, когда, согласно иудаистской традиции, они уже будут считаться взрослыми, а значит, способными совершать жертвоприношения. Без этой касты будущих священников использовать рыжую корову все равно будет невозможно. Но в общем и целом для восстановления Храма все уже почти готово.

— Подожди, — говорю я. — Я же был в Иерусалиме. Храм этот на горе Мория, которую сегодня Храмовой называют, стоял, верно?

— Да, — говорит Илья, — совершенно верно.

— Так там же сейчас мечеть Аль-Акса и мечеть Омара, — говорю я. — Самая древняя мечеть в мире и третья по значению святыня ислама. Мусульмане верят, что именно с этого места Магомет якобы на небо вознесся.

— Ну да, — говорит Илья. — Именно так.

— Так кто же даст там еврейский храм строить? — говорю я. — Для этого же надо Аль-Аксу сначала снести.

— Ну, — говорит Илья, — раз надо, значит, снесут.

— Не дадут им этого сделать, — говорит Алик. — Глупость это полная. Ведь из-за этого действительно может мировая война начаться.

— Может, — говорит Илья. — Если Шарон мечеть эту бульдозерами срывать будет. А если в нее, скажем, арабская иракская ракета попадет? Начнется война Америки с арабами, и кто-нибудь из них, как Хусейн в 1991 году, примется своими недоделанными «Скадами» в Израиль пулять. Вдруг какая-нибудь одна ракета совершенно случайно прямо в Аль-Аксу и угодит?

— Так тогда арабы сами и виноваты будут, — говорю я.

— Именно так по телевизору и скажут, — говорит Илья с едва заметной улыбкой. — Только ведь для конечного результата это безразлично. Важно место расчистить, а кто именно это сделает — уже детали.

— Не понимаю, — говорит Алик, — как тебя с такими взглядами на «Эхе столицы» держали. Там ведь их вряд ли кто-нибудь еще разделял.

— Никто не разделял, — говорит Илья. — Но я ведь тоже не так давно все это понял.

— Что, откровение свыше было? — говорит Алик.

— Нет, — говорит Илья. — Почему откровение? Просто подумал, что каждый все по-своему объяснить пытается. Теорий много, а между собой они не состыкуются.

— Куда-то не туда мы забрели, — говорю я. — Ты, Илюш, вроде про смысл истории рассказать обещал, а мы тебя в сторону затащили.

— Ничего, — говорит Илья. — Расскажу еще. Это все связано одно с другим. Но давайте в другой раз как-нибудь, ладно? А то поздно уже.

— Ладно, — говорю я. — Тогда, может, выпьем еще? Помянем тех, кто погиб в башнях этих. Они-то за что подставились?

— Выпить можно, — говорит Алик. — Можно и даже нужно. А если ты хочешь на свой вопрос ответ получить, то есть такое мнение, что американцы сами на себя эту напасть навели. Лезут повсюду. Указывают всем, как им жить. В каждой дырке тампакс. Что кому можно, что нельзя — только они решают. Вся планета теперь — зона их жизненных интересов. А чуть что не по ним — сразу война.

— Допустим, — говорю я. — Но те, кто в ВТЦ погиб, они-то при чем?

— Понимаешь, — говорит Алик, — раз мы здесь живем, налоги платим, голосуем, то и несем коллективную ответственность за все, что правительство нашим именем делает. Ты ведь не борешься, не протестуешь — значит, согласен. Или хотя бы молча потворствуешь. А значит — и виновен точно в такой же степени, как и те, кто авианосцы и стратегические бомбардировщики в разные точки земного шара рассылает. В качестве бесплатного приложения к открыткам «Happy Easter!» и «Happy Ramadan!».

— Ты противоречишь сам себе, — говорит Илья. — То ты сомневался в том, что это арабы учинили, а теперь говоришь, что Америка сама их спровоцировала.

— А я же тебя предупреждал, — говорит Алик. — Я же честно признался, что наверняка ничего не знаю. Ну так что, будем пить или будем таращиться?

— Земля им, как говорится, пухом, — говорю я, взяв в руки наполненный водкой фужер и поднимаясь со своего места. Все остальные тоже встают. — Вечная память. А смерти все равно ведь нет. Старцы говорят: насильственной смертью погибшим половина грехов сразу прощается. И у Бога все живы — и плохие, и хорошие. Так что ничего не кончается здесь, на Земле. Только начинается.

ДАМА ПИК

Своего первого школьного дня я не забуду никогда. Не того, когда я пошел в первый класс, конечно, — он-то как раз забылся уже давно и весьма основательно, а того, когда я впервые появился в школе имени Джорджа Вашингтона, которая мне сразу же очень понравилась. Некоторые говорят, что из-за массивной мрачности здания и толстых решеток на окнах она скорее на тюрьму похожа, а мне все равно нравится. Светлые, просторные комнаты, в которых без труда размещаются классы человек по сорок—пятьдесят и даже больше. Огромные коридоры, украшенные детскими рисунками, портретами государственных деятелей и разными плакатами. Американские флаги повсюду тоже создают праздничную атмосферу, которая наверняка очень способствует процессу обучения подрастающего поколения.

К первому уроку я задал классу ознакомиться с повестью Пушкина «Пиковая дама», а также прослушать одноименную оперу Петра Ильича Чайковского, с тем чтобы потом сравнить и сопоставить их между собой.

Урок начинается с того, что я говорю:

— Итак, «Пиковая дама». История о том, что важнее: деньги или любовь. Я знаю, что вы все выполнили домашнее задание, и поэтому проверять ничего не буду. Меня не интересует простой пересказ сюжета, и даже не пытайтесь, пожалуйста, мне его предложить. Я и без вас знаю, что Германн влюбился в Лизу, но потом соблазнился тайной трех карт и решил выведать их у старой графини. Так что не надо рассказывать фабулу — не отнимайте понапрасну времени ни у меня, ни у остального класса. Впрочем, давайте начнем с самого легкого: чем опера Чайковского отличается от повести Пушкина? Дженнифер.

— Главное отличие конечно же в финале, — говорит Дженнифер. — У Пушкина Лиза выходит замуж и вполне счастлива. У Чайковского — она кончает с собой.

— Это сюжетное различие, — говорю я. — А что оно означает?

— В каком смысле? — говорит Дженнифер.

— Ну, почему Чайковскому понадобилось убить Лизу, а Пушкин посчитал возможным оставить ее в живых? — говорю я.

— Я не понимаю вопроса, — говорит Дженнифер.

— Хорошо, — говорю я. — Тогда сначала закончим с различиями между повестью и оперой. Кто еще хочет ответить?

— Я заметил еще одно отличие, — говорит Мэттью. — У Пушкина Германн, оправдываясь перед Лизой, говорит, что при всем желании не мог бы убить графиню, потому что его пистолет не был заряжен. У Чайковского этих слов нет, из чего можно сделать вывод, что он пришел в дом старухи с заряженным пистолетом. И хотя выстрелить из него он не успел, сам по себе этот факт уже много значит.

— Молодец, — говорю я, потому что директор нашей школы, мистер Файнстайн, меня специфически предупредил, что я обязан хвалить всех учеников, чтобы не отбивать у них и без того слабой охоты к получению знаний. — Кто еще? Катя.

— Я заметила всего одно отличие, — говорит Катя. — Когда Германн пытается вывести у графини три карты, у Пушкина она говорит ему, что ничего не знает, что все это шутка. А у Чайковского не так.

— Молодец, — опять говорю я. — А какой в этом смысл?

— Не знаю, — говорит Катя.

— У Пушкина все очень реалистично, — говорю я. — А у Чайковского больше мистики. Пушкин хотел подчеркнуть, что Германн просто сошел с ума. Что никаких трех карт никто никогда не знал. Это была шутка, легенда. А у Чайковского остается загадка. Есть еще одно различие, непосредственно связанное с тайным знанием графини. Кто-нибудь заметил?

Класс молчит.

— Хорошо, — говорю я. — Я сам тогда вам скажу. Чайковский добавил в рассказ о прошлом графини слова о том, что она умрет от руки «третьего, кто, пылко, страстно любя, придет, чтобы силой узнать у тебя три карты...». Это вызывает смех присутствующих, которые говорят, что графине нечего опасаться, потому что в такую отталкивающую старуху вряд ли кто сможет влюбиться. Но Германн понимает, что речь идет о нем. «Что ж, разве не люблю я?» — говорит он сам себе. Тут ведь дело не во влюбленности в графиню, а в том, что третий будет «страстно влюблен». В кого именно — в данном случае не имеет принципиального значения. Есть и еще несколько отличий. Я очень удивлен, что никто из вас не заметил превращения Лизы из воспитанницы графини в ее внучку. Это было сделано для усиления драматизма. Ну, естественно, Полина, которая только один раз, походя, упоминается у Пушкина, превратилась у Чайковского в одну из главных героинь. Ей он отдает одну из самых красивых арий в истории мировой оперы, а ее дуэт с Лизой сравним разве что с дуэтом Нормы и Адальджизы.

Заметив недоумение на лицах моих учеников, я понимаю, что зашел слишком далеко, и говорю:

— Ладно, этого вы не проходили, и к нашему курсу это не имеет непосредственного отношения. Теперь мне нужен итог. О чем говорят все эти различия? Почему Чайковский вообще внес столько изменений в повесть, которая и в его времена уже считалась классикой?

Все мои ученики дружно молчат.

— Ким, — вызываю я одетую в черное девушку.

— Нам учителя таких вопросов обычно не задают, — говорит она.

— А какие задают? — говорю я.

— Ну, обычно мы должны высказать свое мнение, — говорит она. — Что нам понравилось в книге, что — нет.

— Тебе понравилась «Пиковая дама»? — говорю я.

— Нет, — говорит Ким. — Это все чушь и выдумка. В жизни такого не бывает.

— Неужели? — говорю я. — А тебе, Дженнифер, понравилось?

— Нет, — говорит Дженнифер. — Честно говоря, мне было скучно.

— Хвалю за честность, — говорю я. — А кому-нибудь вообще понравилось?

Класс молчит.

— Кому понравилась «Пиковая дама», поднимите руки, — говорю я, теряя уже последнюю надежду, и в этот момент вижу, что Илюшин Сашка робко тянет руку со своего места. Класс встречает это улюлюканьем, смехом и репликами, на русский язык не переводимыми. Я понимаю, что надо поддержать человека, и говорю: — Что именно тебе понравилось?

— То, что там про такого же «нерда», как и он сам, — говорит Дженнифер.

— Это глупо и нечестно, — говорю я. — Твое же мнение мы выслушали, хотя, как выясняется, и не все были с ним согласны.

— С моим мнением согласно большинство, — говорит Дженнифер и победно оглядывает класс.

— Значит, большинство ничего не поняло, — говорю я. — Разве вам не показалось, что «Пиковая дама» сегодня по-прежнему актуальна? Разве вы не увидели в ней параллели с вашей жизнью и с теми проблемами, которые вам самим приходится решать?

— Нет, — говорит лучшая подруга Дженнифер Глория. — Все это глупость и занудство.

Класс начинает одобрительно гудеть, а я, чувствуя, что ситуация выходит у меня из-под контроля, понимаю, что пришло время менять тактику, и говорю:

— Разве? А вот Эминем, например, так не считает.

Мои слова практически тонут в хоре голосов, но кто-то их, оказывается, все-таки расслышал, потому что из дальнего угла раздается:

— Эминем? Да он никогда даже не слышал ни о какой вашей даме пик, Мистер Зи.

Мистер Зи — это они меня так для удобства называть стали, чтобы с фамилией не мучиться.

— Не только слышал, — говорю я, — но и песню о Германне написал.

Класс несколько удивленно затихает.

— «Rock Bottom» называется, — продолжаю я. — Помните?

Вокруг меня воцаряется мертвая тишина.

— Конечно, вы не помните, — говорю я, постепенно начиная выходить из себя. — Это ведь с его первого альбома, а вы только новинки знаете.

Я лезу в мою большую кожаную сумку и достаю оттуда плеер, с которым я, подражая моему любимому герою Даниле из балабановского «Брата», никогда не расстаюсь. В плеер как раз заряжен дебютный диск Эминема «Slim Shady», который я слушал сегодня утром по дороге в школу. Я вынимаю компакт и направляюсь к большому проигрывателю, установленному слева от доски. Весь класс изумленно и в полном молчании следит за моими движениями.

Я быстро нахожу нужную песню и говорю:

— Слушайте внимательно. И не пытайтесь меня убедить потом, что «Пиковая дама» сегодня не актуальна.

С этими словами я нажимаю кнопку «Play», и из динамиков слышится мягкий, почти что даже приторно-сладкий голос:

This song is dedicated to all the happy people.

All the happy people

That have real nice lives

That have no idea what it's like

To be broke as fuck.

(Что переводится так:

Эта песня посвящается всем счастливым людям,

Всем счастливым людям,

У которых очень хорошая жизнь

И которые не имеют ни малейшего представления
о том, что такое

Сидеть без гроша в кармане.)

— Это про Германна, — успеваю сказать я, прежде чем
Эминем переходит к настойчивому рэпу:

I feel like I'm walking a tight rope

Without a circus net.

I'm popping percusset.

I'm a nervous wreck.

I deserve respect.

But I'm working sweat
for this worthless check.

(У меня такое ощущение, как будто я иду по проволоке
Без подстраховки.

Я глотаю перкусет.

Нервы мои никуда не годятся.

Я заслуживаю уважения.

Но я работаю в поте лица

За этот ничтожный чек.)

— Слышите, — говорю я и, резко увеличив громкость,
обвожу класс взглядом. — А теперь еще внимательнее слу-
шайте. Сейчас припев будет, а в нем весь смысл.

Я еще больше увеличиваю громкость, и из динамиков
несутся слова, которых не постыдился бы сам Пушкин.
Тем более что он, с его частично африканским происхож-
дением, сегодня наверняка был бы рэпшером.

— That's Rock Bottom, — поет Эминем. — When this life
makes you mad enough to kill —

That's Rock Bottom.

When you want something bad enough to steal —

That's Rock Bottom.

When you feel that you've had it up to here
'cause you mad enough to scream
but you sad enough to tear —
That's Rock Bottom.

(Это самое дно,

Когда эта жизнь доводит вас до такого исступления, что
вы готовы убить,

Это самое дно.

Когда вы так сильно хотите чего-то, что готовы это украсть,
Это самое дно.

Когда вы уже сыты всем этим по горло,

Потому что вам хочется кричать от злости,

Но от грусти у вас льются слезы —

Это самое дно.)

— Только попробуйте сказать мне, что это не про Германна, — говорю я. — И это тоже.

Эминем поет второй куплет, который начинается словами «My life is full of empty promises and broken dreams» («Моя жизнь полна пустыми обещаниями и разбитыми мечтами»), а заканчивается так: «Cause all you need is bucks to be the man» («Потому что для того, чтобы быть мужчиной, нужны только деньги»).

— Слышите? — говорю я. — «All you need is bucks to be the man» — в этом смысле с пушкинских времен ничего не изменилось. А это разве не про Германна? «I want the money, the woman, the fortune, the fame» («Мне нужны деньги, женщина, удача, слава»). — Я нажимаю на «Паузу» и повторяю вслед за Эминемом, чтобы подчеркнуть, что это как будто прямо о Германне написано. — Только Германн думал решить свои проблемы при помощи карт, а у героя Эминема нет ничего, кроме пистолета. Впрочем, и Германну тоже пришлось прибегнуть к помощи оружия, хотя на курок он так и не нажал. «Means I ain't burning in hell scorching in flames» («Значит, не гореть мне в аду, корчась в огне»). А это надо с прямо противоположным знаком

понимать. То есть именно так, что ему предстоит как раз в аду гореть и в огне гееннском корчиться. Потому что ключевой момент в «Пиковой даме» — это тот, когда Германн, умоляя графиню открыть ему три карты, говорит ей, что если ее секрет связан с каким-то грехом, то он готов взять его на себя. Этим он решает свою судьбу, да и судьбу Лизы, кстати, тоже.

Я опять обвожу взглядом моих онемевших от изумления учеников и включаю музыку, повернув ручку громкости до предела. Снова начинается мой любимый припев:

— That's Rock Bottom, — уже не поет, а утверждает Эминем. — When this life makes you mad enough to kill — That's Rock Bottom.

When you want something bad enough to steal — That's Rock Bottom.

When you feel that you've had it up to here
cause you mad enough to scream
but you sad enough to tear —
That's Rock Bottom.

Дослушать песню до конца мы не успеваем, потому что дверь в класс с шумом распахивается и на пороге возникает директор школы мистер Файнстайн.

— Что здесь происходит? — кричит он, пытаюсь заглушить им же самым недавно приобретенные новые колонки, о которых он с такой гордостью рассказывал мне в тот день, когда показывал школу и давал советы, как обращаться с учениками. — Выключите немедленно это безобразие!

Я нажимаю на кнопку «Стоп» и понимаю, что меня ждут большие неприятности.

— Привет, — вспыхивает окошко ICQ на Дашином компьютере. — Узнала меня?

— Не большая загадка, — печатает в ответ Даша. — Тут же имя твоё стоит. Сергей.

- Помнишь меня?
- Помню.
- Скучала?
- Очень. Прямо спать не могла.
- Напрасно иронизируешь. Я вот скучал.
- Сильно?
- Сильно.
- Почему?
- Ну почему люди друг по другу скучают? Хочу тебя увидеть.
- Ты же видел. Я же тебе фотку посылала.
- Это не то. Хочу живьем увидеть.
- Зачем?
- Ты красивая.
- Красивых много.
- Да, много. А такая, как ты, одна. Как жених твой поживает?
- Нормально.
- Часто встречаешься с ним?
- Не очень. Он работает. Я учусь. И работаю тоже. Времени нет совсем.
- А на меня найдешь время?
- Не знаю. Я подумать должна.
- Ну хорошо. Думай. Только не очень долго.
- Я быстро не умею.
- Хорошо. Я подожду.
- О'кей.
- Береги себя, Даша. И не бойся ничего.
- Уже подумала, — печатает Даша, но окошко ICQ гаснет.
- Сergeй отключился, не успев прочитать ее ответа.

Смена у Игоря заканчивается в десять часов вечера. По ночам он пока все-таки ездить боится — достаточно всякой грязи за день видит, чтобы еще в ночные истории ввязываться.

ся. Хотя ночью, говорят, заработать больше можно — машин мало, конкуренция минимальная, да и пассажиры часто пьяные ездят, на чай хорошо дают.

Когда Игорь подъезжает к базе, где ему предстоит сдать машину и дневную выручку, он видит стоящего у входа в их «Car Service» Пола — сына Илюшиного троюродного брата Максима, с которым он познакомился в самый первый день своего пребывания в Америке, когда прямо с аэродрома совершенно неожиданно вместе с Ильей и его семейством попал к ним в гости. Пола вообще-то родители Пашей называли, но он в Америке себя переименовал.

Припарковав машину, Игорь вылезает из нее и говорит Полу:

— Подождешь меня? Мне надо деньги сдать.

— Никаких проблем, — говорит Пол, закуривая. — Только не тяни особенно. Они там ждать не любят.

Игорь возвращается довольно быстро — Пол даже не успевает докурить свою сигарету.

— Куда идем? — говорит Игорь.

— В «Эдем». Тут недалеко.

Вечером, с наступлением темноты, Брайтон быстро пустеет, и трудно поверить, что днем тут кипит такая бурная жизнь. Людей на улицах практически нет, только огромные горы отбросов около многочисленных продуктовых магазинов и ресторанов.

В отличие от фасадов с опущенными железными решетками и погашенными витринами, «Эдем» как раз освещен очень хорошо. Развешанные на нем к Рош-Хашане разноцветные лампочки перемигиваются друг с другом, а из-за закрытых дверей доносится какая-то удалая попсовая песня.

Игорь и Пол заходят внутрь, но направляются не в ресторанный зал, а к ведущей вниз лестнице. Около нее стоят два внушительного вида хлопчика, но Пола

здесь, похоже, хорошо знают, и их никто не останавливает.

Пройдя два темных пролета, они оказываются перед массивной железной дверью, в которой на стук Пола открывается небольшое окошко.

— Свои, Максимыч, открывай, — говорит Пол и, когда дверь со скрипом и лязгом распахивается перед ними, обращается к Игорю: — Знакомься, Игорек: Человек-Гора. А можно просто: Максимыч.

Стоящий перед ними человек действительно напоминает гору. Уж на что Игорь не маленького роста, но этот выше его как минимум на голову. А комплекции такой, что практически полностью закрывает своим телом дверной проем.

— Мы к Яше, Максимыч, — говорит Пол.

— Давайте, — отвечает Человек-Гора, не двигаясь, однако, с места и по-прежнему загораживая им путь. — Он тебя с самого утра спрашивал. Бабки принес?

— Не твое дело, — говорит Пол. — Дашь пройти или мне покричать его, чтоб он сам вышел?

Максимыч медленно, как бы нехотя, отходит в сторону, и Пол с Игорем, сделав пару шагов вперед, оказываются в большом полутемном зале, уставленном многочисленными столами, за которыми идет местами спокойная, местами бурная карточная игра. Но наибольшее оживление царит вокруг расположенного в самом центре рулеточного стола. Во-первых, там и народу побольше, а во-вторых, рулетка все-таки всегда поживее карт была.

— Посиди тут пока, — говорит Пол Игорю. — Сыграй, если хочешь.

— Я азартными играми не интересуюсь, — говорит Игорь.

— Бабки не проблема, — говорит Пол. — Я скажу сейчас, тебе фишки на мой счет запишут.

— Не надо, — говорит Игорь. — Не в бабках дело. Не интересно мне это. Не заводит. Да и все равно тут выиграть невозможно.

— Не скажи, Игорек, у меня неплохо иногда получается, — говорит Пол. — А впрочем, как хочешь. Короче, подожди меня здесь. Я мигом.

Он мгновенно исчезает за какой-то боковой дверью, а Игорь медленно направляется к рулеточному столу. Он смотрит на стремительно крутящееся колесо, на мечущийся по кромке шарик, на не отрывающих от него глаз людей и думает о том, насколько все это ему бесконечно чуждо. Азарт этот, ставка на удачу, на случай, на везение. Вместо того чтобы элементарно продумать все, просчитать, подготовиться и сделать то, что задумал. От шарика какого-то зависеть. Смешно.

— Ну что, не соблазнился? — звучит за спиной голос Пола, который трогает Игоря за левое плечо.

— Да я же сказал: не заводит меня это, — говорит Игорь.

— Ну-ну, — говорит Пол и тянет его за рукав. — Пойдем. Яша ждет.

Через боковую дверь они проходят в небольшую комнату, которая, в отличие от игрового зала, освещена очень ярко. За массивным столом, уставленным выпивкой и закусками, сидит тщедушного вида мужчина с большой лысиной и трехдневной небритостью на лице. Его шелковая рубашка темно-зеленого цвета растегнута почти до пояса, а рукава высоко закатаны, отчего хорошо видны покрывающие его тело довольно замысловатые татуировки.

— Привет молодежи, — говорит Яша. — Заходите. Накатите со стариком?

Игорь делает неопределенный жест рукой, означающий, что «нет, мол, спасибо».

— Брезгуешь? — говорит Яша, а Пол бросает на Игоря недовольный взгляд.

— Нет, — говорит Игорь. — Не брезгую. Просто я не пью.

— Это плохо, что не пьешь, — говорит Яша. — Ни одного еще непьющего не встречал, чтобы он рано или поздно гнидой не оказался.

— Вы не поняли, — говорит Игорь. — Нельзя мне пить. Алкоголик я. Вы тут хлопнете по рюмашке-другой и по домам пойдете. А у меня потом запой на две недели будет.

— Алкоголик, — задумчиво говорит Яша. — В твоём-то возрасте. Ценю юмор. Что, обычно верят тебе?

— Обычно верят, — говорит Игорь.

— Ладно, — говорит Яша. — Присаживайся. Я, в конце концов, не корешиться с тобой собираюсь. Бабки достал?

Игорь кивает.

— Вот и ладушки, — говорит Яша.

Открыв ящик своего стола, он вынимает оттуда заволаживающей черноты пистолет и кладет его перед собой.

— «Глок», — говорит он. — Лучший ствол в мире. С ним ничто не может сравниться.

— Да? — говорит Игорь. — Я вообще-то к ТТ привык.

— Тоже хорошая пушка, но «Глок» лучше, — говорит Яша. — У меня у самого такой, и я могу честно объяснить тебе почему. Семь причин у меня есть, по которым я «Глок» ни на что не променяю. Первая причина: надежность. Если за «Глоком» правильно ухаживать, он надежен на сто процентов. И никому, кроме него, я свою жизнь никогда не доверю. Вторая: прочность. «Глоки» практически бессмертны. По крайней мере, по сравнению со средней продолжительностью жизни нормального человека. Третья: простота в употреблении. Это единственный полуавтоматический ствол, который даже любой профан в оружии может самостоятельно и без особых усилий разобрать. Попробуй нечто подобное с «НК», «Береттой» или «1911» проделать. Четвертая: спусковой механизм. То, что по-английски «trigger pull» называется. Никаких тебе переключений от «single action» к «double action». Никакого

«de-cocking». Не знаю, как это по-русски сказать. Пятая: репутация. И солдаты и полицейские во всем мире именно «Глоки» юзают. А они не лохи. Шестая: вес почти никакой, потому что каркас и некоторые части из полимеров сделаны. Седьмая: семнадцать патронов девятого калибра в магазине — более чем достаточно практически в любой ситуации. И наконец, восьмая: цена. Я, конечно, могу тебе «НК», «Sig» или «1911» достать, но мне почему-то кажется, что у тебя бабла лишнего нет.

Яша замолкает, а Игорь берет пистолет со стола, пробует его на вес, сжимает рукоятку.

— А тебе на что он вообще? — говорит Яша. — Если завалить кого собрался, то мой тебе совет: лучше профессионалам заказать. Стоить больше будет, но зато верняк.

— Не, — говорит Игорь. — Я в кар-сервисе работаю. Там опасно по ночам. Со стволом мне все же поспокойней будет.

— Понимаю, — говорит Яша. — Сам побомбил тут вначале немного. Ну что, берешь? Полную обойму за ту же цену добавлю.

Он опять лезет в стол и вынимает оттуда заряженный магазин к «Глоку». Игорь вскидывает пустой пистолет, прицеливается куда-то в сторону, в темный угол комнаты, где никого нет, и нажимает на курок. Пистолет глухо щелкает.

— Пиф-паф, — говорит Игорь и опять нажимает на курок. — Пиф-паф. Пиф-паф. Пиф-паф. Кто не спрятался, я не виноват.

ТУТАНХАМОН ИЗ БЕНСОНХЕРСТА

— Мы взяли вас из милости и сострадания, — говорит мне директор школы мистер Файнстайн. — Мы пожалели вас и вашу несчастную семью. Нам сказали, что вы приличный,

интеллигентный человек, а вы оказались любителем рэпа. Мы хотели, чтобы вы прививали детям любовь к прекрасному, а вы что делаете... Я, правда, сомневался в том, что в русской литературе есть достойные образцы, изучая которые, можно действительно развить у детей хороший вкус. Вся история России — это сплошные преступления против человечества, угнетение народов, деспотизм, кровавые погромы и антисемитизм, что в полной мере отражено в русской литературе. Вот вы представили нам план программы ваших занятий. Там указано несколько писателей — Пушкин, Гоголь, Достоевский. Я сверился с Еврейской энциклопедией, и оказалось, что все они были зоологически антисемитами.

— При чем тут рэп? — говорю я.

— Здесь вопросы я задаю, — говорит мистер Файнстайн. — И я хочу знать, почему вы собираетесь преподавать учащимся нашей школы, большинство которых составляют евреи, произведения писателей, которые были идейными вдохновителями погромов?

— На территории самой России никогда не было ни одного погрома, — говорю я. — Это все только на Украине, в Молдавии и в Белоруссии, а они сегодня независимые страны.

— Вы меня удивляете, — говорит мистер Файнстайн. — Всему цивилизованному миру известно, что еврейский погром — это чисто русское явление. Даже само это слово пришло во все языки мира из русского.

— Назовите мне хотя бы один погром в русском городе, — говорю я.

— Я не специалист по истории, — говорит мистер Файнстайн. — Но одно я точно знаю. Ваша программа занятий абсолютно неприемлема. И если вы хотите работать в нашей школе, немедленно пересмотрите ее на предмет исключения из плана антисемитских писателей и включения в него шедевров еврейской литературы.

— Хорошо, — говорю я. — Я пересмотрю и включу.

Мистер Файнстайн одаривает меня ослепительной улыбкой.

— Вот и замечательно, — говорит он. — Я знал, что мы с вами найдем общий язык. А что касается рэпа, то имейте в виду: прослушивание песен с нецензурной лексикой в стенах нашей школы категорически запрещено.

— Я это уже понял, — говорю я. — Я просто хотел как-то привязать творчество Пушкина к нашим дням.

— Вы выбрали плохой способ, — говорит мистер Файнстайн. — И еще один момент: обратите, пожалуйста, внимание на ваш внешний вид.

— Что вы имеете в виду? — говорю я.

— Ну, вот наряд ваш клоунский. Или борода эта, например, — говорит он. — Какой пример вы подаете детям?

— Никакого, — говорю я. — У них борода еще не растет, так что мне подражать они при всем своем желании не смогут.

— Мое дело вас предупредить, — говорит мистер Файнстайн. — А выводы вы сами делаете.

Когда я возвращаюсь домой, Татьяна встречает меня в коридоре и спрашивает:

— Ну и как прошел твой первый день в школе? Научился ты там чему-нибудь?

С тех пор как Игорь начал работать всерьез, время полетело гораздо быстрее. С утра пришел на базу, проверил машину, убедился, что радио в порядке, и — вперед. В основном поездки все местные, по Бруклину. Чаще всего в треугольнике Брайтон-Бич — Бенсонхерст — Бей-Ридж. Изучить эти районы большого труда не стоило, и буквально через пару недель Игорь стал ездить уже на чистом автоматизме. Это ему больше всего и нравится в его работе: рулишь себе по улицам, вроде деньги зарабатываешь, а на

самом деле о своем думаешь. И никто тебе не мешает — ни другие водители, ни диспетчер, что все время по радио свистит, ни пассажиры, среди которых немало попадаетеся желающих душу излить или просто потрепаться. А трепаться, не отвлекаясь от своих мыслей, Игорь давно научился. Посерьезней бывали обстоятельства в жизни.

— Тринадцатый, ответь базе, — говорит радио. — Ты с Восьмого Вэста поднял?

— Поднял, поднял, — говорит Игорь. — И на место положил.

— Пять долларов с него, — говорит диспетчер.

— У меня купон на доллар, — говорит сидящий на заднем сиденье пожилой мужчина.

— Он говорит: у него купон, — докладывает Игорь диспетчеру.

— Заранее надо было предупредить, — немедленно реагирует радио. — Пять долларов. Как освободишься — дай знать.

Игорь смотрит в зеркальце на своего пассажира. На вид ему уже под восемьдесят, если не больше. Волосы совсем седые, редкие. Лицо все в морщинах, но осанка не стариковская. Видно, что человек следит за собой. Вернее, старается следить, но в его возрасте это уже не очень хорошо получается.

— Воевал, отец? — говорит Игорь.

— В сорок втором призвали, — говорит пассажир. — Когда школу закончил. Как раз к Сталинграду поспел.

— Не танкист, случаем? — говорит Игорь, сворачивая на Оушен-Парквей.

— Артиллерист. В сорок третьем зацепило меня здорово. Возле Курска. Прохоровка — слышали про такое место?

— Нет, — говорит Игорь.

— Жалко, — говорит пассажир. — Раньше все знали, где это и что там летом сорок третьего было. Теперь никто не знает.

— Здесь направо или налево? — говорит Игорь.

— Направо. Вон тот дом, где лев с отбитой мордой у двери сидит.

Игорь тормозит машину около обшарпанной фигуры, действительно отдаленно напоминающей очертаниями царя зверей, и оборачивается к пассажиру.

— Пять долларов, отец.

— У меня же купон, — говорит пассажир.

— Ну ладно, — говорит Игорь, — давай.

Пассажир протягивает ему четыре долларовые бумажки и помятый купон, вырезанный из листовки, которую нанятые «Boris Cars» школьники по домам разбрасывают.

— Спасибо вам, молодой человек, — говорит он.

— Не за что, — говорит Игорь. — Доллар всего. Что он меняет?

— Я теперь всегда просить буду, чтобы вас присылали. Вас как зовут?

— Игорь.

— А меня Конюхов Юрий Андреевич. Полковник в отставке. Но здесь это не имеет значения.

— Да уж, — говорит Игорь. — И там тоже.

Порывшись в кармане, пассажир достает оттуда еще одну помятую бумажку и что-то медленно на ней пишет.

— Вот мой телефон, — говорит он. — Звоните в любое время.

— Спасибо, отец, — говорит Игорь. — Всего тебе.

Когда дверь за пассажиром захлопывается, Игорь трогается с места, включает радио и говорит:

— База, тринадцатый свободен.

— Взял пять долларов с него? — говорит диспетчер.

— Четыре взял, плюс купон, — говорит Игорь.

— На память его себе можешь оставить, — отзывается радио. — Подотрешься как-нибудь при случае. С тебя полюбому трояк за эту езду.

— Без проблем, — говорит Игорь.

— Возле госпиталя подними даму. Она в темно-красной кофте около остановки автобусной стоит. Семь долларов с нее. Потом можешь обедать ехать.

— Благодарствуйте, ваше высокородие, — говорит Игорь и опять разворачивается в сторону Ошеан-Парквей.

Обедать Игорь, как всегда, едет с Артемом Малашенко, с которым он познакомился в первый же день своей работы. Артем — сублительного вида юноша из Бенсонхерста, на вид совсем еще ребенок, с бледным, прозрачным лицом и огромными темными глазами. Все его зовут не иначе как Тутанхамон. Во-первых, из-за того, что он действительно похож на этого полумифического фараона, убитого своими придворными в возрасте восемнадцати или девятнадцати лет, а во-вторых, потому что Артем помешан на всем древнеегипетском. Коллекцию какую-то собирает, книжки всякие, из Интернета материалы. Вроде даже на археолога учиться хочет, но у его родителей денег наличный колледж нет, вот он и оказался за баранкой в «Boris Cars», где его непонятно почему держат. Водитель он, как говорят, никудышный, да еще и психованный какой-то. Особенно в последнее время.

Обед у Игоря с Тутанхамоном, как всегда, на втором этаже магазина «Интернэшнл фуд», где не так давно кафетерий открыли с самыми лучшими на Брайтоне чебуреками и холодным борщом. Когда Жириновский макароны нам на уши вешать приезжал, он тоже именно туда пошел — поест и с народом побазарить.

— Понимаешь, — говорит Артем, когда они садятся за столик под большим зонтом, который очень слабо защищает от все еще жаркого, несмотря на уже начавшийся сентябрь, солнца. — Диспетчер этот, козел вонючий, уволить грозит, а сам специально мне таких ездовых подбрасывает, на которых ничего не заработаешь. Стариков или хашидов, которые чаевых вообще никогда не дают. А я их еще по старой моей работе помню. Когда мы с Додиком Рип-

штейном и другими пацанами их на работу в Манхэттен возили. Кстати, я чего тебе сказать хотел. Там непонятка одна есть. Ты Додика этого хорошо знаешь?

— Нет, — говорит Игорь. — Пару раз видел всего. Он, типа, приятель того мужика, который мне комнату сдает.

— Так ты не работал с ним? — говорит Артем.

— Нет, — говорит Игорь. — А что?

— Тогда ничего, — говорит Артем. — Раз не работал, то и ничего.

— Ну, ничего так ничего, — говорит Игорь. — А что диспетчер этот?

— Да козел он, — говорит Артем. — Пидор гнойный. Думает, что я для удовольствия собственного на тачке его катаюсь. Мне бабки нужны.

— Бабки всем нужны, — говорит Игорь. — Ты хоть одного человека знаешь, кому они не нужны? Я, например, не знаю. Но чего напрягаться-то так? Тебе что, на жизнь не хватает?

— Ты в себе вообще, Игорек, а? — говорит Артем. — Ты думаешь, прежде чем сказать что-нибудь, или просто так языком чешешь, потому что тебе звук собственного голоса нравится? Я по двенадцать—четырнадцать часов за рулем, с одним выходным в неделю, а получаю столько, что, когда предкам мою долю за хату и жрачку отдаю, ничего и не остается почти. Я же говорил тебе, сколько тут учеба нормальная стоит.

— Ну и что? — говорит Игорь. — У тебя учеба, у других — еще что-то. Куда ни придешь, с кем ни заговоришь — только бабки, бабки, бабки, бабки одни. Все разговоры — кто сколько получает, что за сколько купили, за сколько продали, сколько сэкономили, кого на сколько кинули. Тебе не надоело еще, нет?

— Какая разница? — говорит Артем. — Кто нас вообще спрашивает, правится нам или не особенно? Ну, допустим,

надоело, но разве от этого изменится что? Или меня в Колумбийский университет бесплатно учиться возьмут?

— Колумбийский университет — это круто, — говорит Игорь. — А я вон залог, который за меня эти два ханурика внесли, никак отбить не могу.

— Какие ханурики?

— Ну, знаешь, ходит тут по Брайтону лысый дядька такой, в черном прикиде и с бородой лохматой чуть ли не до пупка, — говорит Игорь. — Он мужику, у которого я комнату снимаю, то ли брат троюродный, то ли сват какой-то. Хрен их там разберет. И друган у него еще есть — алкаш запойный, от которого баба к америкосу убежала. Короче, они скинулись тогда, внесли за меня полтонны баксов, потому что без этого мне тачку не давали. А я до сих пор им вернуть не могу.

— Чего так много они с тебя слупили? — говорит Артем. — Обычно триста — триста пятьдесят баксов залог.

— Ну, сказали, что я, типа, только приехал. Никто меня не знает.

— Тебя же Додик порекомендовал, — говорит Артем.

— Ну да, — говорит Игорь. — Только им ведь по тамтаму. Ладно. Поедем покатаемся еще. Я еще вообще сегодня ничего не накатал. Ну, разве на чебуреки, так я их уже съел.

— Не надо, Игорек, я понял.

— Ты о чем?

— Ну, понял я, что те три сотни, которые ты у меня еще неделю назад на два дня попросил, ты мне сегодня тоже не вернешь.

— Да я не к этому.

— А к чему? Просто так философствуешь, как тебе разговоры про бабки надоели? Дядек каких-то приплел. Меня колышет, сколько кому ты еще должен?

— Зря ты. Я правда не к этому.

— Ну, не к этому, тогда давай рассчитаемся сейчас и забудем, о'кей?

— Слушай, я же их у тебя не просто так просил. Мне действительно нужно было. Штучку одну прикупить. Оказия хорошая была. Не хотелось упускать.

— Прикупил?

— Прикупил.

— А я теперь что предкам моим скажу? Что они в этом месяце от уплаты ренты освобождаются? А вдруг этот пидор правда меня выпрет?

— Я тебе до конца месяца отдам.

— Каким образом? Нарисуешь?

— Ну чего ты нервничаешь так? Я же сказал отдам — значит, отдам.

— Я не нервничаю. Мне нервничать нечего. Главное, чтобы ты не занервничал.

— Пугаешь? — говорит Игорь уже гораздо менее дружелюбным голосом. — Не люблю я, когда меня пугают. С детства не люблю.

— Нет, Игорек, — говорит Артем, поднимаясь из-за стола, чтобы таким образом оказаться выше по-прежнему сидящего Игоря. При этом он очень старается звучать решительно и угрожающе, но получается это у него неважно. — Что я, мама твоя, тебя пугать? Просто для тебя же лучше будет, если ты мне эти три сотни как можно скорее вернешь.

— А то что? — говорит Игорь. — Что будет, если не верну? Покусаешь меня?

— Мальчики, — говорит проходящая мимо их столика уборщица, — на улицу идите отношения выяснять.

— А мы уже выяснили все, — огрызается Артем и опять поворачивается к Игорю. — Два дня тебе еще даю. Два дня, а потом продам твой долг пацанам, которые просить не будут.

— Упырям, что ли? — с усмешкой говорит Игорь.

— Увидишь, — говорит Артем. — Мало не покажется.

...— Удивляешь ты меня, — говорит Татьяна, когда за ужином я рассказываю ей о том, что произошло со мной сегодня в школе. — Взрослый мальчик уже вроде бы, а слушаешь такую чушь. И других еще соблазняешь.

— Эминем — не чушь, — говорю я. — Он — несчастная душа, которая страдает от несправедливостей этого мира. К тому же он честно стремится к правде, а такая честность многого стоит. Помнишь, как он в одной песне говорит: «Everybody says I should be positive. Now am I supposed to be positive If I don't see shit positive?» («Все говорят, что я должен быть оптимистом. Но как я могу быть оптимистом, если я не вижу все это дерьмо в оптимистическом ключе?») Это же как будто про меня написано.

— Да, он сам, может, и стремится к правде, а подросток наслушается его песен и пристрелит подружку свою беременную, — говорит Татьяна. — Или с собой покончит. А самое главное — это то, что его дикие ритмы забивают мозг. Они потом целыми днями так в голове и крутятся. И создают у тебя такое впечатление, что ты супермен. Что ты все можешь и что тебе все позволено.

— У меня они ничего такого не создают, — говорю я.

— Обязательно создают, — говорит Татьяна. — Ты ведь сам не замечаешь, как у тебя и голос меняется, и вообще вся манера поведения. Наслушаешься этого Эминема — сам такой же агрессивный становишься. Противно смотреть.

— У меня очень низкий запас энергии, — говорю я. — На нуле почти. Я и так еле ноги таскаю. А Эминем помогает мне подзарядиться. «To get through the day», как американцы говорят. И потом, ты же знаешь, какой у меня эклектичный вкус. То, что мне Эминем нравится, вовсе не означает, что я разлюбил Чайковского или, например, Шуберта.

— Ну да, — говорит Татьяна. — Это мне напоминает мужа, который объясняет своей супруге, что он иногда ходит в публичный дом, но ничего страшного в этом нет,

потому что общение с проститутками не означает, что у него больше нет никаких чувств к жене.

— Я взрослый человек, у меня сложившиеся вкусы, — говорю я. — И они не изменятся от того, что я на какие-нибудь песенки подсел. Сегодня одни, завтра — другие. Что в этом страшного? Уже сколько раз так было... Может, подросткам, у которых вкус еще не сформировался, действительно не стоит Эминемом увлекаться, но мне он никакого вреда причинить не может.

— А это все равно, как если бы тот же муж своей жене сказал: «Я уже взрослый. Мне можно по публичным домам ходить. Вот подростку, который еще не любил никого по-настоящему и не знает цену истинной любви, действительно в борделе делать нечего. А мне это не повредит. Даже, может, расширит мой эклектический вкус». В общем, я категорически запрещаю тебе слушать эти песни.

— Ну, знаешь, — говорю я, — это уже слишком. Как ты можешь разрешать мне что-то или запрещать? Мне что, два года?

— Не кричи на меня, — говорит Татьяна.

— А я и не кричу, — говорю я, как мне кажется, совершенно спокойно.

— Нет, кричишь, — говорит Татьяна. — Кричишь и сам не слышишь.

— Прекрасно я все слышу, — говорю я. — Но мне надоело, что ты меня постоянно критикуешь и контролируешь. Что бы я ни сделал — все не так. И музыка не та мне нравится, и книги я не те читаю, и дружу не с тем, с кем надо. Сколько это все будет продолжаться?

— Как тебе не стыдно? — говорит Татьяна. — Перестань на меня кричать.

— Я не кричу, — говорю я.

— Нет, кричишь. А я тебе ничего не сделала, чтобы ты на меня кричал, — говорит Татьяна. Голос у нее начинает дрожать, а по щекам уже катятся слезы.

...Пассажиры на заднем сиденье сменяют друг друга нескончаемой чередой, но никто и ничто не может помешать думать о своем. О том, о чем всегда думать и приятно, и страшно одновременно. «Как ты могла так поступить? Как ты смогла? Как ты вообще можешь жить без меня? Это ведь не так все должно было быть. Мы же совсем не так с тобой договаривались. Это с другими такие вещи сплошь и рядом происходят — но не с нами же. Не с нами».

Пожилая женщина — сын ее с семьей переехал с Брайтона в Бей-Ридж, а машины у них нет, вернее, есть, но в ремонте, а внуков повидать хочется.

Дама средних лет, но еще красивая. С покупками. Сумки еле в багажник уместились.

Две ездки в Кеннеди. Одна в Ла Гуардиа. Еще одна в Ньюарк. Поначалу вроде выгодно кажется. Не пятерка какая-нибудь, не трюльник, а сразу долларов двадцать—тридцать. Но если на затраты времени пересчитать, то все наоборот получается. Обрато чаще всего пустой едешь, а в пробку попадешь — вообще забудь. На мелочовке вдвое больше за тот же срок заработать можно.

Мужики какие-то бухие. Из одного кабака в другой гудеть катят. Правда, эти хоть по пьяни хорошие чаевые дают. Хотя что значит — «хорошие»? Ну больше стало на десятку, и что?

Девушка симпатичная. Молодая. Сильно накрашенная. В короткой юбке. Из Бенсонхерста в Боро-Парк едет. Как прибыли на место, говорит:

— Через часок заберешь меня отсюда?

— Позвони диспетчеру — заберу.

— Ты что, болеешь? Зачем тебе диспетчер? Я тебе и так заплачу. Пятерку вместо семи долларов, но зато ни с кем делиться не надо будет.

— Нет, не надо. Я в такие игры не играю.

Видно, позвонила диспетчеру все-таки, потому что действительно через час забрал ее. Она у подъезда стоит. Уже

без косметики. И сразу видно, что не такая уж и симпатичная. И не такая уж и молодая, кстати, тоже.

Два пацана обколотых. Вообще ничего не соображают вроде. Тормозят только. Но как довез их, они двери нараспашку — и бежать в разные стороны. Поймал одного. Тряханул как следует. А он говорит:

— Хочешь — убей, а бабок все равно нет. — Еще разок трякнул его. — Ну, отсосать могу, а бабок нет. Честное пионерское.

Нормальные люди тоже попадаютсся, но редко. У нормальных, наверное, у всех свои машины. Им кар-сервис ни к чему.

Около одиннадцати часов, когда смена почти закончилась и Игорь уже направляется сдавать машину и выручку, включается радио связи с базой:

— Тринадцатый, тринадцатый, ты где?

— Туточки я, — говорит Игорь. — Кингс-Хайвей и Авеню Экс.

— Немедленно возвращайся на базу. Немедленно!

— Я туда и направляюсь.

— Побыстрее давай.

— Чего за спешка-то? Пожар?

— Пожар. Ты Тутанхамона видел сегодня?

— Ну, — говорит Игорь. — Обедали вместе. А что?

— Убили его, вот что, — говорит радио.

— Как убили?

— Ну как, как? Ты что, блин, как убивают, не знаешь? Менты тут понаехали. Хренова туча. Говорят, нашли его в тачке нашей в Краун-Хайтс. В башке дыра с мандарин. В упор палили. Из убойного ствола какого-то. Типа того, который менты сами носят. Выручку забрали.

— А откуда заказ был?

— От верблюда. С улицы звонили. Угол Непчун и Кони-Айленд. Он как раз там крутился. Я ему и отдал.

— По-английски говорили?

— Нет, по-китайски. В общем, приезжай давай. Нака-
тался на сегодня — хватит. И это... еще знаешь что... подумай, чего говорить будешь.

— Кому говорить?

— Ну кому? Ментам, не мне же. Им тут уже донес кто-то, что вы с Тутанхамоном, типа, кореша были. Так что давай, пока рулишь там, подумай хорошенько.

— Не о чем мне думать, — со злостью говорит Игорь и отключает радио.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ?

«Что наша жизнь? Игра», — как известно, поется в «Пиковой даме» Чайковского, а вот у Эминема есть песня «If I Had», и она в принципе об этом же или почти об этом.

— Миленький, — говорит Татьяна, входя в мою комнату, — ты не мог бы это выключить? Правда — надоело уже.

— Хорошо, — говорю я. — Я пойду тогда с Аликом встречусь. Он в «Эдеме» сидит.

— Давай, — говорит Татьяна и возвращается на кухню, где они с Милой пьют чай и обсуждают превратности семейной жизни. Пока я одеваюсь в коридоре, мне довольно отчетливо слышны их голоса.

— Не знаю я, Тань, — говорит Мила. — Все вроде хорошо с Кеном. Не пьет он. Внимательный. Спокойный. К Сашке прекрасно относится. И все равно что-то не то. Даже не знаю, как объяснить.

— Может, ты просто капризничаешь, — говорит Татьяна. — С жиру, так сказать...

— Может быть, — говорит Мила. — Но бывает же у людей все хорошо.

— У кого, например? — говорит Татьяна. — Ты хоть кого-нибудь знаешь, у кого все хорошо?

— У вас, — говорит Мила. — У вас с Лешей.

— С чего ты взяла, что у нас все хорошо? — говорит Татьяна.

— Ты же сама всегда говоришь, что он идеальный муж, — говорит Мила.

— Я говорю, и ты говори, — говорит Татьяна. — Кто тебе говорить мешает?

— А если не идеальный, зачем ты тогда за него замуж выходила? — говорит Мила.

— He made me laugh¹, — почему-то по-английски отвечает Татьяна.

Я выхожу из квартиры и тихо закрываю за собой дверь.

В «Эдеме», как всегда, толпа народу, все столики заняты, а в центре зала под попсовую песенку толкаются танцующие. Алика нигде не видно, но зато ко мне скоро подходит Вадим Малинин — хозяин всего этого великолепия.

— Привет, — говорит он. — Поужинать хочешь? Я сейчас скажу, тебе столик организуют.

— Да нет, спасибо, я из дома, — говорю я. — Ты Алика не видел?

— Он внизу, — говорит Вадим. — Там, где казино теперь. Ты только не трепи никому об этом, о'кей?

— О чем? — говорю я. — О том, где Алик от жизни прячется?

— Нет, — говорит Вадим, — о том, что у нас там.

— Не буду, — говорю я. — А как туда пройти?

— Пойдем, — говорит Вадим. — В первый раз я тебя проведу, а потом они тебя запомнят и так пускать будут.

Подвал «Эдема» действительно представляет собой зрелище по-своему выдающееся. Это не какой-то запле-

¹ Игра слов, одновременно означающая и «мне нравились его шутки», и «он был мне смешон».

ванный игорный дом, а настоящее казино, интерьер которого скопирован с тех фотографий, что нам еще Розалия Францевна показывала. На Монте-Карло похоже. Или на Баден-Баден. Хотя ни там, ни там я никогда не был.

Алик сидит за столиком в самом темном углу в компании каких-то неизвестных мне ребят и мужиков. И, только подойдя к ним вплотную, я узнаю в одном из них Игоря.

— О, — говорит Алик, заметив меня, — какие люди в Голливуде! Присаживайся, слушаешь, как с нашими в полиции обращаются. Тебе как бывшему журналисту, а ныне воспитателю подрастающего поколения это должно быть интересно.

— Что случилось? — говорю я, придвигая к себе стул.

— Да ничего особенного, — говорит грузный мужчина средних лет.

Внимательно приглядевшись к нему, я вижу, что я его знаю: он нас с Татьяной пару раз на Пасху и Рождество, когда службы ночные, в храм возил. И даже имя его я, оказывается, помню — Сеня номер восемь. Так он и представляется всем, чтобы знали, как его потом через диспетчера вызывать.

— Грохнули водилу одного из наших, — говорит Сеня номер восемь. — Полчерепа из пушки снесли. А менты, вместо того чтобы черных трясти, к нам завалились, на пол всех мордой лица положили и шмон устроили. Обычный вечер в самом сердце «Одессы на Гудзоне».

— А чего искали? — говорю я.

— Болт их знает. Требовали все маршруты за день и все заказы.

— Отдали? — говорю я.

— Боря, хозяин наш, пошуметь решил сначала. Ордер на обыск показать требовал.

— Ну и? — говорю я.

— Ну и получил по рылу, естественно, — говорит Сеня.

— Да, — встречается сидящий рядом с ним мужик, вытирая салфеткой покрытую мелким потом лысину, — прикольно было. Он кричит: «I am an American citizen!»¹ А мент какой-то, типа старший у них там, ему спокойно так говорит, без эмоций: «You are a piece of shit»². И еще раз дубинкой ткнул его в грудь куда-то, чтоб успокоился.

— Помогло? — говорю я.

— Тебе когда-нибудь между ребер дубинку втыкали? — говорит мужик.

— Нет, — честно признаюсь я. — Ногами били — это было. Вон зубы передние все отбили... — Я поднимаю верхнюю губу, чтобы показать присутствующим, что я не вру. — А дубинкой не приходилось.

— Ну, дубинкой тоже помогает, — говорит мужчина.

— И чем все кончилось? — говорю я.

— Да ничем, — говорит Сеня номер восемь. — Документы изъяли. Игорьку вон велели завтра в участок с утречка пораньше заглянуть. Остальным тоже порекомендовали пределы Большого Яблока не покидать.

— А Игорь тут при чем? — говорю я.

— Да ни при чем, — говорит Сеня номер восемь. — Это они с черными связываться не хотят. Боятся их. А с нашими все можно.

— Хочешь, я с тобой пойду? — обращаюсь я к Игорю.

— Можно, — говорит он.

— Как у тебя с английским-то? — говорю я.

— Да нормально вроде, — говорит он.

— Ну, я все равно могу пойти — на всякий случай, — говорю я. — Если не поймешь чего, я переведу.

— Спасибо, — говорит Игорь и поднимается со своего места. — Ладно, мне пора.

¹ Я — американский гражданин (англ.).

² Ты — кусок дерьма (англ.).

— Давай, — говорю я. — Во сколько встречаемся завтра?

— В девять, — говорит Игорь. — Возле участка. Знаете, где он?

Я киваю.

— Ну что, мужики, это все интересно, конечно, — говорит Алик, когда Игорь уходит, — но не для этого же я сюда приперся. Пулечку-то распишем или как?

— Или как, — говорю я.

— А здесь что, и в преферанс можно? — говорит Сеня номер восемь, заметно оживляясь, потому что какой кандидат наук в преферанс не играет?

Он нам как-то с Татьяной по дороге свою биографию рассказывал. Про то, как он в Киеве завлабораторией был. Химикаты какие-то выхимичивал. Я вообще сколько ездил здесь на кар-сервисах, кажется, еще ни одного водителя без кандидатской как минимум не встречал. Даже было время, думал, что от них ученую степень в качестве непрямого условия приема на работу требуют, но Татьяна меня разубедила потом.

— Здесь все можно, — говорит Алик. — Это вам не Лас-Вегас и не Атлантик-Сити. Десять долларов в час с носа за стол плюс десять процентов от выигрыша — и играйте во что хотите. Ну что, Леш, будешь?

— Ты же знаешь, что я завязал, — говорю я.

— Ну, как завязал, так и развяжи, — говорит Алик. — Только не надо нам, пожалуйста, ужастики всякие рассказывать про то, что тебе нельзя и что у тебя наследственность нехорошая. Мы это уже сто раз слышали.

— Так в чем дело тогда? — говорю я. — Значит, мне и повторяться не надо. Сам понимать должен.

— Ладно, Леш, — говорит Алик. — Я же вижу, как тебе хочется еще раз всю эту бодягу нам поведать. Ты же любишь это дело. Давай, не стесняйся. Тут и новые люди есть. Они не слышали еще.

— Не буду я ничего рассказывать, — говорю я.

— Тогда я сам расскажу, хочешь? — говорит Алик. — Я ведь эту хохму наизусть уже выучил. Как, впрочем, и все остальные твои байки.

— Валяй, — как можно более равнодушно говорю я. — Если тебе не лень, конечно.

— Почему лень? — говорит Алик. — Совсем даже не лень. Ну, короче, у Лешки нашего прадедушка крутой такой купчина был в Одессе. Лес в основном перегонял с места на место, ну и нарубил на этом деле бабла немеряно. Все пучком у него было, если бы не одно маленькое пристрастие. Картишки-с. Уж родичи его как только отучить от этого не пытались, а он, только останется один, сразу к игорному столу — прыг. В общем, допрыгался. Однажды огромную партию древесины загнал кому-то и, вместо того чтобы домой к семейству своему спокойно ехать, решил по дороге в казино зарулить. Дальше там — темна вода во облацех. Лешка по-разному рассказывает. Когда трезвый, то говорит, что прадед его все продул там и прямо за столом от разрыва сердца скончался. А если ему пару фужеров водяры скормить, то можно узнать, что предок его себе пулю в лобешник пустил. Деньжата по-любому тю-тю, да и семейство тоже пострадало. Супруга ненадолго его пережила, а трех дочек, что от них остались, родня разобрала.

— А Лешка-то тут при чем? — говорит Сеня номер восемь.

— Хороший вопрос, — говорит Алик. — Правильный. Ни при чем тут Лешка, но он считает, что от прадеда страсть к азартным играм унаследовал, и каждый раз, как продует все до копейки, на предка своего валит. А зачем валить на кого-то, если играть не умеешь, правильно?

Пока Алик говорил, он успел распечатать лежавшую в углу стола карточную колоду, и теперь я вижу, как он медленно ее перетасовывает. Я действительно очень давно не играл, и от одного воспоминания о том, как сами

собой ложатся в руки карты, как они складываются веерной речкой, которая в любой момент может развалиться, но не разваливается, — от одного воспоминания о том, какие они легкие и сколько в них одновременно веса, у меня по спине пробегает холодок.

— Нормально я играю, — говорю я. — Не хуже тебя. Просто я азартный слишком. Не могу остановиться вовремя.

— А если нормально, то давай сыграем, — говорит Алик. — Чего тебе бояться?

— Хорошо, — говорю я. — Ты прав. Бояться нечего. Сдавай. Но только не «Сочи» твои детсадовские писать будем, а «Ленинград». И распасы удваиваются.

— Договорились, — говорит Алик. — По пять центов за вист пойдет?

Я киваю, и Алик начинает сдавать.

Преферанс такая игра, что в ней все от умения зависит. По рассказам бабушки, мой дед вообще никогда не проигрывал — вне зависимости от того, шла ему карта или нет. А играл он много: как минимум два раза в неделю у них целая компания собиралась.

Так вот, в преферанс я научился играть, когда мне было десять лет. Никогда не забуду то лето. Мы с родителями и их друзьями поехали в Закарпатье. Поезд вообще-то курсировал между Москвой и Прагой, и поэтому проводники продавали из-под полы жвачку — в первый раз я тогда ее попробовал. Остановились мы в Ужгороде. Красота там была несказанная. Горы, речка, старушка древняя парное молоко продавала, и мы им черный хлеб запивали. Очень вкусно было.

На пляже отец и его лучший друг почти каждый день расписывали пульку — гусарика, естественно, потому что больше им играть не с кем было. А я рядом лежал и смот-

рел. Они мне ничего и не объясняли почти — так, пару слов иногда. Но я все равно научился.

Каникулы те, надо сказать, невесело закончились. Однажды утром мы проснулись от страшного грохота и, выглянув в окно, увидели, что мимо нашей гостиницы в сторону границы идут танки. Стоял август 1968 года, и я вслед за взрослыми повторял, что какой кошмар, мол, вообще обалдели наши. Душат свободолюбивых чехов. Маленький я был тогда. Ничего не понимал. Да и как я мог понять, что это была просто очередная пристрелка по Родине моей любимой, лучше которой ничего не было и не будет на земле? Откуда мне было знать о том, какие чудовищные усилия постоянно предпринимались для того, чтобы сокрушить ее, разрушить, уничтожить, стереть с лица земли, сделать так, чтобы больше не было ее никогда?

Ничего я не знал тогда, кроме того, что марьяж — это верная взятка при любом раскладе, а если нет хода, то надо ходить с бубей.

Эти знания мне очень потомгодились. В старших классах школы я играл лучше всех, однажды даже чуть не зарезали меня из-за того, что слишком много выиграл, а в институте преферанс вообще превратился в основной источник доходов. Стипендии сорокарублевой мало на что хватало, а даже по копейке за вист рублей десять—пятнадцать можно было легко выиграть. Да и нравилось мне это очень. Само ощущение карт в руке. То, как они тасуются. Как сдаются. Как открываешь их — медленно, по одной, раскладывая масть к масти, прикидывая уже, куда игра пойдет. Как на людей, с тобой за столом сидящих, смотришь, пытаешься угадать, как там у них разлеглось.

В Америке играть мне уже было не с кем. Не получилось тут как-то с компанией. Кто работой был занят, кто еще какими делами, и я переключился на «очко» — благо автобусы в Атлантик-Сити чуть ли не от каждой газетно-табачной лавки ходят. Играл, конечно, не просто так, а по

системе. Карты считал. Система несложная: чем больше картинок остается в колоде, тем выше у крупье шанс перебрать. Значит, надо увеличивать ставку и останавливаться даже на 13 или 12. Ждать, пока крупье проиграет. Ну и другие секреты всякие у меня были — сейчас уже даже не помню их толком. Потому что в какой-то момент надоело мне это все. Едешь отдохнуть вроде, а возвращаешься без цента в кармане. От бытовухи отвлекает, конечно, но настраивание потом какое-то не самое лучшее.

Игра наша близится к концу, и положение у меня очень даже неплохое. По вистам нули, горки нет почти, а в пуле отстаю чуть-чуть, но это нормально, еще успею нагнать.

Сдает тот лысый мужик, который четвертым с нами играет и напротив меня сидит. Я медленно открываю карты, и сердце чуть не выпрыгивает от радости. Туз, король, дама, валет в трефах и точно такая же комбинация в червях. Для неумеющих играть в преферанс объясняю, что это верные восемь взяток, и после короткой торговли прикуп достается мне. Там пустышка пиковая — сразу в снос идет, но это меня не смущает. Одно плохо — ход не мой, но после короткого раздумья я понимаю, что отступать мне все равно некуда, и объявляю восемь треф. Это значит, что я обязуюсь взять восемь взяток, а козырями будут трефы. Дальше все на самом деле предельно просто — старшая карта бьет младшую той же масти, а если у тебя данной масти нет, то обязан козыря класть, и взятка твоя. Если же и козыря нет, то кладешь любую другую масть, но тогда уже взятку теряешь.

— Пас, — говорит Алик.

— Вист, — говорит Сеня номер восемь.

Это они определились, кто на оставшиеся две взятки претендовать будет. Мне это безразлично, конечно: кроме двух верхушек в червях и трефах, еще две бубны у меня совсем никудышные. Их по-любому отдавать придется.

— Ложимся, — говорит Сеня номер восемь.

Они с Аликом кладут свои карты на стол, и я не верю своим глазам. Такой расклад один раз на миллион бывает. У Алика, которому первым ходить предстоит, все четыре маленькие черви, четыре бубновые карты и две пики. У Сени — все четыре трефы, четыре бубны, тоже две пики, а червей нет вообще. Был бы мой ход, я бы всех козырей у Сени отнял, а потом спокойно забрал бы и свои черви. А так, что сейчас получится? Алик сразу пойдет с червей. Я его карту убью, потому что у меня все старше. Но у Сени этой масти нет, и он мою наивернейшую взятку отберет козырем. Потом пойдет с маленькой пики, которая у меня в сносе, передаст ход Алику, и все повторится снова. Потом еще раз то же самос. Потом они мне на козыря ход отдадут, но это ничего уже не изменит. Я останусь без трех взяток, что при восьмерной смерти подобно.

Но на самом деле все получается даже еще немножко хуже. Они решают никакой карусели мне не устраивать, и Алик сразу заходит с бубей, которых у меня нет, и я вынужден бить его карту козырной трефой. Теперь у меня остается три старшие трефы, а у Сени — четыре. Маленькие, правда, но на одну больше, чем у меня. Это означает, что я могу только еще три козырные взятки свои получить, а потом они по-любому отбирают у меня ход и всю мою червовую верхушку убивают на корню. В «Ленинграде», где гора и висты двойные, плюс еще за приглашение открыться опять недобор пишется, сами считайте, сколько я, подсев на восьмерной без четырех, проиграл.

Поздняя ночь. Алик давно ушел домой со своим небольшим выигрышем. Сеня номер восемь тоже куда-то исчез. Я остался с незнакомым мне лысым мужиком, и играем мы с ним теперь в гусарика. Желающих присоединиться не нашлось, но вокруг нашего стола собрался еще оставшийся в казино

народ. Смотреть на хорошую партию преферанса иногда не менее интересно бывает, чем самому участвовать.

Мы уже четыре круга распасов отыграли — это, когда взятки брать, наоборот, нельзя. Каждая взятка не в плюс, а в минус — в гору — идет. Первый круг был по два очка, второй — по четыре. Если теперь опять распасы будут, то уже по тридцать два. Грубо говоря, шестнадцать баксов за каждую взятку проигрываешь.

Я открываю сданные мне лысым мужиком карты. Еле-еле четыре взятки на руках, а минимум, при котором можно начинать торговаться, — шесть. В прикупе, конечно, еще что-то может быть, но на это нельзя особенно рассчитывать. Рисковать не хочется, потому что я, когда меня еще Алик уговаривал, сразу решил, что сегодня рисковать ни за что не буду.

— Пас, — говорю я.

— Ну и я тогда тоже пас, — говорит мужик. — Ходи.

Я, как и полагается по всем правилам, отбираю мои четыре взятки, чтобы потом уже ему ход передать. Отобрал. Восьмеркой треф — самой маленькой моей картой — хожу. А у него семерка. Десяткой треф. А у него — девятка. Королем треф. А у него — валет. У меня остаются три пики. Хожу с нижней — с десятки. Он семерку кладет. Это обнадеживает — может, у него туз с королем остались. Хожу вальтом. Он кладет восьмерку. Последний ход — дама пик. Он кладет девятку и радостно улыбается. Все десять взятки мои. Сто шестьдесят долларов — за две минуты как не было.

— Не, представляете, пацаны, — говорит мужик, обращаясь к столпившимся около нашего стола зрителям. — Прикиньте. Пятый круг распасов. У меня на руках мизер чистый, без единой дырки, а этот поц «пас» говорит.

What is life? — поет у меня в голове Эминем. —

I'm tired of life

I'm tired of backstabbing ass snakes with friendly grins,

I'm tired of committing so many sins,

Tired of always giving in when this bottle of Henney wins,
Tired of never having any ends...

(Или по-русски:

Что такое жизнь?

Я устал от жизни.

Я устал от жалящих в спину змей с дружелюбными
улыбками,

Я устал от всех совершенных мною грехов,

Устал постоянно проигрывать бутылке «Хеннеси»,

Устал от постоянного отсутствия денег...)

Те, кто умеет играть в преферанс, понимают, что все
это значит. А тем, кто не умеет, — все равно не объяс-
нишь.

Поздняя ночь. Грег останавливает свой серебристый «Лек-
сус» возле дома Зарецких и поворачивается к сидящей ря-
дом с ним Даше.

— Устала? — говорит он.

— Нет, — говорит она.

— А почему такая грустная?

— Ну, наверное, устала все-таки. Немножко.

— Я тоже, — говорит он, и в машине воцаряется тишина.

— Не жалеешь, что мы пошли? — говорит Грег.

— Нет, — говорит Даша. — Не жалею.

— Надо иногда хотя бы развлекаться, — говорит Грег. —

Нельзя же все время за учебниками сидеть.

— Нельзя, — говорит Даша и опять замолкает.

— У тебя все в порядке? — говорит Грег.

— Да, — говорит Даша. — Почему ты спрашиваешь?

— Ты какая-то слишком грустная, — говорит Грег.

— Я же сказала, что устала немного, — говорит Даша. —

Шумно там было.

— Да, — говорит Грег. — Шумно. — И вдруг без всяко-
го перехода: — Давай поженимся.

— Прямо так сразу?

— Почему сразу? Мы уже сколько встречаемся. А сейчас подготовим все. Платье тебе пошьем. Самое красивое в мире. Ну, и поженимся. Свадьбу сыграем.

— Хорошо, — говорит Даша. — Я согласна.

— Правда?

— Правда.

Грег наклоняется к ней, обнимает за шею, целует в губы. Даша закрывает глаза.

Когда они выходят из машины, воздух кажется им неожиданно прохладным. Около самого дома они останавливаются. Грег притягивает Дашу к себе, еще раз целует. Не отрываясь от ее губ, берет обе ее руки и кладет их себе на плечи.

Игорь стоит через дорогу от них, под большим деревом со свисающими вниз, густо покрытыми листвой ветвями. В одной руке у него зажженная сигарета; вторая рука в кармане — в том самом, в котором спрятан заряженный «Глок». На этой стороне дороги темно, и никто Игоря не видит, но ему самому зато хорошо видны освещенные ярким фонарем фигуры Даши и Грега. В этот момент для него больше ничего в мире не существует. Только Даша, которая прижимается к обнимающему ее незнакомому парню. Только их бесконечный поцелуй. Только это. И больше ничего.

У КОГО ВСЕ ХОРОШО?

— Ну что ты так убиваешься? — говорит мне Татьяна. — Это же только деньги всего лишь. Разве можно из-за них так расстраиваться?

— А из-за чего же еще мне расстраиваться? — говорю я. — Тем более что так глупо все получилось.

— Что ты имеешь в виду? — говорит Татьяна.

— Ну как что? — говорю я. — Распасы эти, конечно. Не надо было мне «пас» говорить. Ну, остался бы на шестерной без двух взяток — ничего страшного.

— Так ты из-за этого так плакал тут? — говорит Татьяна.

— Ну да, — говорю я. — Конечно. А что?

— You make me laugh,¹ — по-английски говорит Татьяна. — You really make me laugh.

Когда я подхожу к нашему районному полицейскому участку, Игорь уже ждет меня на углу. Выглядит он ужасно — бледный, под глазами темные круги, длинные волосы спутались и чуть ли не в колтуны сбились.

— Что с тобой? — говорю я вместо приветствия.

— Ничего, — говорит он. — Просто не спал сегодня вообще. А с вами что?

— Ничего, — говорю я. — А что такое?

— Вы в зеркало на себя смотрели? — говорит Игорь.

— Нет, — честно признаюсь я, поскольку действительно не имею такой привычки. — А что?

— Ну как что? — говорит Игорь. — Не хотите посмотреть?

Он подводит меня к витрине какого-то магазина, и я сам теперь вижу, что по сравнению со мной Игорь выглядит еще очень даже неплохо.

— Ну, я тоже не спал, — вынужден признаться я.

— Что, страшно было в полицию идти? — говорит Игорь.

— Нет, — говорю я. — Мне-то чего бояться? Я ничего противозаконного не сделал. Но, конечно, видок у нас с тобой — сразу сажать можно.

Я еще раз оглядываю Игоря с головы до ног и говорю:

— А что у тебя в кармане куртки?

¹ Какой ты смешной! (англ.) См. также примеч. на стр. 237.

— В каком? — говорит он.

— Ну, в том, из которого ты почему-то руку никогда не вынимаешь?

— Ничего.

Я хватаю Игоря за рукав и вытягиваю его правую руку из кармана.

— Ничего себе ничего, — говорю я, когда вслед за рукой из кармана показывается тяжелый пистолет. — Нехилая игрушечка. Ну-ка давай ее сюда.

— Еще чего! — говорит Игорь.

— Ты что, сумасшедший? — говорю я. — Ты на допрос в полицию идешь. А вдруг тебя обыщут? Давай-давай.

Я отбираю у Игоря пистолет и прячу его в мою черную кожаную сумку, которая всегда со мной.

— Вот так-то лучше, — говорю я. — Ну что, пойдём?

В участке нас встречают достаточно любезно, но выясняется, что придется подождать: следователь, который должен допрашивать Игоря, еще не пришел. Мы садимся на вытянутую вдоль стены скамейку, и я моментально погружаюсь в тяжелый сон. Снится мне Ужгород, поросшие ельником Карпатские горы, парное молоко с только что выпеченным черным хлебом. Древняя старушка в чистом белом платочке наливает в мою кружку парное молоко, протягивает ее мне, а потом поднимает свое покрытое множеством морщинок лицо и, глядя мне прямо в глаза, говорит:

— And who the fuck are you?

— Что? — говорю я, а старушка повторяет, на этот раз уже низким мужским басом:

— Who the fuck are you?

Я просыпаюсь и вижу, что прямо передо мной стоят два здоровенных мужика, в которых, несмотря на их гражданскую одежду, сразу можно узнать полицейских. Один из них — тот, что постарше, — тычет носком своего ботинка мне в ногу, и, судя по всему, это его голосом говорила приснившаяся мне закарпатская бабуля.

— He's with me, — говорит Игорь. — As an interpreter. In case I don't understand¹.

— Не нужен тебе переводчик, — на чистейшем русском языке говорит тот полицейский, что помоложе. — Если что, я переведу.

— Нет, нет, я все равно пойду, — говорю я. — Адвоката у Игоря нет. Ему может совет понадобится.

Молодой полицейский переводит мои слова старшему, и тот, обращаясь ко мне, говорит:

— Are you a lawyer? You don't look like a lawyer to me. You look like a fucking bum².

И, решительно развернувшись на каблуках своих массивных ботинок, которыми он мне в ногу тыкал, идет по направлению к пропускной стойке, за которой сидят два полицейских в форме и проверяют у всех входящих удостоверения личности.

Его белобрысый коллега, пропустив Игоря вперед, идет вслед за своим начальником, и я тоже поднимаюсь со скамейки, но вовремя замечаю, что около пропускной стойки этой установлен металлодетектор, как в аэропортах, и всех заставляют пройти через него, предварительно выгрузив из карманов все металлические предметы.

— Я передумал, — говорю я. — Я, пожалуй, все-таки здесь подожду.

Молодой белобрысый полицейский останавливается и поворачивается ко мне.

— Это правильно, — говорит он. — Если что, я вашему приятелю помогу. Вы не волнуйтесь. Меня вообще-то Олег зовут, и я всегда тут нашим помочь стараюсь. Так что вы здесь посидите. Я потом вместе с Игорем выйду. Скорее всего, это недолго будет.

¹ Он со мной. В качестве переводчика. На тот случай, если я чего-то не пойму (англ.).

² Ты что, юрист? Что-то не похож ты на юриста. По-моему, ты на бомжа долбаного похож (англ.).

Я снова сажусь на скамейку и обвожу взглядом помещение. В детстве я всегда хотел стать милиционером, но теперь очень рад, что этой мечте не суждено было сбыться. Народ тут малопрятный — что по одну сторону пропускной стойки, что по другую. Сколько проходит времени, сказать трудно, и не успеваю я опять задремать, как Игорь и Олег уже трясут меня за плечо.

— Так быстро? — говорю я.

— Да, полтора часа всего, — усмехается Игорь своей характерной усмешкой.

— Главное, что все нормально прошло, — говорит Олег. — Я же вас предупреждал, что волноваться нечего.

— А что там было-то?

— Да ничего особенного, — говорит Олег. — Просто мы хотели побеседовать с Игорем, потому что нам сказали, что они всегда с Артемом Малащенко вместе на обед ездили. Вот мы и подумали: вдруг он расскажет что-нибудь, что поможет следствию? Но если, как Игорь говорит, в тот день, когда Артема убили, он один обедал, то, значит, ничего интересного он нам все равно сообщить не в состоянии.

— А чего так долго тогда сидели? — говорю я.

— Документы мои они проверяли, — говорит Игорь. — Искали, за что бы меня в обезьянник свой упрятать.

— Напрасно ты так, — говорит Олег. — Броуди этот, шеф мой, мужик, конечно, суровый, но законов он не нарушает. И потом, разве ты сам не хочешь, чтобы мы того, кто друга твоего замочил, нашли?

— Хочу, конечно, — говорит Игорь. — Только не там вы ищите.

— Очень интересно, — говорит Олег. — И где же мы, по-твоему, должны искать?

— А это вы у Ала Шарптона спросите, — говорю я. — Или боитесь с афроамериканской общиной связываться?

— Ограбление — это сейчас наша основная версия, — говорит Олег. — Именно ее мы в первую очередь и отра-

батываем. И никого мы не боимся. Но и другие варианты тоже ведь исключать нельзя. Так что ты, Игорь, имел в виду?

— Ладно, скажу, — говорит Игорь. — Вы ведь действительно помогли мне там, с волкодавом этим вашим. Короче, Артем в последнее время несколько раз намекал, что у него с Додиком Рипштейном непонятка какая-то вышла. Я бы на вашем месте разобрался.

— Кто такой Додик? — говорит Олег.

— Ну, они, типа, работали раньше вместе, — говорит Игорь.

— Спасибо, проверим обязательно, — говорит Олег и поворачивается ко мне: — А вы мне тоже свои координаты оставьте, пожалуйста.

— Зачем? — говорю я. — Я — законопослушный гражданин. И с Артемом этим даже знаком не был. Хотя он у нас в «Еврейском базаре» статью одну про проклятие Тутанхамона напечатать успел. Перед самой смертью.

— Все равно оставьте координаты, — говорит Олег. — На всякий случай.

Я вынимаю из бумажника визитную карточку и протягиваю Олегу.

— А тогда, — говорю я, — можно я у вас как-нибудь интервью для нашей газеты возьму? Интересно же, как наши в американских карательных органах карьеру делают.

— Договорились, — говорит Олег и тоже протягивает мне свою визитку. — Звоните.

Когда мы с Игорем выходим на улицу, то первые несколько кварталов проходим в полном молчании, а потом он говорит:

— Пушку-то мою вернете?

— Конечно, верну, — не без некоторого сожаления говорю я. — Что же мне, домой ее теперь нести?

Оглядевшись несколько раз по сторонам и убедившись, что нас никто не видит, я отдаю Игорю пистолет, а потом, окончательно отбросив все сомнения, говорю:

— Слушай, я давно у тебя спросить хотел. Помнишь, ты нам тогда про поле inferнальное рассказывал?

— Помню, конечно, — говорит Игорь. — И что?

— Я все думал на эту тему, — говорю я. — Ведь у тебя как получается? Если ты прав и мы постоянно нашими мерзостями это поле только усиливаем, а потом оно, насосавшись этой энергии, и нас самих, и других людей заставляет еще большие гадости делать, то ведь из этого заколдованного круга только один выход есть.

— Да? — говорит Игорь. — Какой?

— Ну, с собой покончить, — говорю я. — В православии это страшным грехом считается, но ведь если ты прав, то как еще человеку перестать это поле собой кормить?

— Никак, — говорит Игорь. — Другим он еще может помешать, а себе, кроме этого способа, никак.

— В каком смысле — другим? — говорю я.

— В прямом, — говорит Игорь. — Если живет гнида какая-нибудь и ежесекундно общую сумму inferнальной энергии в мире увеличивает, то, может, лучше сделать так, чтоб этого человека и не было больше?

Дом Зарецких на Статен-Айленде — это самый настоящий каменный дворец, трехэтажная крепость с какими-то башенками, арками, окошечками, чуть ли не бойницами. Перед сном Антон всегда сам обходит комнаты, проверяет, все ли в порядке, все ли двери-окна закрыты, все ли убрано. Родные считают, что у Антона мания чистоты, потому что он требует, чтобы пол во всем доме мыли каждый день, а на кухне — вообще после каждой еды, но на самом деле ему просто нравится, когда вокруг красиво. А какая красота может быть, если повсюду пыль, грязь, немытая посуда и объедки? В Москве Марина за порядком в их квартире следила, а здесь взбунтовалась в какой-то момент, и Антон выписал домработницу с Филиппин.

Возни с этим, конечно, много было, но зато на круг гораздо дешевле получилось. Русскую они не хотели брать — и так неприятно, когда все время посторонний человек в доме, а филиппинка ни слова ведь не понимает и, значит, сплетничать о них не будет.

Удостоверившись в том, что на первом этаже все в порядке и что уроженка Манилы Розита уже спит, Антон поднимается на второй этаж, тихо стучится в комнату Розалии Францевны и, не дождавшись ответа, стараясь не шуметь, открывает дверь. Его теща сидит около окна в большом кресле. На ней, как всегда, длинное платье с какими-то кружевами и оборками, пепельно-седые волосы уложены в замысловатую высокую прическу, делать которую каждую неделю приезжает французский парикмахер из Манхэттена, безупречно наманикюренные руки сложены на коленях. На стоящем рядом с креслом массивном столе, который, как рояль, пришлось через окно сюда поднимать, потому что он ни в одну дверь не проходил, лежит раскрытая книга и пепельница с дымящейся в ней длинной черной сигаретой. Но сама Розалия Францевна, похоже, спит. По крайней мере, глаза ее закрыты, а дыхание ровное, как у ребенка.

Антон на цыпочках подходит к столу, гасит сигарету, на секунду задумывается, не взять ли из рук тещи очки в золотой оправе, но потом все-таки решает не делать этого, чтобы не разбудить. Он медленно идет к двери и уже на пороге тянется к выключателю — счета за электричество у них такие, что другая семья на эту сумму весь месяц питаться могла бы.

— Оставь свет, — раздается в этот момент резкий голос Розалии Францевны.

Антон послушно убирает руку и молча выходит в коридор. Там почти совсем темно, не считая еще одной полоски света, выбивающегося из-под двери Дашиной комнаты. Сюда Антон входит уже без стука.

— Не спишь? — говорит он видящей перед компьютером дочери.

— Нет еще, — говорит Даша. — Завтра тест по истории.

— Так тем более не затягивай, — говорит Антон.

— Хорошо, пап, не буду, — говорит Даша, не отрывая взгляда от монитора, а пальцев от клавиатуры, на которой она что-то быстро печатает.

— Спокойной ночи, — говорит Антон.

— Спокойной ночи, — говорит Даша.

На третьем этаже у Зарецких личные кабинеты и спальня — огромная, с зеркалами во всю стену, с гигантской кроватью, над которой висит занимающая полстены картина Целкова с людьми в виде inferнально-придурочных тушек и масок. Оригинально, естественно. Увидев входящего в комнату мужа, Марина откладывает книгу.

— Все в порядке? — говорит она.

— Да, — говорит Антон и начинает раздеваться, аккуратно складывая одежду. — Вроде бы да.

— Ты с ней разговаривал? — говорит Марина.

— Ну как? Считаю, что разговаривал, — говорит Антон, снимая с руки тяжелый «роллес», который жена с дочкой ему подарили перед самым отъездом в Америку. — Особенно лезть тоже нельзя.

— Вот и тогда ты то же самое говорил, — говорит Марина. — А чем все кончилось?

— Врачи советуют не лезть, — говорит Антон. — А деликатность проявлять. Осторожность.

— Врачи тебе насоветуют, — говорит Марина. — Ты их больше слушай.

— А кого мне еще слушать? — говорит Антон. — И вообще, скоро она замуж выйдет...

— Так что, ты считаешь, это все ее проблемы решит? — говорит Марина.

— Ну какие у нее проблемы? — говорит Антон. — Вот ты мне скажи: какие у нее могут быть проблемы?

— Давай не будем по сотовому кругу все крутить, — говорит Марина.

— Давай, — говорит Антон. — Давай лучше спать будем. Я только пойду душ приму.

— В третий раз сегодня? — говорит Марина. — Или уже в четвертый?

— А что, нельзя? — говорит Антон.

— Почему нельзя? — устало говорит Марина. — Можно. Все можно. Я только не понимаю, что ты таким образом смыть с себя надеешься.

В квартире моего троюродного брата Ильи тоже не спят, несмотря на довольно позднее уже время. У них с самого начала такая традиция была, чтобы вечером всем вместе хотя бы полчаса за столом посидеть, чайку попить. Без этого они никогда не ложатся, хотя Илье этот обычай немало крови испортил, особенно когда он на «Эхе столицы» работал. Там ведь рабочий день не нормированный, мало ли какую передачу готовить надо, а тут Нина звонит и говорит, что Дима с Сашкой совсем сонные уже. И он бросал все и мчался через весь город, чтобы семейную традицию не нарушать.

Вот и сейчас они сидят за столом, который мы с Ильей вместе с помойки притащили через пару дней после их приезда в Нью-Йорк. Стол не новый, конечно, и даже, можно сказать, весьма обшарпанный, но зато большой и не качается. В отличие от стульев, которые Илья уже без меня потом «под гарнитур» подбирал. К чаю Нина даже пирог яблочный испекла. В Москве он ее неоднократно выручал, когда надо было семейству настроение поднять, но здесь это почему-то не работает. То ли яблоки не те, то ли причины, от которых настроение портится. Впрочем, сдаваться Нина никогда не любила.

— А у меня сегодня смешной такой случай был, — говорит она и, не дождавшись встречных вопросов, продол-

жает: — Эта дама, к которой я убираться пришла, спрашивает, кто я по национальности. Откуда, в смысле, приехала. Ну, я гордо так говорю: «Russian», мол, — знай наших. А она недоверчиво на меня смотрит и головой качает. «Какая же ты Russian? — говорит. — Ты вон какая высокая, волосы у тебя светлые, глаза голубые. А русские — они ведь все небольшого роста, с черными курчавыми волосами или лысые. А глаза у них темные-темные. Да и носы тоже не такие, как у тебя. Зачем ты меня обманываешь?»

— Она сама-то откуда? — с улыбкой говорит Илья.

— Не знаю, — говорит Нина. — Разве их тут разберешь? Но смешно, правда?

— Очень, — говорит Сашка, который за прошедшие с их приезда несколько месяцев уже стал практически неотличим от нормального американского подростка. На нем черная майка с портретом Мэрилина Мэнсона и джинсы, которые велики ему по меньшей мере на два размера. — Обхохочешься. Ты что, так и будешь здесь всегда в этих платьях и сарафанах ходить? Здесь же никто такого не носит, и всем сразу в глаза бросается, что ты из какой-то дыры сюда приперлась.

— Вы как с матерью разговариваете, молодой человек? — говорит Илья как можно более строгим голосом.

— И ты тоже, — говорит Сашка. — Зачем тебе эта работа в русской газете? Там ты разве английский выучишь? Или, может, ты думаешь, что они тебе деньги нормальные когда-нибудь платить будут?

— «Честное русское слово» — это крупнейшая русскоязычная газета за пределами России, — говорит Илья. — А то, что мне сейчас немного платят, — так ведь это только начало. Но я вот тоже вам одну забавную вещь рассказать хотел. Они мне поручили из Интернета прогноз погоды по всем основным американским городам собирать. Ну, я собрал сегодня и отнес корректору. Интеллигентная дама такая, средних лет. Через некоторое время прихожу,

а у нее глаза красные — вроде заплаканные. «Что случилось?» — говорю, а она мне отвечает: «Ну как же, жалко, что дожди повсюду». — «Где повсюду?» — говорю я. А она: «И в Детройте, и в Чикаго, и в Индианаполисе, и даже во Флориде тоже дожди». И опять слезы утирает. Хотел я спросить, что ей-то до этого, но передумал. В конце концов, хорошо ведь, когда человек за других расстраивается.

— Да уж, — говорит Дима, который, в отличие от своего младшего брата, совсем почти не изменился. — Ладно, мам, пирог замечательный, конечно, но я все же спать пойду. Завтра вставать рано.

Он поднимается из-за стола.

— Подожди, — говорит Илья. — На этом история с погодой не закончилась. Потом, когда уже на полосу все поставили, приходит редактор и говорит: «Это что такое вы здесь понаписали? Почему повсюду дождь?» — «Я этого не писал, — говорю я. — Я не синоптик. Я, как мне и велели, из Интернета все взял». — «Меня это не интересует, — говорит редактор. — Мы даем прогноз по двадцати крупнейшим городам Соединенных Штатов, в которых продается наша газета. Так вот, на будущее учтите, что дождь может идти только в одном, максимум в двух из них. Еще в паре мест может быть переменная облачность. В остальных же должно быть солнечно и тепло». — «Всегда?» — спрашиваю я. «Всегда, — отвечает он. — Исправьте, пожалуйста, и постарайтесь больше не повторять эту грубую ошибку».

— Исправил? — улыбается Нина.

— Исправил, — говорит Илья. — Теперь по всей Америке прекрасная погода.

Когда дети уходят к себе, Илья помогает жене убрать посуду.

— А Игорь где? — говорит он.

— Проспал весь день, — говорит Нина. — Вообще не выходил. Долго он еще у нас будет жить?

— Знаешь, он мне тоже не очень-то нравится, — говорит Илья. — Но без его трехсот долларов как мы за квартиру-то платить будем? И так еле-еле справляемся.

— Тоже правда, — говорит Нина и, взяв со стола стопку тарелок, идет на кухню.

Илья перегораживает ей дорогу, обнимает, не обращая никакого внимания на упирающиеся ему в живот блюда с остатками яблочного пирога.

— Ты не сердишься на меня? — говорит он.

— За что? — говорит Нина.

— Ну, что вытащил тебя сюда, — говорит Илья.

— Нет, конечно, — говорит Нина. — Мы же вместе, а значит, все хорошо.

Со своим сводным братом Илюша с той самой закончившейся скандалом встречи на новой земле обетованной так и не разговаривал. Хотя Максим все-таки человек не бедный и со связями. Можно было бы и забыть про детские обиды. Ну, не поделили они когда-то отца — подумаешь! Его ведь сейчас все равно уже в живых нет, а помочь Максим при желании мог бы — и даже очень. Ведь и практика у него врачебная огромная, и карьеру он вроде политическую пытается делать. Тем более что он явно чувствует какую-то вину перед Ильей и наверняка нашел бы ему нормальную работу. Ну, хотя бы относительно нормальную — на первое время.

Домой Максим возвращается, как всегда, поздно, когда на улице уже темно, и можно по всему Манхэттен-Бич проехать, так и не встретив ни одного человека. Прием у него в офисе заканчивается только в девять, потом еще бумаги всякие, счета, страховки. Неплохо было бы, конечно, сократить часы, но тогда можно потерять тех пациентов, которые днем работают, а терять никого не хочется. И не из-за денег даже, их-то уже как раз вполне достаточно накопилось. Домик замечательный с окнами прямо на

океан, почти совсем рассчитались они уже за него. На колледж Пашке тоже отложили, только он все равно учиться наотрез отказывается. На жизнь им хватает — благо потребности не такие уж и безумные. Да и вообще, деньги — что? С собой их, как известно, взять все равно не удастся. Не в них дело. Просто трудно представить себе жизнь без постоянной занятости, без звонков телефонных, иногда даже по ночам, а главное — без всех этих людей, которым ты так нужен. Действительно нужен, по-настоящему — не для того, чтобы потрепаться там или водки попить, а потому, что речь и вправду идет об их жизни и смерти.

Максим ставит свою новенькую «Инфинити» в гараж и уже оттуда проходит в дом. На первом этаже темно, никого нет, а со второго этажа доносятся звуки включенного чуть ли не на полную громкость телевизора.

Ирина лежит на диване. Даже в простом домашнем халатике, ненакрашенная и чуть растрепанная, она все равно очень красива. Красива такой красотой, которая всегда заставляет Максима застыть на мгновение и посмотреть на жену так, как будто он видит ее в первый раз.

В руке у Ирины большой коньячный бокал. Рядом с диваном — наполовину пустая бутылка «Камю». Или, как любят говорить американцы, наполовину полная. Смотря с какой стороны взглянуть.

— Привет, — говорит Ирина и нажимает на кнопку дистанционного управления, чтобы убрать громкость.

— Привет-привет, — говорит Максим. — Пашка дома?

— Ты же знаешь, что он терпеть не может, когда ты его так называешь, — говорит Ирина. — Если ребенок просит, чтобы его называли Полом, неужели так трудно ему хотя бы в этом уступить?

— Нет, — говорит Максим, — не трудно. Так дома Пол этот или нет?

— Нет, конечно, — говорит Ирина. — Ты есть хочешь? Посмотри там в холодильнике.

— Спасибо, — говорит Максим. — Я в офисе поел. А где он?

— Ну кто же его знает, где он? — говорит Ирина. — Он ведь вроде взрослый уже, не обязан мамочке про каждый свой шаг докладывать.

— Понятно, — говорит Максим. — Ты спать собираешься?

— Нет пока, — говорит Ирина. — Ты ложись. Устал же, наверное.

— Да, конечно, — говорит Максим. — Устал. А ты когда ляжешь?

— Не знаю еще, — говорит Ирина. — Может, еще кино посмотрю. Ты не жди меня.

— Что, еще недостаточно выпила? — говорит Максим.

— Недостаточно для чего?

— Разве ты сама не знаешь, для чего?

— Нет, не знаю.

— Ну, тогда подумай на эту тему как-нибудь на досуге, — говорит Максим и уходит в спальню. Завтра ему опять предстоит напряженный день, и скандалить на ночь глядя нет ни сил, ни желания.

ИЩУ СВОЮ ПОЛОВИНКУ. НЕПОЛНУЮ

— Ну ладно, — говорит Алик, — что вы мне, собственно говоря, предлагаете делать? Должна же у меня быть какая-то личная жизнь. Я ведь большой мальчик уже. Мне ведь иногда и девочка нужна.

Мы сидим на нашей так и не отремонтированной кухне и отмечаем большой праздник — День котлетки. Раньше, когда Татьяна посвободнее была, праздник этот по меньшей мере раз в неделю наступал (если не было ника-

кого поста, конечно), а теперь стал большой редкостью. Настолько большой, что на радостях мы даже Алене Карпинской приехать разрешили, тем более что она с Эдуардом своим, Аполлоном Родосским, разошлась. Мы ведь с самых похорон Володи так и не виделись с ней ни разу, а теперь вроде как бы и жалко ее стало. Ну, и Надя Малинина тоже пришла. Вадим-то, как всегда, «Эдемом» занят, дочка их Катя то в школе, то с «другом» своим афроамериканским где-то пропадает, а Надя скучает дома одна. Вот и получилось у нас целое застолье, что меня, по правде сказать, радует только отчасти, потому что, как прекрасно известно всем любителям котлеток, чем больше едоков, тем меньше каждому из них в итоге достанется.

— Ерунда это все, — говорит Татьяна. — Меня вот, например, мужчины нисколько не интересуют. Кроме Лешеньки, конечно. Все остальные для меня вообще не существуют. Я их, может, и за людей-то не считаю. Причем, чем умнее мужчина, чем он серьезнее и сильнее, тем он мне смешнее кажется. Правда.

— Это очень лестно, конечно, — говорю я, — но все же проблема у Алика налицо.

— Или на лице, — пытается шутить Алена, наверное, надеясь, что мы за шутки ее окончательно простим.

— А ты пробовал по объявлениям звонить? — обращаюсь я к Алику.

— По каким объявлениям? — спрашивает он.

— Газетным, — говорю я. — Не пробовал?

— Нет, — говорит Алик. — А ты?

— Пробовал когда-то, — говорю я. — Когда еще холостой был. Ничего не получилось ни разу.

— Интересно бы узнать почему, — говорит Татьяна.

— Ну, не знаю, — говорю я. — Я всегда честно, в открытую играл, а мне голову морочили.

— Что ты имеешь в виду? — говорит Алик.

— Ну, например, я, когда звонил, сразу просил, чтобы девушка про себя рассказала, — говорю я. — В смысле, как она выглядит. И честно ее предупреждал, что сам я мужчина видный и если ее внешность моей не соответствует, то ей же самой потом неловко будет. Как мы на людях покажемся, если она чучело какое-нибудь?

— И дальше что? — спрашивает Алик.

— А ничего, — говорю я. — Они в ответ начинали себя расписывать. Все, как на подбор, красавицы. А потом идешь на свидание с ней и глазам своим не веришь. Однажды вообще цирк был — час целый простоял рядом с одной и все равно не узнал.

— И она тебя не узнала? — говорит Татьяна.

— И она, — говорю я. — Хотя я довольно подробно ей себя описал. Ну да ладно, это все предания старины глубокой. Давайте лучше действительно Алику кого-нибудь найдем. Вот у нас в газетах русских сколько объявлений о знакомствах печатается.

Алик пытается протестовать, но я все равно приношу из гостинной несколько свежих русскоязычных газет и начинаю их листать в поисках брачных объявлений. Памятуя о том, что запросы у Алика немаленькие и что угодить ему будет не так-то легко, я пропускаю все стандартное и безликое. И несмотря на то что, пока я пробегаю глазами страницу за страницей, количество выставленных Татьяной на стол котлеток стремительно уменьшается, я стараюсь не особенно из-за этого расстраиваться, а, наоборот, сосредоточиться на мысли о том, что нужно же мне хоть раз в жизни кому-нибудь помочь.

— Вот, — наконец говорю я. — Это, по-моему, то, что нужно. «Молодая, красивая, выйдет замуж за преуспевающего, обеспеченного гражданина США. Будет нежной женой и верной подругой. Возможен секс».

— Нет, это не то, — говорит Алик. — Чего это, прямо так сразу жениться? Я молодой еще. Еще не нагулялся.

— Ну ладно, — говорю я. — Идём дальше. Вот, смотри, как интересно. «Так тяжело все описать. Буквально все в одной строке. Одной мне грустно... и одиноко на душе. Хочу найти свою любовь, Любовь Навечно и всерьёз. Преодолеть и грусть, и боль от легких жизненных пегрез. Мой суженый, найди меня, ответь словами золотыми. Я буду навсегда твоя любимая и ныне».

— Нет, этого нам тоже не надо, — говорит Алик. — С поэтессами знаешь какая возня? Она еще и меня заставит потом стихами с ней разговаривать.

— Не скажи, — говорю я. — Татьяна ведь меня рисовать не заставляет.

— Пока, — говорит Алена.

— А вот это? — говорю я и читаю, стараясь голосом передать орфографические особенности стиля: — «Красивая, 38, 170, ситизен, ишет устроенного, високого холостого мужшину. Фото а must¹». Или это: «Девушка, 41, петит, будет мила с милым другом — мужчиной с головой на плечах, реальными желаниями».

— Ну, желания-то у меня как раз реальные, — говорит Алик. — Даже слишком иногда. Но петит — это что, шрифт такой маленький?

— Нет, — говорит Алена. — Петит — это значит: миниатюрная она. Как я.

— А вот еще прикольное объявление, — говорю я. — «Я — толстушка, по ихним меркам, не очень противная, еврейка, 36 лет, из Одессы. Живу на Брайтоне (а где же еще!). Мне говорят, что я совершенно без культуры и этикета, зато с ненормально развитым чувством собственного достоинства. В Союзе даже не знала, что такое синагога, а здесь ударилась в религию не хуже пейсатой. Если вас зовут Веня, то вы мне не звоните, с ним я уже знаюсь». Тебя же не Веня зовут?

¹ Обязательно (англ.).

— Нет вроде, — говорит Алик. — А что-нибудь посерьезнее там есть?

— Есть, конечно, — говорю я. — Вот, например: «Жгучая брюнетка, неповторимая внешность, фигура модели, юрист. Много достоинств, мало недостатков. Верит в любовь. Дарит тепло, ласку».

— Ласку — это хорошо, — говорит Алик. — Ласку мы любим. Ты это объявление обведи. Чтобы оно не потерялось. Мы к нему вернемся потом. Еще есть что-нибудь?

Я тянусь за толстым розовым фломастером, который у нас всегда на кухне рядом с телефоном лежит, обвожу объявление неровной, но зато жирной и почти что круглой рамкой и продолжаю читать:

— «Манерная во всех отношениях, независимая, жизнерадостная еврейка, средней полноты. Любит жизнь, уют, тишину, землю. Хочу попробовать вторично».

— Землю кто ж не любит? — говорит Алена. — Земля — это же самое надежное капиталовложение, какое только есть на свете. Сразу видно — умная баба.

— А что значит «вторично»? — говорит Надя.

— Это значит, что один раз она уже попробовала, и ей понравилось, — говорит Алена. — Теперь еще разок захотелось.

— «Гражданка, — продолжаю читать я, не обращая внимания на несмешные Аленины шутки. — Свободная, без детей, внешность — стыдно не будет. Ищу поклонника эзотерической любви. Обеспеченного, вальяжного, легального».

— Это тоже обведи, — говорит Алик. — Надо же мне хоть под старость эзотерическую любовь эту попробовать. Что там еще?

— «Интересная блондинка, — читаю я, — ищет нормального человека для жизни».

— Нет, это ему не подходит, — говорит Алена. — У него у самого никакой жизни нет.

— И то правда, — покорно соглашается Алик.

— Вот это хорошее, — говорю я. — «Молодая, полненькая, маленького роста, но с большим бюстом хочет познакомиться с человеком, для которого важно не то, как пирог выглядит, а какой он на вкус. Позвони, и, возможно, именно тебе достанется самый лакомый кусочек, а может быть, и весь».

— Обведи, — говорит Алик.

— Хорошо, — говорю я и продолжаю читать: — «33–163–70. Заботливая религиозная еврейка предлагает электрический способ для лечения импотенции. Без противопоказаний в любом возрасте. Эффект моментальный».

— Дальше давай, — говорит Алик.

— «Свободная, — читаю я. — 39 лет. Познакомится с мужчиной, желательно родом из Питера или Москвы и хорошо воспитанный». Или вот еще: «Интересная, стройная, покладистая женщина Востока ищет высокого, незлого, бескорыстного мужчину. Хочет платить тем же». Ты бескорыстный?

— Абсолютно, — говорит Алик.

— Ну, тогда и это тоже пообедем, — говорю я. — А вот уже полный улет: «Класс — представительский. Год выпуска — декабрь 1969. Пробег — 32. Цвет — светлый (родная). Рост — 174. Вес — н/у. Фары — голубые. Высота клиренса — 110 см. Габариты — 95–70–95. Кузов — не битый, не ржавый, не гнилой. Тип топлива — низкооктановое (шампанское, мартини). Крыша в порядке. Идеальное состояние. Все новое. Все опции. Заводится с полоборота, без проблем, даже утром и в мороз. Предпродажная подготовка. Эффективная система контроля за выхлопными газами. Требуем установки отличной противоугонной системы. Документы на руках. Отдается строго по договоренности или с полным переоформлением. Количество предыдущих владельцев не установлено. Посредников просят не волноваться. Для тест-драйва звоните по телефону...»

— Неплохо, — говорит Алена. — Но вот если бы я объявление решила дать, я бы так написала: «Молодая, красивая, обеспеченная, давно в США, гражданка мечтает о том, чтобы ее наконец оставили в покое!»

— Прямо уж, — говорит Надя и поворачивается ко мне: — Слушайте, а давайте правда Аленке тоже кого-нибудь найдем, а? Ну-ка, дай мне газеты.

Я с некоторым облегчением протягиваю ей пачку газет, потому что мне, по правде сказать, все это чтение уже порядком надоело.

— «Выдам женщин замуж за граждан США», — читает Надя. — Нет, это не то. «Ищу женщину для общения, проведения времени. Все ваши желания за мой счет. Девушек легкого поведения прошу беспокоить». За его счет — это хорошо, конечно, но тоже не то. «Безвозмездно предлагаю своего мужа в качестве сексуального партнера женщине или девушке без ограничения по возрасту, но желательно состоящей в браке. Весьма симпатичен. Легок и приятен в общении, тактичен. В постели не эгоист. Здоров и чистоплотен — каким мне хотелось бы видеть его и после ваших встреч. Заинтересовавшимся вышлю его фото и способ связи». Заинтересовалась?

— Нет, — решительно говорит Алена.

— Ладно, сейчас еще кого-нибудь найдем, — говорит Надя. — Смотри, сколько их тут... Вот поэт какой-то: «Симпатичный господин, живу на Статен-Айленде один. Есть у меня огромный дом и отличная работа притом. Вам это не будет в новинку, ищу достойную себе половинку. Рост выше среднего, немного лет. Знаю английский, компьютер, атлет. По воскресеньям могу приготовить обед. По гороскопу я Лев, ищу тебя среди бездетных Дев. Коль Богу будет угодно, мы создадим себе подобных. Позвони мне скорей, позвони. Полюби меня, о, полюби!»

— Нет, подобных себе я создавать не хочу, — говорит Алена.

— Ну, не хочешь, и не надо, — говорит Надя. — Тогда этот: «32/190/80, симпатичный, познакомлюсь с девушкой для фана, борьбы с вредными привычками».

— 190 на 80 — это что, давление? — говорит Татьяна.

— Возможно, — говорит Алена. — Но у меня по-любому вредных привычек нет. У меня все привычки исключительно полезные.

— Тоска какая, — говорит Надя и продолжает читать: — «Одинок инт поряд мужч ищет женщ 25–30 для опл интим встреч». Прямо телеграфист какой-то. Хорошо хоть не азбукой Морзе отбил. Ни точек, ни знаков препинания, ничего. Что тут еще? «Если действительно скучно жить, вам стоит со мной познакомиться. Если муж не уделяет достаточно внимания, помогу со стимулом жизни. Прикручу ему рога». Ну, это тебе не подходит. У тебя же мужа нет? Или есть все-таки?

— Да есть вроде, — говорит Алена. — Но с рогами у него уже все в порядке.

— Тогда дальше идем, — говорит Надя. — «Неглупый молодой человек, давно в стране, вконец измученный поисками своей нежной и ласковой половинки, в последний раз пытается ее найти. Пожалуйста, моя принцесса, будь не больше седьмого размера».

— Ха-ха-ха, — с деланным смешком говорит Алена. — Этот размер мы давно уже того, проехали. Со свистом.

— «Образованный мужчина, адвокат, — продолжает читать Надя, — ищет образованную женщину, врача, с квартирой на берегу океана. Серьезные намерения». В том, что серьезные, не сомневаюсь, но ты с врачебной карьерой, я надеюсь, уже навсегда завязала. «45, высокий, нормальный, спокойный еврей из Москвы ищет женщину для свободной любви». Ты как к свободной любви-то относишься?

— Положительно, — говорит Алена.

— Вот поэтому мы теперь и подбираем тебе спутника жизни по газете, — говорит Татьяна.

— Не занудствуй, — говорит Надя. — Сейчас найдем кого-нибудь. Вот, например: «46, отставной прапорщик, интеллектualan, сексуален, познакомится с состоятельной женщиной для создания семьи».

— Хватай, Ален, — говорит Алик. — Прапорщик-интеллектualan, да еще и сексуален. Такого вообще не бывает.

— Сам его тогда хватай, — говорит Алена.

— Да подождите вы, — говорит Надя. — «Парень, 36, с опытом работы по уходу за престарелыми и инвалидами, познакомится с симпатичной женщиной». А вот это уже интереснее: «Устроенный американец хочет в жены стройную русскоговорящую, до 43, можно без статуса». Тебе до 43 или после?

— Так я тебе и сказала при всех, — говорит Алена.

— Ну хорошо, — говорит Надя. — А это тебе как? «Одинокый парень, квартира, ищет девушку, женщину. Материально обеспечен, но не там, где хотелось бы». Или вот это: «Симпатичный, давно в стране, приютит у себя худенькую девушку».

— Издеваешься, — говорит Алена, которая, как я уже отмечал когда-то, худобой не страдает.

— Ну извини, извини, — говорит Надя. — «Гражданин желает встретить свою неполную половинку» мы тоже тогда пропускаем. А вот это? «Достойный мужчина средних лет станет лучшим украшением прекрасной дамы, можно с ребенком, желательно с девочкой». Или вот еще: «Скорее встретимся, потом сойдемся и поженимся с худенькой женщиной». Опять не подходит. И чего они все так на худеньких зациклились? А вот еще один телеграфист: «Представит муж благород внешнос из Нью-Йорк познаком с состоятел леди для интимн встреч». У них тут что, гнездо, что ли?

— Да нет, это наверняка один и тот же человек писал, — говорю я. — Просто текст чуть-чуть изменил, вот и все.

— Ладно, — говорит Надя. — Ну его. А вот, смотрите: «Еврей, математик, 42/168, небольшой физический недо-

статок, ищет такую же еврейку, для выяснения отношений, которые ведут к любви». Интересно, какой это у него небольшой физический недостаток. Интригует, правда? А это уже серьезно: «Приличный гражданин заключит брак с состоятельной духовно и материально от 30 до 58 лет». Уж тут-то ты можешь сказать, попадаешь ты в этот интервал или нет?

— Попадаю, — говорит Алена. — И дальше что?

— Дальше вообще уже нечто особенное, — говорит Надя. — Слушайте внимательно: «Познакомлюсь с красивой женщиной, мечтающей жить интересами своего мужа, для которой Муж (с большой буквы так и написано) — это не который объелся груш, а который самое СВЯТОЕ (все большими буквами). Заботливая мама, жена, подруга, любовница и... (Многоточие тут, хотя какого хрена ему еще надо-то?) Я — заботливый, как отец, муж, любовник, слуга и личный врач. Увлечения: философия и делать жену счастливой».

— Класс, — говорит Алена. — Хочу такого.

— А такого? — говорит Надя. — «Непорядочный, несерьезный мужчина познакомится для совместного времяпрепровождения и сами понимаете каких отношений с аналогичной по характеру теткой, можно не одной. Обещаю разочаровать жадных, тупых, фригидных и прыщавых. Интим сразу не предлагать, но если очень хочется, то можно».

— Не надоело тебе еще? — говорит Алена.

— Ты что? — говорит Надя. — Я и не представляла себе никогда, что на свете столько мужиков клевых бесхозными ходят. Вот этот еще, например: «Если тебе невыносимо жить с теми, с кем живешь, но у тебя хороший характер и ты здоровая, 20—40 лет и хочешь надежно устроить свою жизнь с добрым, любящим, заботливым и намного старше, как примерно твой папа, то звони». А вот еще один: «Ты симпатичная и абаяшка (так через «а» и написано),

20—35 лет, стройненькая, здоровенькая, не работающая и, желательно, с ребеночком, а я — лысый, с животиком и слегка перезрелый, но тоже, как и ты, заботливый, преданный, сексуальный и одинокий. Давай создадим семью. Абаяшка, абаяшка, позвони скорее Сашке». Жалко, что у меня уже есть семья, а то я и сама позвонила бы. А еще лучше этому: «Раб любви ищет жену — рабыню на всю жизнь, которой, как воздух, нужен предмет обожания. Добрую, 30—40 лет, преданную, живущую интересами господина своего. Конечно, я понимаю, что именно такие женщины все уже замужем, но я все-таки надеюсь на чудо. Пожалуйста, не беспокойтесь, если Вы не соответствуете всем этим критериям. Сам я с Израиля. Вдовец, заботливый, преданный. Генетически запрограммированный для счастливой семьи на всю жизнь». Соблазнительно звучит?

— Очень, — говорит Алена.

— А это что такое? Это уже вообще ни в какие ворота не лезет, — говорит Надя и продолжает читать: — «Меня зовут Женя. Мне 11 лет. Я из России. Я знаю, Америка великая и богатая страна. Возможно, в ней найдется хороший человек и поможет мне купить хороший компьютер. Отзовитесь». Да тут сплошной детский сад пошел. «Очень приятный 20-летний парень ищет учительницу секса. Чтобы научила, как правильно надо любить женщину/девушку, но не на словах. Заплачу! (Восклицательный знак.) Нужно срочно!!! (Три восклицательных знака.) Ничего не важно!! (Два восклицательных знака.) Только женский пол, пожалуйста!!!» Три восклицательных знака и точка наконец. Не хочешь заняться обучением подрастающего поколения?

— Нет пока, — говорит Алена.

— Ну, тогда, может, этот подойдет, — говорит Надя. — «42/6/220, женат, ищу подругу на стороне. Понимания и жалости не надо. Только хорошее время и секс». Или это:

«Если тебе хочется редких и теплых встреч, позвони, и я тебе это устрою». Может, позвонишь?

— Надь, правда, надоело уже, — говорит Алена.

— Ладно, мы уже почти до конца добрались, — говорит Надя. — Вот этого никак нельзя пропустить: «Маленький, толстый и лысый, с убогим внутренним миром, влачащий нищенское существование и ничего не способный изменить к лучшему, ищет женщину неопишуемой красоты для встреч за ее счет и на ее территории. Женат. Есть дети — вымогатели. Постоянно просят денег. Собственной жены боится панически, потому что она больно дерется чем попало». Ну, и еще парочку на закуску. «Привет всем девочкам! Я хочу познакомиться с хорошей, небогатой девушкой от 22 до 30 лет. С девушкой без комплексов, которой нужны не деньги, а хороший человек. Сам я небогат, рост 180, вес 80, глаза карие. Просьба звонить всем, кому это нужно. Без посредников».

— Знаете, — говорит Татьяна, — а ведь это совершенно не смешно на самом деле. Ведь для кого-то все это не шутки.

— Да, для меня, например, — говорит Алик. — Промня-то вы, кажется, забыли.

— Ты что, вообще серьезно все это, что ли? — говорю я.

— Абсолютно, — говорит Алик.

— А Милка как же? — говорю я.

— Ну что Милка? — говорит Алик. — Она свое счастье нашла вроде. А мне что теперь делать? Ну, не могу я один, понимаешь?

— Понимаю, — говорю я. — Но тогда, я думаю, тебе надо самому объявление дать.

— И что будет?

— Не знаю, — говорю я. — Может, и ничего не будет. А может, позвонит какая-нибудь женщина нормальная. У которой тоже никого найти не получается. И которая тоже одна никак не может.

— Что же, телефон свой давать? — говорит Алик. — Начнут звонить маньячки всякие. Поклонницы эзотерической любви.

— Не давай телефон, — говорю я. — Дай мыло.

— И мочалку, — говорит Татьяна.

— Нет, это так электронная почта на компьютерном жаргоне называется, — объясняет ей Алик.

— Ну, тогда действительно дай мыло, — говорит Татьяна. — Напиши что-нибудь нейтральное. Только возраст, рост, вес, цвет волос, глаз и какую женщину ты ищешь.

— Какую-какую? — говорит Алик. — Да любую.

— Что, совсем без разницы? — говорит Алена.

— Совсем, — говорит Алик.

— Это правильно, — говорит Надя. — Это по-нашему. Если любви все равно нет, то какая тогда, спрашивается, разница?

— Знаете что? — говорит Алик. — Любовь, как известно, приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Котлетки-то еще остались у нас?

— Остались, остались, — говорит Татьяна.

— Ну что ж, может, тогда и накатим еще? — говорит Алик.

— Можно, — говорю я.

— За любовь, — говорит Алена.

— За вторую половинку, — говорит Татьяна.

— Неполную только, — говорит Надя.

— Тебе наливать неполную, что ли? — говорит Алик, который как раз занялся распределением оставшейся водки.

— Нет, за половинку неполную, — говорит Надя. — В смысле худую.

— Худую — в смысле плохую? — говорит Алена.

— Нет, — говорит Надя. — В смысле хорошую, но неполную.

Мы дружно чокаемся и пьем до дна, закусывая последними котлетками.

ОГРАБЛЕНИЕ СО ВЗЛОМОМ

В тот день, когда ограбили Зарецких, у нас тоже произошла небольшая неприятность. Я просыпаюсь, как всегда, за полдень — правда, не сам, не потому, что выспался, а от громкого и резкого звонка домофона. Спросонья с трудом разбирая дорогу и чуть не свалившись с лестницы, спускаюсь на первый этаж, где почтальон торжественно вручает мне посылку. Это кое-какие книги, которые я заказал в одном Интернет-магазине месяца два тому назад и о которых с тех пор уже успел благополучно забыть. Видно, позарез они мне нужны были.

Поднявшись обратно в квартиру и страшно недовольный тем, что меня разбудили в такую несусветную рань, я принимаюсь варить кофе. Татьяна сидит у себя в комнате — тихо, как маленький мышонок. В течение долгих лет совместной жизни она на собственном печальном опыте могла неоднократно убедиться, что по утрам ей оттуда лучше не выходить и меня не трогать — самой же потом хуже будет. Да и, наверное, занята она, так как вчера еще начала новую картину: портрет молодой негритянки, вместе с которой она ехала в метро и которую за те полчаса, что поезд простоял в тоннеле, успела прекрасно рассмотреть.

От этих мыслей меня отвлекает шипение убегающего кофе. Густая жижа темно-коричневого цвета заливает нашу и без того весьма далекую от белизны плиту, но больше всего меня расстраивает даже не это, а то, что в турке мало осталось того напитка, который один лишь и способен привести меня в хотя бы относительно приемлемое для окружающих состояние. Вылив то, что не успело убежать, в мою любимую чашку, которая теперь, по сравнению с ничтожным количеством кофе в ней, кажется несуразно большой, я отправляюсь в нашу гостиную, где стоит мой квадратоголовый друг-компьютер и которая по этой причине одновременно является моим кабинетом.

Грубо разбудив друга нажатием кнопки «Старт», я делаю первый глоток кофе и тут же зажигаю заранее приготовленную сигарету. Горячий дым обжигает легкие, никотин и кофеин начинают поступать в кровь, а через нее в мозг, который, как я надеюсь, от этой гремучей смеси соблаговолит наконец проснуться. Одной затяжки тут, конечно, недостаточно. Да и одной сигареты, по правде сказать, тоже. Хорошо хоть, что мне торопиться некуда. Я выхожу в Интернет — первым делом на главные новостные страницы: убедиться, что за минувшую ночь в мире не произошло ничего требующего моего немедленного внимания и (или) участия. Нет, все, как обычно. Вашингтонский снайпер пристрелил еще одного человека. Конгресс принял резолюцию, разрешающую президенту делать все, что ему заблагорассудится, в любой момент и в любой точке земного шара. Биржа стремительно катится вниз, подписывая смертный приговор Саддаму Хусейну, а заодно и бесчисленным тысячам его подданных, которые погибнут в предстоящей войне. 13-летний школьник изнасиловал свою 36-летнюю учительницу. Все — как всегда в последнее время, и я уже собираюсь начать проверять мою электронную почту, как в нашу дверь раздастся стук.

От общения с другом-компьютером меня это нисколько не отвлекает, потому что дурной и совершенно, на мой взгляд, нелепой привычки открывать дверь на первый попавшийся стук я не имею. За исключением тех случаев, когда я заранее с кем-то договорился и жду гостей, естественно. Так что я начинаю методично стирать накопившиеся за ночь в моем электронном почтовом ящике письма: два предложения перезаложить под более низкий процент дом, которого у меня нет; три предложения открыть беспроектный бизнес, который в течение года сделает меня миллионером; семь приглашений посетить бесплатные порностраницы, из которых четыре обещают фото-

графии несовершеннолетних детей в откровенных позах; девять сообщений о том, как за три дня увеличить размеры детородных органов на 15 сантиметров; и четырнадцать рекламных листовок с совершенно фантастическими скидками на товары неизвестного мне предназначения. Все. Такова почта за почь, и теперь мой почтовый ящик пуст, а моя интернет-зависимость по-прежнему требует еще какой-нибудь пицци.

В дверь опять стучат, уже значительно громче. «Вот настырные какие», — думаю я, но с места своего, естественно, не двигаюсь, а, наоборот, зажигаю вторую сигарету и перехожу к страницам с более подробным освещением событий в мире. Я полностью погружаюсь в чтение длинной статьи о попытке военного переворота в Кот-д'Ивуаре — стране, которая раньше называлась Берегом Слоновой Кости. Почему изменилось ее название — я не знаю. Может быть, ельциноиды переименовали ее вместе со многими российскими городами, весями и улицами в рамках борьбы со страшным наследием сталинизма, а может, и другая какая весомая причина есть. От захватывающего чтения о страданиях котдивуарцев меня отвлекают тихие шаги в коридоре. «Вот это Татьяна напрасно, — думаю я. — Зря она все-таки открывать пошла. Она что, не знает, как я этого не люблю? Ну, сейчас я ей устрою».

Я с большим неудовольствием поднимаюсь с уютного кресла и иду в коридор. Для этого мне надо пройти через всю нашу покрытую старым пыльным паласом гостиную, на что, с учетом моей привычки никогда и никуда не торопиться, уходит минуты две, а то и больше. Палас этот давно уже на помойку выбросить надо бы — на радость новым иммигрантам, но он какой-то сумасшедшей гадостью намертво к полу приклеен, да и лень шкафы все книжные сдвигать ради такой мелочи. К тому же Мурзик обожает играть с огромными серыми хлопьями пыли — я думаю, они ему мышками кажутся.

Медленно пересекая комнату, я мысленно репетирую тот строгий выговор с занесением в личное дело, который я сейчас сделаю Татьяне, и уже готовлюсь сказать что-нибудь громким голосом, опасаясь только того, что с утра это может у меня недостаточно грозно получиться. Но волнуясь я, как выясняется, напрасно. В коридоре, вместо Татьяны, меня встречает здоровенный негр лет двадцати, с которым, выйдя из гостиной, я сталкиваюсь буквально лицом к лицу. Ну, вернее, лицом к лицу — это некоторое преувеличение. Скорее я своим носом утыкаюсь ему куда-то чуть повыше живота и останавливаюсь в ужасе, который в немалой степени усугубляется тем, что за спиной у негра маячит еще одна столь же крупная фигура того же цвета. «Ну, все, — думаю я. — Вот и допрыгался воробушек. Доигрался, болван ты придурочный. Даже кофе не допил. Не докурил, можно сказать, четвертой сигареты».

Гость мой, видно, тоже не ожидал такого поворота событий. Хорошо хоть, что у него, в отличие от меня, реакция молниеносная: мгновенно оценив обстановку и увидев, что путь назад открыт, он толкает меня в грудь и пускается наутек. Его товарищ выскакивает из квартиры вслед за ним, а я, не в силах даже двинуться с места, застываю в полном ступоре. В таком состоянии и находит меня выходящая из своей комнаты Татьяна.

— Что случилось? — говорит она. — Что за шум тут с самого, можно сказать, утра?

— У нас были бандиты, — с трудом выдавливаю из себя я.

— Какие бандиты? — говорит Татьяна и с некоторым удивлением смотрит на меня, поскольку мой голос в такое время суток она слышит чуть ли не впервые в жизни и, наверное, он кажется ей незнакомым. — Ты что, не проснулся еще? Или, наоборот, спал слишком долго и отлежал себе какой-нибудь жизненно важный орган?

Я рассказываю ей о незваных гостях и о том, как чудом избежал верной смерти, на что Татьяна совершенно спокойно замечает:

— Ты, когда с почтой поднялся, дверь небось забыл закрыть?

— Наверное, — с несколько виноватым видом говорю я.

— Ну вот, — говорит Татьяна. — Они проходили мимо. Видят: дверь открыта. Постучали пару раз — никто не открывает. Вот они и решили заглянуть, проверить, не случилось ли чего плохого с хозяевами.

— Да, наверное, — говорю я.

— А вообще-то, — говорит Татьяна, — тут и другая причина есть.

— Какая? — говорю я.

— Я же портрет негритянки сейчас оканчиваю, — говорит Татьяна. — Поэтому они и пришли. Вот бы попозировали мне. А ты их спугнул.

— В каком смысле спугнул? — говорю я. — Они же меня чуть не убили.

— С чего ты взял? — говорит Татьяна. — Они бы просто вошли, и тогда я их тоже смогла бы нарисовать. Ты же знаешь, как мне живых натурщиков не хватает.

— Знаю, — говорю я.

— Так зачем же ты их спугнул? — говорит Татьяна.

— Никого я не спугивал, — говорю я, и в этот момент, на мое счастье, звонит телефон, давая возможность прервать эту явно ничего хорошего мне не сулящую беседу.

Обычно я в такое раннее время и к телефону тоже не подхожу, но тут приходится сделать исключение.

— Алло, — как всегда, очень солидно и уверенно говорю я. — Зернов слушает.

— Привет, Зернов, — раздается голос в трубке. — Антон Зарецкий беспокоит. Не оторвал от чего-нибудь важного?

— Оторвал, конечно, — говорю я, — но теперь-то что уж поделаешь?

— Прости, старик, — говорит Антон. — У нас тут неприятность небольшая. Ограбили нас. Ты не мог бы подъехать?

— А я тут при чем? — говорю я. — Я у вас ничего не брал.

— Естественно, — говорит Антон. — Ты что? Никто на тебя и не думает. Просто посоветоваться с тобой хотим по одному вопросу. Мы же недалеко от тебя совсем. Возьми кар-сервис, я тебе деньги отдам.

— А работу мою ты тоже за меня сделаешь? — как можно сердитее говорю я. — Ну, хорошо. Сейчас буду.

Когда я приезжаю к Антону с Мариной, там уже сидит Надя Малинина. Но это, впрочем, понятно: она же по соседству с ними живет, да и дружат они семьями, особенно с тех пор, как стали совладельцами «Эдема».

— Ну что тут у вас случилось? — говорю я, поздоровавшись со всеми, в том числе с Дашей и Розалией Францевной, которая, естественно, отвечать мне не считает ни нужным, ни хотя бы возможным.

— Ну что-что? — говорит Антон. — Как я уже говорил, ограбили нас. Забрались в дом. Ночью. Когда мы спали все. Представляешь?

— Представляю, — говорю я. — Полицию-то вызывали?

— Вызывали, — говорит Антон.

— Ну и что? — говорю я.

— А ничего, — говорит Антон. — Приехали два хряка. Таких, знаешь, что я думал, они в дверь не пройдут: специально для них дыру в стене пробивать придется. Но ничего, прошли. Бочком. Покрутились тут полчасика, понюхали и ушли. Ты, как-никак, давно здесь живешь, в Америке этой. Может, подскажешь, чего нам дальше делать?

— Опись пропавших вещей составили? — со знанием дела говорю я, хотя это просто первое, что приходит в мою совершенно сонную голову. Кофе-то я так и оставил недопитым — с чего же головушке моей бедной теперь несонной быть?

— Нет еще, — говорит жена Антона Марина. — Из крупных вещей ничего вроде не пропало. А мелочи ведь перебирать надо.

— Ну вот, — говорю я. — Как составите опись, опять полицию вызывайте. Искать они, конечно, ничего не будут, но протокол составят, и вы потом все, что у вас взяли, с налогов списать сможете. Если у вас, конечно, квитанции о покупке этих вещей сохранились. Чтобы их стоимость подтвердить. Правда, имейте в виду, что такие штуки сразу внимание Налоговой службы привлекают. Они, как видят, что украденные вещи списаны, тут же начинают всю декларацию шерстить. Да еще и за предыдущие годы все поднять могут. Особенно если еще что подозрительное найдут.

— А почему ты думаешь, что полиция искать ничего не станет? — говорит Марина.

— Я не думаю, — говорю я. — Я знаю. Когда в городе почти две тысячи человек в год мочат, а изнасилования, драки, наркоманов и прочее добро даже считать давно бросили, кто же какими-то бирюльками заниматься будет? Они и раньше ворованного никогда не искали, а сейчас тем более. Сейчас все силы на борьбу с террористами брошены. К тому же Ирак вот-вот в нас бомбой с чумой пульнет. Не до воров стране, сами понимать должны.

— Как ни странно, но Леша прав, — вдруг подает голос Надя. — От полиции действительно толку никакого. Одни только неприятности.

— А ты откуда знаешь? — говорит Антон.

— Ну, у нас тут тоже история одна уже некоторое время тянется, — говорит Надя. — Мы не хотели рассказы-

вать, чтобы никому голову не морочить. У каждого же своих радостей в жизни выше крыши.

— Что, тоже ограбили? — говорит Марина.

— Нет, — говорит Надя, — хуже. К Катьке прицепились две девчонки какие-то. То ли наркоманки, то ли хулиганки просто. Одна вообще беременная уже. По крайней мере, она так говорит. Короче, они ее сначала в школе терроризировали.

— Как? — говорю я, потому что школа эта — та самая, где я теперь работаю.

— Ну, знаешь, — говорит Надя, — Катька же полненькая у нас такая. Вот они ее и дразнили. Жирной свиньей называли или еще там как-нибудь. А потом им очень не нравится, что она с Лероем встречается.

— Почему? — говорю я.

— Ну как почему? — говорит Надя. — Кому же это понравиться может? Я тоже, например, не в восторге от того, что моя единственная дочь с неграми путается, но я же к ней с кулаками не лезу.

— А они что, лезут? — говорю я.

— Да, — говорит Надя. — А недавно, когда Катя одна дома была, прямо в дверь к нам позвонили — вроде отношения выяснять звали. Она на крыльцо вышла, чтобы сказать, что никуда с ними не пойдет, а они ее оттолкнули и ворвались в дом. Набездобразничали там, кухню кетчупом залили, солью засыпали. Дверь в Катькину спальню ногой прошибли — теперь дыра в ней. Тут ведь знаете как — даже в хороших домах все фанерное. Ткнешь один раз — и все развалится.

— Украли что-нибудь? — говорит Антон.

— Да мелочь всякую, — говорит Надя. — Духи Катькины и дневник.

— Какой дневник? — говорю я. — Тут в школе дневников нет.

— Нет, личный, — говорит Надя. — Тот, в который она все про свою личную жизнь записывает и на ключ от всех

запирает. Это для нее, конечно, большая потеря. Да, и еще, пока она за ними по всему дому гонялась, погой где-то так ударилась, что большой палец себе сломала. Теперь в гипсе ходит.

— Да, я видел, — говорю я. — Но когда я спросил ее, она сказала, что на съемках новой серии «Mission: Impossible» была, и Том Круз ей там ногу отдал. Так она же вроде на него в суд подавать собиралась?

— Это я ее научила так всем в школе говорить, — говорит Надя. — Чтобы не приставали. Короче, когда это случилось все, я в «Эдеме» была. Там аврал очередной произошел, и Вадик просил меня помочь. Катя позвонила мне, голос дрожит, странный какой-то. Я сразу же почувствовала, что с ней что-то не так. У нас ведь потрясающе доверительные отношения, и она знает, что мне все, что угодно, рассказать можно. Я все пойму. Кроме лжи. Поэтому она и не врет мне никогда. А тут что-то крутить начала, темнить. Ну, я бросила все, взяла машину, помчалась домой. К моему приезду девчонок этих уже и след простыл, а Катя — от страха, что ли, — минимальный порядок навела. Вещи разбросанные по местам рассовала, кетчуп с кухонного стола вытерла. И говорит мне: «Ты только в полицию не звони. И папе ничего не рассказывай».

— Почему это? — говорю я.

— Сказала, что они пригрозили ей, — говорит Надя. — Особенно та, которая беременная. «Если, — говорит, — я окажусь в тюрьме и у меня отнимут моего ребенка, тебе не жить». Представляете?

— Ну и что ты сделала? — спрашивает Марина.

— Сначала вместе с Катькой в «Эдем» поехала, — говорит Надя. — По дороге, в машине, она хоть успокоилась немножко, рассказала мне все. Вернее, я из нее по кусочкам маленьким вытягивала, но в итоге полная картина получилась. Потом Вадим ее в больницу повез. Они там три с половиной часа в приемном просидели, но это уже вооб-

ще отдельная история. Для другого фильма ужасов. В конце концов ей там гипс наложили, а Вадим пока с дежурным полицейским поговорил. Время уже позднее было, и не хотелось на ночь глядя еще и в полицию ехать, но полицейский этот сказал, что обязательно в тот же день надо протокол составить. Иначе потом вообще никто этим заниматься не будет. Закурить дайте кто-нибудь.

— У нас вообще-то в доме не курят, — говорит Антон, но я, не обращая на его слова ни малейшего внимания, протягиваю Наде пачку «Кэмела».

— Ой, крепкие какие! — говорит Надя. — Ну ладно, может, так даже лучше. А то я что-то разволновалась. Опять вспомнила все сейчас, и вот вам пожалуйста.

— И что дальше было? — спрашиваю я, после того как Надя закуривает.

— Ничего хорошего, — говорит Надя. — В отделении полицейском мордовороты сидят такие, что к ним и подступиться страшно. Сначала вообще разговаривать с нами не хотели — надеялись, что мы потопчемся-потопчемся и свалим. А потом, когда я сказала, что вещи кое-какие пропали, они поняли, что дело по-любому заводить придется. Повздыхали тяжело так, что мне чуть ли не жалко их стало, но деваться-то некуда. «Езжайте, — говорят, — домой и вызывайте 911». — «Но мы же уже здесь», — говорим мы. Нет, оказывается, надо, чтобы полиция обязательно на место преступления прибыла. Ладно, надо так надо. Поехали мы домой. Вызвали 911. Через полчаса подъезжает машина. Из нее вылезают еще четыре пантагрюэля — где их только берут таких, не знаю, может, на заказ NYPD¹ рожают и выращивают потом в инкубаторах. Ну, вопросов, естественно, тьма-тьмушая. Что да как, да почему сразу не позвонили? Двое из них с Катей на кухню ушли, и я только обрывки их разговора слышала, но и по ним по-

¹ Полиция Нью-Йорка.

нятно было, что они ей там самый настоящий перекрестный допрос устроили. Все ее сбить пытались, запутать. Не знаю, удалось не удалось, но вышла она оттуда вся красная и вообще уже не в себе. За это время еще одна машина подтянулась. Уже шесть человек по нашему дому ходят, все разглядывают, ощупывают, обнюхивают. «Хорошо, — говорят, — вы, русские, живете. Как в музее». А у нас же, вы знаете, ничего особенного нет. Я слежу, конечно, чтобы уютно было и красиво. Кос-что в антикварных магазинах на севере штата покунаю время от времени. А они трогают каждую вещь и въедливо так спрашивают: «Это что, настоящее? А это? И это что, тоже?» А ничего особенного правда нет. Ну, вы же были у нас — сами видели.

— Видели, — говорю я. — Но для американцев это все равно все роскошь. Они никак понять не могут, что если все свои деньги в «Макдоналдсах» не проедать, то в принципе по-человечески квартиру обставить — не проблема. Они всегда так удивляются, когда к нашим попадают. Называется: два света — два менталитета. Ну ладно. А дальше что было?

— Часа три они так у нас проболтались, — говорит Надя. — Все повыспросили: когда приехали, откуда, где работаем, чем занимаемся? И особенно напирали на то, почему мы сразу полицию не вызвали и почему Катя вообще этих девчонок не выставила. А как она могла их выставить, если они ее запугали так? Ну, просто парализовало волю ее от страха. Тут даже взрослый человек не всегда бы знал, как правильно среагировать. Тем более что мы ведь в чужой стране. Не знаем, что тут и как у них принято. Короче, когда они уже усзжать собрались, еще тетка какая-то появилась. И сразу ко мне: «What happened?» По двадцатому разу, значит, снова-здорово все ей рассказывай. А Катя уже в комнате была, со мной. Так тетка эта выслушала меня и к ней поворачивается. «А ты знаешь, — говорит, — что завтра сюда прибудет бригада следователей,

и они быстро выяснят, где ты нас обманула». — «Я не обманывала», — говорит Катя. «Ну да, — говорит тетка. — Я сама недавно была подростком (а она моего возраста примерно) и прекрасно знаю, как это бывает. Наверняка ты сама же этих девочек в дом пустила. Ведь это подружки твои, да? Вы тут вместе нахулиганили, а теперь ты все на них свалить хочешь. Так что ты подумай, какие наказания завтра давать будешь». — «Хорошо, — уже как-то смущенно говорит Катя. — Я подумаю. Может быть, я правда где-то ошиблась. Что-то перепутала». А я же вижу, что ее трясет всю, и она говорит это только для того, чтобы тетка отцепилась от нее побыстрее. То есть вообще получалось, что это она тут виноватая.

— М-да, — говорю я. — Неприятная история.

— Очень даже, — говорит Надя. — Теперь, представьте, мне ее каждый день из школы встречать нужно. Дома ее одну оставить нельзя — она боится. А по вечерам просит, чтобы я у Вадима снотворное взяла, потому что у нее, как она говорит, «bad feeling».

— А что полиция? — говорит Антон.

— Ну что полиция? — говорит Надя. — Ездила я туда. Следователь, которому это дело поручили, отгулы какие-то взял. Нет его на месте. Сказали: позвонят, сообщат. А вообще-то ездить туда бессмысленно. Они там на всех потерпевших как на потенциальных преступников смотрят. Особенно если видят, что ты иммигрант и с акцентом говоришь. Грубят, хамят, чуть ли не матом посылают. Унизительно это все. Хуже, чем у нас когда-то было.

— Это они специально делают, — говорю я. — Тут во всех государственных конторах политика одинаковая: сделать все возможное, чтобы человеку не по себе стало и чтобы он свалил оттуда как можно быстрее.

— Да, — говорит Надя. — И это у меня еще английский приличный. А каково старикам или тем, кто только при-

ехал недавно и с такими вещами сталкивается? Так что мой совет: если пойдете в полицию, возьмите с собой блокнотик и заранее все свои вопросы запишите. Желательно на русском языке, чтобы они ничего понять не могли. Когда вам отвечать начнут, вы в блокнотике пометки какие-нибудь делайте. Вопросы, на которые получили ответы, вычеркивайте и переходите к следующим. Надо, чтобы они видели, что вы просто так от них не отстанете. И еще: постарайтесь не волноваться. Там все волнуются. Все во взвинченном состоянии. А чтобы на вас внимание обратили, надо хоть чем-нибудь из общей толпы выделяться. Вот и выделяйтесь спокойствием. Все равно волнения ваши ничему не помогут.

— Так что же, нам теперь в полицию вообще не обращаться? — говорит Марина.

— Как это не обращаться? — говорит Антон. — Ты представляешь, что это такое? К нам забрался кто-то ночью, может, и не один даже. Ходили тут, еще неизвестно, чего взяли. А вдруг они опять придут?

— Сигнализационную систему поставьте, — говорю я.

— Да есть у нас система, — говорит Антон. — Отключили они ее. Провод перерезали снаружи, замок взломали и вошли. Как же можно в полицию не обращаться? Что же нам, так и жить теперь в страхе?

— Не надо никуда обращаться, — говорит, как всегда, молчавшая на протяжении всего разговора Даша.

— Почему? — спрашивает Антон.

— Потому что я, кажется, знаю, кто это сделал, — говорит Даша.

— Кажется или знаешь? — говорит Антон.

— Знаю, — чуть более уверенно говорит Даша.

— Так что же ты молчишь? — говорит Антон. — Кто?

— Понимаешь, пап, — говорит Даша. — Не могу я вам сказать.

— Почему это? — начинает выходить из себя Антон.

— Потому что, — спокойным, тихим голосом говорит Даша. — Потому что, если вы сейчас, и не зная еще ничего, так боитесь, то, когда я скажу, кто это был, вам только страшнее станет.

ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ

Хеллоуин начинается для нас еще за две недели до официального прихода этого налюбимейшего жителями США праздника. Все дело в том, что я появился на свет 21 октября — в один день с нашей единственной американской подругой Марлой — и лет десять тому назад имел глупость пригласить ее по этому поводу в гости. С тех пор она каждый год требует, чтобы эта традиция не прерывалась, хотя сам я отмечать свой день рождения не люблю, тем более в компании, где по-человечески и поговорить-то нельзя. В прошлые годы мне несколько раз удавалось как-то отговориться, но на этот раз мои обычные приемы не срабатывают.

Марла — маленькая, сухонькая американка, в молодости была хиппи и даже сбежала в Канаду вместе со своим тогдашним возлюбленным, который укрывался там от войны во Вьетнаме. Когда Татьяна с ней познакомилась, Марла писала огромный роман из жизни своего родного Среднего Запада, но с тех пор взялась за ум и последние лет 7–8 работает программистом, сохраняя при этом широкий круг интересов: регулярно ходит на все европейские фильмы, посещает бесплатные концерты классической музыки, берет уроки французского языка, учится играть на фортепьяно и каждый день по полтора часа плавает в бассейне. Живет она с еще одним бывшим хиппарем, а ныне преуспевающим домовладельцем Барри, который при первом же знакомстве сообщил мне, что у него в жиз-

ни есть только одно, но зато совершенно незыблемое правило: «Nobody's gonna fuck me, Leon, — сказал он, многозначительно указывая пальцем куда-то вверх. — Nobody's gonna fuck me».

Барри и Марла — миллионеры. Вместе они уже больше двадцати лет, но официально еще не расписаны и называют друг друга «бойфренд» и «гелфренд» соответственно. Они живут с двумя толстыми гладкими конками на последнем этаже принадлежащего Барри и его партнеру дома в Ист-Виллидже. Их квартира — это вытянутое кишкой помещение с одним-единственным крошечным окном, в которое свет проникает только в самые безоблачные дни, да и то в течение часов полутора-двух — не больше. В результате Марла, которая большую часть времени проводит перед экраном компьютера, практически ослепла на один глаз, но все равно продолжает исправно платить Барри свою долю от рыночной стоимости их жилья: полторы тысячи в месяц, что, учитывая престижность района, в котором расположен их дом, не так уж и много. Оплату всех коммунальных услуг они делят пополам, а питаются отдельно, чтобы, как говорит Барри, не создавать лишних конфликтных ситуаций, если он, например, хочет на ужин бутерброд с ветчиной и жареную картошку, а Марла — китайский рис с овощами. Когда они идут в кино, каждый, естественно, платит за себя сам, но бывает это редко, потому что Барри считает, что дешевле брать фильмы напрокат, когда они выходят на видео.

Совместно они владеют еще несколькими домами в Бруклине, а также в Мичигане, откуда Марла родом, и еще почему-то в Индиане. Барри — большой специалист по всем вопросам, прямо или косвенно связанным с денежными знаками или любыми их эквивалентами, и когда у меня была своя компания, он считал ей налоги. Собственно говоря, это в одном из его бруклинских домов я и снял квартиру для Ильи.

Итак, Марла звонит за три дня до нашего общего с ней дня рождения и предлагает отметить его походом на концерт классической музыки. Концерт состоится на пришвартованной где-то на севере Бруклина барже, а исполняться будут произведения одного из величайших композиторов всех времен и народов — Юхана (Яна) Юлиуса Кристиана Сибелиуса. Билеты на него, естественно, бесплатные, но заказывать их надо заранее.

— Знаешь, у нас как-то нет настроения ничего праздновать, — говорит ей Татьяна. — Нам просто нравится тихонечко сидеть в нашем углу и никого не трогать.

— Это звучит очень депрессивно, — говорит Марла и просит позвать к телефону меня.

— Сколько можно терпеть это безобразие? — говорит она, когда я беру трубку. — Вы прямо в каких-то фанатиков религиозных превращаетесь.

— При чем тут вопросы веры? — говорю я.

— Я считаю себя очень духовным человеком, — говорит Марла, — но я не собираюсь иметь ничего общего ни с какой формой организованной религии.

— О'кей, — говорю я. — Никаких проблем.

— Нет, есть проблемы, — говорит Марла. — У вас постоянно какие-то религиозные ритуалы. Большую часть времени вы поститесь. То вы этого не можете есть, то того. То вам в церковь надо идти, то молиться. А где же развлечения? Я хочу развлечений!

— Замечательно, — говорю я. — Почему бы вам тогда не приехать к нам на Брайтон? Мы можем пойти в хороший русский ресторан на бордвоке и неплохо там поесть. Это нас всех развлечет.

— Я ненавижу русскую еду — она такая жирная, но я поговорю с Барри, — говорит Марла и вешает трубку.

Собственно говоря, именно на это я и рассчитывал, втайне надеясь, что Барри ни за что не согласится ехать в такую даль ради какого-то неизвестного ему ресторана.

Раньше он уже неоднократно выручал нас в похожих ситуациях, но на этот раз моим надеждам оправдаться не суждено. Что именно произошло между Марлой и Барри и как ей удалось его уговорить, остается для меня тайной, но в результате мы сидим в «Зимнем саду» и с увлечением разглядываем меню. Барри, в лучших традициях своего народа, читает его справа налево и в итоге заказывает самую дорогую закуску — запеченное крабье мясо — и самое дорогое второе — оленину. Он еще не знает, что я решил заплатить за всех, но в принципе, даже если пополам счет делить, то все равно выгоднее брать то, что подороже, потому что, во-первых, получится, что никто тебя не объел, а во-вторых, часть твоего обеда оплатит тот, кто заказал себе более дешевое блюдо. Барри мне этого так внятно никогда не излагал, но я уже достаточно давно его знаю, чтобы и без всяких слов догадаться.

Итак, Барри берет запеченных крабов и оленину; Марла, которая выглядит как узница концлагеря, но все равно следит за количеством поглощаемых ею калорий с чисто религиозным рвением, — салат из огурцов и помидоров с оливковым маслом и младенца-осьминога с морскими водорослями; я — улиток в чесночном соусе и телячью отбивную с картошкой; а Татьяна — тоже улиток и креветок под белым соусом. К этому нам приносят бутылку белого вина и газированную воду не из холодильника, как я и просил. Поскольку я заказал ее официантке по-русски, Барри, увидев бутылочку газировки, делает страшные глаза и спрашивает меня решительным голосом готового на все человека:

— Мы это заказывали?

— Да, — говорю я, и он успокаивается, уверенный в том, что его не обманули.

Поначалу разговор вертится вокруг политики. Барри и Марла — оба убежденные демократы, причем настолько, что много лет тому назад Барри как-то сказал мне:

«Я не понимаю, почему ВИЧ-инфицированные люди не поедут в Вашингтон и не покусают там Ньюта Гингрича и его единомышленников». Ньют Гингрич уже давно не популярен, и поэтому теперь гнев Барри полностью сконцентрирован на Буше.

— Поначалу я думал, что Буш — это консерватор, который выдает себя за умеренного политика, — говорит он. — Потом я считал, что он умеренный политик, который выдает себя за консерватора. А теперь я наконец понял, что он из себя представляет: ничего.

Меня всегда восхищало умение Барри говорить остроумными афоризмами, и я смеюсь.

— Особенно мне нравится в республиканцах то, — продолжает Барри, — что они так трогательно откровенны. Они ничего не скрывают и даже не пытаются делать вид, что они тоже люди. Они открыто говорят: «Мы пришли в Белый дом для того, чтобы обокрасть вас, ограбить все население и сделать наших богатых друзей еще богаче».

— Вы видели последний номер журнала «Онъон»? — говорю я исключительно для того, чтобы поддержать разговор, так как сам я большой разницы между республиканцами и демократами давно уже не вижу. — Там главный заголовок смешной был. «Буш об экономике: Убрать Саддама».

— Саддам — чудовище, — говорит Барри. — Его надо остановить.

Тут нам приносят закуски, и разговор на некоторое время замирает, а возобновившись, переходит на гораздо более близкую всем нам тему.

— Нелегальным иммигрантам не должны предоставлять никаких медицинских услуг в штате Нью-Йорк, — говорит Барри, вычищая со своей тарелки остатки крабьего мяса.

— А что будет, если завтра люди начнут умирать прямо на пороге твоего дома? — говорю я.

— Ничего страшного, — говорит Барри. — Я не возражаю. Если какой-нибудь один иммигрант помрет на пороге моего дома, может быть, другой дважды подумает, перед тем как ехать сюда. Может быть, он вместо этого поедет в Нью-Джерси.

— Но их же нарочно впускают в Америку, — говорю я. — Потому что кто-то должен работать на всех этих низкооплачиваемых работах, и, судя по всему, это будем не мы с тобой.

— Мне по барабану, — говорит Барри. — Я только одно знаю наверняка: ни одного цента из моих налоговых отчислений не пойдет на оплату их здравоохранения, и если ты приезжаешь в Нью-Йорк в качестве нелегала, готовься к тому, что тебе придется умереть на улице.

В этот момент официантка приносит нам второе, и я решаю воспользоваться этим, чтобы сменить тему разговора.

— Как бизнес продвигается? — спрашиваю я у Барри.

— Отлично, — говорит он. — Ты же знаешь мой девиз: меня никому нас...ать не удастся. Это никому не удавалось в прошлом, и никому не удастся в будущем. Я свято придерживаюсь этого принципа, и бизнес идет просто замечательно.

— Но тебе же приходится иметь дело с таким количеством жильцов, — говорю я. — Разве у них нет проблем?

— Конечно, есть, — говорит Барри. — Но это их проблемы, а не мои. Я потратил кучу денег на очень дорогого юриста, и он составил для меня договор, который все мои жильцы обязаны подписать, прежде чем я позволяю им пересечь в один из моих домов. Это совершенно замечательный договор, потому что, по его условиям, каждый раз, когда кто-то из жильцов звонит мне и говорит, что в квартире что-то сломалось и надо бы это починить, я говорю: «Конечно, надо, но это буду делать не я!»

Марла с гордостью смотрит влюбленными глазами на Барри, который произносит последнюю фразу с такой гримасой и такой решимостью, что мне становится не по себе.

— К тому же я всегда сдаю свои квартиры людям с низким доходом, — продолжает Барри.

— Почему? — изумленно говорю я. — Богатые же могли бы платить побольше.

— Это правда, но я не хочу, чтобы у моих жильцов было достаточно денег для того, чтобы судить меня и изводить всякими исками и процессами. Если сдавать квартиры бедным — жить гораздо легче, — говорит Барри с торжествующим видом человека, преподавшего полному профану очередной урок капитализма.

— Он такой умный, — говорит Марла. — Я просто не знаю, что бы я без него делала.

— Хотите, расскажу вам одну забавную байку? — продолжает Барри, отправляя в рот большой кусок жареной оленины. Дождаться нашего согласия или тем более разрешения он, само собой, не собирается. — Как вы знаете, у меня есть партнер, который владеет половиной дома, в котором мы живем. Он занимает там второй этаж. Пару лет тому назад он уговорил свою подругу переехать к нему из ее квартиры, плата за которую регулировалась городскими законами. Сегодня ему семьдесят пять лет, и он очень тяжело болен. Фактически он со дня на день умрет, о'кей?

Барри так аппетитно жует оленину, что мне становится даже немного завидно, тем более что заказанная мною телятина оказалась несколько пережаренной.

— Так вот, на прошлой неделе он звонит мне и говорит: «Барри, когда мы сделали перефинансирование закладной на наш дом, ты занял деньги у своего отца, и все эти годы мы платили проценты по закладной ему. Теперь твой отец умер, но ты переписал закладную на своего брата, и мы платим ему. Таким образом тебе не приходится просто содержать этого бездельника, и мне кажется, что это

несправедливо». — «Конечно, несправедливо, — говорю я. — Но как насчет всех тех лет, что ты накалывал меня с платой за аренду второго этажа? Ты платишь за него всего тысячу сто долларов в месяц, хотя тебе прекрасно известно, что рыночная цена составляет по меньшей мере три штуки». — «Послушай, Барри, — говорит он. — Я как раз хотел поговорить с тобой на эту тему. Я скоро умру, и мне бы хотелось, чтобы Сюзии осталась жить в моей квартире». Тут я должен сделать небольшое отступление и рассказать вам, что, когда мы покупали этот дом, я нанял очень дорогого юриста. Он составил нам просто замечательный контракт, по условиям которого, в случае смерти Чарли я получаю право выкупить его долю. Естественно, я в последнее время много думал на эту тему, так что ответ у меня давно уже готов. «Конечно, — говорю я. — Конечно, она может оставаться. Я не возражаю. При условии, что она будет платить за эту квартиру рыночную цену». — «Но ты же знаешь, что у нее нет таких денег», — говорит он. «Тем хуже, — говорю я. — Конец базару».

Барри отрезает себе еще один кусок оленины и отправляет его в рот. Марла по-прежнему смотрит на него с благоговейным трепетом и даже начинает нежно поглаживать его по плечу. Я понимаю, что сейчас последует ударный финал истории, которую она наверняка уже неоднократно слышала и уже заранее гордится тем эффектом, который он на нас произведет.

— Короче, теперь он звонит мне каждый день и скулит часами, — говорит Барри. — «Барри, я тебя умоляю, — говорит он. — Я умираю. Что будет с Сюзии? Где она будет жить после моей смерти?» А меня колыхет, что будет с Сюзии? Он накалывал меня с оплатой второго этажа в течение пятнадцати лет — так с какой стати меня должно волновать, что будет с его идиоткой подружкой?»

— К тому же она однажды украла у меня платье, — говорит Марла. — У нее четырнадцатый размер, но она все

равно украла платье, которое я забыла рядом со стиральной машиной.

— Это было очень хорошее платье, — говорит Барри. — Марла пятьдесят баксов за него заплатила.

— А как вы узнали, что это она его взяла? — спрашиваю я.

— Она мне сама сказала, — говорит Марла. — Мы были на вечеринке, и она мне сказала. По-моему, это было очень благородно с ее стороны.

Вечер заканчивается на очень позитивной ноте. Узнав, что я собираюсь оплатить счет, Барри приходит в невероятно благодушное расположение и говорит:

— Почему ты нас с самого начала не предупредил? Мы бы побольше съели. Я был уверен, что мы пополам будем платить.

— Именно поэтому я и хотел сделать вам сюрприз, — говорю я.

— Я никогда этого не забуду, — говорит Барри с такой проникновенной искренностью, что я ему верю.

Домой в Манхэттен Барри и Марла едут на кар-сервисе. Диспетчер, увидев перед собой американца, называет цену в 50 долларов, хотя я прекрасно знаю, что обычно они тридцатку всего берут.

— Ни за что, — говорит Барри.

— Сорок пять, — говорит диспетчер.

— Я лучше тачку себе поймаю, — говорит Барри и выходит на улицу, хотя как всякому коренному ньюйоркцу ему прекрасно известно, что в Бруклине обычное такси найти невозможно. Они тут просто так по улицам не ездят.

Через пару минут диспетчер выходит вслед за ним.

— Хорошо, тридцать пять плюс оплата за тоннель, — говорит он.

— Вот это совсем другое дело, — говорит Барри. — У меня теперь такое чувство, как будто ты мой брат.

— Ага, — говорит диспетчер с кислой усмешкой. — Брат-дегенерат.

Барри прощается с Татьяной, а я целую Марлу в похожую на высохшее яблочко щеку.

— Он потрясающий, правда? — говорит она. — Он даже за слку на Рождество и то торгуется. И всегда выторговывает что-нибудь. На полном серьезе.

— Nobody's gonna fuck me, Leon, — говорит Барри, пожимая мне на прощанье руку. — Nobody.

— Кошмар полный, — говорит Татьяна. — Мы пока шли к вам, я чуть обратно не повернула. Одни ведьмы и вурдалаки вокруг. Да еще скелеты, зомби, вампиры, утопленники и русалки.

Мы, то есть я, Татьяна и примкнувший к нам Алик, сидим дома у Ильи с Ниной, которые Хеллоуин, естественно, не отмечают, а нас в гости позвали только потому, что они хотели Димку своего с одной девушкой хорошей познакомиться и пытались это наиболее естественным образом обставить. Как будто гости у них собрались — ну, и она зашла тоже, как бы случайно. Девушку эту зовут Оля, она вместе с Ниной в магазине работает, а по вечерам в Кингсборо-колледже учится на графика-дизайнера. Хорошая, по моему, девушка, скромная, даже по-своему симпатичная, но на Димку она, кажется, никакого впечатления не произвела. А может, это он просто виду не показывает.

— Да нет ничего страшного в этом, — говорю я Татьяне. — Просто веселятся люди. И вообще, у каждого народа свои традиции. Раз уж мы сюда приехали, то должны их обычаи уважать.

— Интересно ты рассуждаешь, — говорит Татьяна. — А если бы мы к каннибалам приехали, то их традиции ты бы тоже уважать требовал? И вообще, традиции народа и есть один из главных показателей уровня его духовного

развития. У одних традиция — каннибализм, у других — пьяные оргии, а у третьих — нечистью всякой прикидываться. Каждому, как говорится, свое.

— Не скажи, — говорит Алик. — Вот даже главный раввин России свое возмущение по этому поводу высказал. Подожди, сейчас зачитаю тебе его письмо.

Алик вынимает из портфеля газету и, найдя в ней нужную статью, начинает читать:

— «Уважаемая Любовь Петровна! Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России выражает свою тревогу относительно навязывания учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений секулярных квазирелигиозных идеологий («культура мира» и пр.) и откровенно разрушительных религиозных вероучений («педагогика эпохи огня», «ноосферная педагогика» и др.). Ярким примером нарушения права учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений на свободу совести является принуждение их участвовать в Хеллоуине, «празднование» которого проводится во все большем количестве российских школ. Организаторы Хеллоуина спекулируют на тяге детей к сказочному, волшебному и необычному. Никто из детей в здравом рассудке не согласится принять участие в ритуале, имеющем отношение к сатанизму, тогда как любой ребенок будет рад участвовать в костюмированном и красочном карнавале шутливой направленности, да еще с оттенком волшебства, как представляют Хеллоуин учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений организаторы и пропагандисты этого действия. Однако Хеллоуин — это не сказочный карнавал, а вполне определенной направленности квазиритуальное действие, имеющее прямое отношение к религиозному сатанизму. Посредством проведения Хеллоуина в государственных и муниципальных образовательных учреждениях его пропагандисты ведут пропаганду религиозного са-

танализма, обучение учащихся вероучению религиозного сатанизма и создают непосредственные условия для дальнейшего вовлечения учащихся в религиозные объединения сатанистов. Все это является грубым нарушением законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях. Принуждение еврейских детей к участию в Хеллоуине, навязывание им разрушительных религиозных вероучений есть скрытая форма их духовно-культурного геноцида и проявление антисемитизма. Мы призываем всех евреев и представителей других народов России не участвовать и отказаться от участия своих родных и близких в сатанинском «празднике Хеллоуин». Прошу вас запретить проведение в какой бы то ни было форме Хеллоуина в московских школах. С уважением, председатель КЕРООР раввин КОГАН З. Л.»

— Вот видишь, — говорит Илья. — Даже евреи уже спохватились. Своих детей хотят от всего этого оградить.

— Откуда вообще взялся праздник-то этот? — говорит Нина.

— Да это древняя кельтская традиция, — говорю я. — От друидов еще. Они считали, что тридцать первого октября вся нечисть на землю сходит и покойники из могил встают, чтобы живых хватать. Так для того, чтобы не попасться нечисти этой в лапы, надо было самому в кого-нибудь из них переодеться. Ну, чтобы они спутали тебя вроде. А первого ноября у католиков День Всех Святых. По-английски «All Saints' Day» называется. Раньше это как «All Hallows' Day» звучало. Вот у них и соединилось все.

— Да ты хотя бы в название вслушайся, — говорит Татьяна. — Хелл-уин. Это же точно как «победа ада» звучит. Потому что переодевания эти именно только с такой целью и затевают, чтобы ад мог на земле победить.

— Не знаю, — говорит Нина. — У нас вон тоже ряженые есть.

— Ну и что в этом хорошего? — говорит Татьяна. — Чем хвастаться-то? Остатки язычества есть и у нас, конечно, но Хеллоуин — это все-таки другое. Во-первых, массовость явления. Во-вторых, откровенный сатанизм как основная тематика. В-третьих, то, как во всем этом задействованы дети, включая самых маленьких. Одно дело — переодеваться шутами всякими, дурачиться. Тоже ничего похвального, естественно, но в принципе не так уж и страшно, тем более что ни одному нормальному человеку заниматься этим в голову никогда не придет. Но совсем другой разговор начинается, когда вся страна от мала до велика выражается в нечисть всякую. Когда по всем телеканалам фильмы ужасов крутят. Когда все книжные магазины романами о нечистой силе и оккультными трактатами завалены. И самое главное — когда детей конфетами и сладостями заманивают на этот гигантский шабаш и заставляют принимать в нем участие.

— Но это же все просто игра, — говорю я. — И все это прекрасно понимают.

— Запомни, миленький: никто ни в чем ничего не понимает, — говорит Татьяна. — Самая главная задача бесов — это убедить человека в том, что их не существует, что все это просто невинные шутки.

— Да здесь же почти все в Бога верят, — говорю я. — Согласно опросам, от восьмидесяти до девяноста процентов американцев называют себя религиозными.

— Ну и что? — говорит Татьяна. — Это только свидетельствует о том, какова цена этой их религиозности. Нормальный человек, который в Бога верит, ни за какие коврижки с нечистой заигрывать не будет и детям своим никогда этого не позволит.

— А теперь эта зараза еще и по всем миру расползается, — говорит Илья. — Я когда в Париже был, как раз на Хеллоуин этот попал, так там все витрины магазинов были скелетами и тыквами увешаны. И в России то же самое

происходит. Уже сейчас некоторые в этот день упырями всякими выражаются и по улицам бродят.

— Но есть же и вполне нейтральные наряды, — говорю я. — Зайчик там, котенок, ковбой, принцесса.

Татьяна ничего не отвечает и смотрит на меня так, как обычно смотрят на совсем еще неразумных малолеток. Доказывать им что бы то ни было — бессмысленно, спорить — тем более. Если не понимает ребенок, что нельзя пальцы в электрическую розетку совать, то, сколько ни говори ему, что его током стукнет, он, пока самолично в этом не удостоверится, все равно не поверит.

— Ну ладно, — говорит Нина, явно пытаюсь разрядить обстановку. — Второе нести?

— Подожди, — говорю я. — Мы еще салаты не доели.

— Так доедайте быстрее, — говорит Нина. — Пережарится же все.

В этот момент в комнату входит Игорь и, поздоровавшись с нами, направляется прямо к Диме. Наклонившись, он что-то шепчет ему на ухо. Дима кивает и поднимается с места.

— Ну ладно, нам пора, — говорит он. — Желаю хорошо повеселиться.

— Ты куда? — говорит Нина.

— В «Эдеме» маскарад по случаю Хеллоуина, — говорит Дима. — Я же тебя еще неделю назад предупреждал. Ты что, забыла? Я и костюм приготовил уже.

— Иди-ка сюда, — говорит Нина и за рукав вытаскивает своего старшего сына на кухню.

Поскольку я сижу прямо рядом с ведущей туда дверью, мне прекрасно все слышно. Я знаю, что подслушивать нехорошо, но что же мне теперь, уши затыкать? К тому же с их уходом в комнате воцаряется неловкое молчание, и, похоже, их разговор слышу не только я один.

— Ты что, с ума сошел? — раздается с кухни шепот Нины. — Оля же специально ради тебя приехала. Я ей столько всего про тебя рассказывала. А ты уходишь.

— Ну, не нравится она мне, мам, — тоже шепчет Димка. — Ну что я могу поделать?

— Да, — как можно громче говорю я, стараясь заглушить доносящиеся с кухни голоса. — Зарецкие всех сегодня в «Эдем» приглашали. Говорят, там что-то совершенно невероятное будет. До двух тысяч человек ожидается, и наших, и америкосов, и все в маскарадных костюмах.

— Да? — говорит Игорь. — Интересно.

— А ты же их, кажется, знаешь? — говорю я.

— Зарецких? — говорит Игорь. — Знаю немного.

— Так они тебя тоже звали? — говорю я, а Татьяна толкает меня под столом коленкой. Я недоуменно поворачиваюсь к ней, но она делает вид, что ничего не произошло и что она целиком и полностью поглощена салатом «оливье», в котором, на мой вкус, не хватает яблок. Да и майонеза, по правде сказать, тоже можно было бы побольше положить.

— Нет, — говорит Игорь. — У меня там, типа, свидание. Я тут познакомился через комп с одной. Вживую ни разу не виделась еще. Ну, вот и решили, что лучшей okazji, чем сегодня, не найти. Там же все в масках будут.

— А ты знаешь, кем она нарядиться собирается? — говорю я.

— Да, — говорит Игорь. — Она мне проболталась.

— А она про тебя знает? — говорю я.

— Нет, — говорит Игорь. — Я хочу ей сюрприз сделать.

— Здорово, — говорю я. — Очень романтично.

Нина выходит из кухни, неся в руках блюдо с жареной курицей. Дима, как бы прячась за ее спиной, проскальзывает в свою комнату.

— Ты извини, Оленька, — говорит Нина. — Я действительно забыла, что он давно уже с друзьями договорился. И костюм свой дурацкий правда всю неделю готовил.

— Ничего, — говорит Оля. — Вы можете ничего мне не объяснять. Я ваш разговор слышала и все и так понимаю.

— А что, может, все в «Эдем» завалимся? — говорю я, вопросительно глядя на Татьяну.

— Заваливайся, если хочешь, — говорит она. — Только домой потом не возвращайся. Прямо сразу начинай себе новое жилье подыскивать.

— Ну, знаешь, — говорю я. — Тебе не кажется, что это слишком все-таки? У меня одна мама есть уже, так я даже у нее не считаю нужным разрешения спрашивать, куда мне можно ходить, а куда — нельзя.

— Дело твое — иди куда хочешь, но имей в виду, что я тебе это категорически запрещаю, — говорит Татьяна.

— Мне и по работе это нужно, — говорю я. — Я, может, потом про это репортаж напишу, и мне деньги заплатят.

— Кому нужна такая работа? — говорит Татьяна.

— Тем, кому за квартиру, за еду, за страховку медицинскую и еще по десятку всяких счетов каждый месяц платить приходится, — говорю я.

— Да я лучше с голоду на улице умру, — говорит Татьяна и, резко поднявшись из-за стола, выбегает из комнаты.

— Ну вот, начинается, — говорю я. — Слезы для женщины — это все равно как булыжник для пролетариата.

— Напрасно ты, Леш, — говорит Нина. — Она ведь права. Если ты себя православным считаешь, то должен понимать, что нельзя в таких вещах участвовать. Хоть две клепки у тебя в голове должно быть или нет?

— При чем тут клепки? — говорю я. — Она же специально это делает. Постоянно одно и то же. Как только видит, что мне что-то нравится, обязательно все испортить надо. И вообще, если б она не поучала меня все время, я, может, и подумал бы еще. А так обязательно пойду. Из принципа.

— Глупые у тебя принципы, — говорит Нина.

— Какие есть, — говорю я. — Все мои. Так вы идете или нет?

— Нет, конечно, — говорит Нина. — Я бы и Димку не пустила ни за что, если бы это в моих силах было.

— Как хотите, — говорю я. — А я пойду. Жалко только, что у меня ни маски, ни костюма нет.

— Ну, это как раз ничаво, — для пущей издевки коверкая последнее слово, говорит Илья. — Ты и без них выглядишь так, как будто у тебя каждый день Хеллоуин. Смотри — еще распугаешь там всю нечисть.

Когда мы приходим в «Эдем», веселье там в полном разгаре. Оба этажа забиты народом, что называется, под завязку, причем подавляющее большинство явилось сюда действительно в каких-то невообразимых и в самом прямом смысле слова потусторонних нарядах. Одних скелетов штук пятьдесят как минимум. Ведьмы с помелом и ступой, русалки, гномы, гоблины, ходячие мертвецы — зомби, римские патриции в тогах, венецианские дожи в традиционных масках, живность всех видов, от устрашающих горилл до рогатых козлов, зеленые пришельцы из космоса, вампиры с торчащими клыками и измазанными красной краской губами, пираты с повязкой через все лицо, ковбои, индусские факеры, два Буша (оба, правда, младших), один Ельцин, два Горбачевых, одна Маргарет Тэтчер, одна то ли сова, то ли Мадлен Олбрайт, террористы в чалмах и с игрушечными автоматами через плечо, домовые, лешие, утопленники и висельники, самоубийцы с изуродованными гримом лицами, жертвы серийных маньяков с торчащими из животов картонными ножами и ранами, из которых сочится кетчуп, клоуны и паяцы, первобытные люди в тигровых шкурах с дубинами, роботы с подмигивающими лампочками на головах, овощи разные, от тыкв до гигантских помидоров, привидения в белых покрывалах, цыганки-гадалки, шаманы, алхимики в бархатных шляпах, маги-астрологи в расшитых звездами колпаках — вся нечисть, короче говоря, в полном сборе. Веселится, ест, пьет, громко разговаривает, пытается танцевать в сдавливающей со всех сторон толпе,

смеется, свистит, подпевает гремящему на пределах допустимых децибел оркестру, проталкивается то к дверям, то к бару, то, наоборот, куда-то вглубь — к столикам, за которыми тоже сидят устрашающего вида монстры.

От шума и толкотни я немного теряюсь и выпускаю из вида моих спутников: Димку, одетого в некое подобие рыцарских доспехов, и Игоря, весь костюм которого состоит из белой маски хоккейного вратаря с большими отверстиями для глаз и рта — типа той, какую носил постоянный герой киноэпопеи «Пятница, 13-е число» маньяк-убийца Джейсон. Я тут, похоже, действительно один без маскарадного наряда, но этого вроде бы никто не замечает. Скорее даже наоборот.

— Нормальный прикид у тебя, мужик, — раздается в какой-то момент голос у меня над ухом, и, повернув голову, я вижу улыбающуюся мне ведьму, которая держит под ручку трехголового дракона.

— Спасибо, — говорю я, не зная, как еще мне реагировать на столь сомнительный комплимент, и начинаю искать в толпе Димку с Игорем или еще кого-нибудь из знакомых, но вскоре понимаю, что найти здесь кого бы то ни было совершенно нереально. Я уже почти что жалею, что вообще пришел сюда, но протиснуться сейчас к выходу просто не представляется возможным. К бару тоже нелегко, конечно, пробраться, но я, по понятным причинам, решаю все-таки двигаться именно в этом направлении.

Около одной из колонн я замечаю Дашу, на которой, пожалуй, самый нейтральный, но тем не менее очень красивый наряд Золушки. Рядом с ней стоит молодой человек в костюме, отдаленно напоминающем моду средневекового французского двора, и я понимаю, что он, как и полагается, изображает из себя принца. Заметив меня, Даша машет мне рукой, но я даже не могу ей ответить — толпа сильно стискивает меня со всех сторон и уносит в сторону бара.

— Может, пойдём отсюда? — говорит Грег Даше.

— Подожди, — отвечает она, всматриваясь в толпу.

— Ты ждешь кого-то? — говорит Грег.

— Да все друзья должны тут быть, все прийти обещали, а я почему-то никого не вижу. Впрочем, как их тут узнаешь?

— Может, тогда потанцуем? — говорит Грег.

— Нет, — говорит Даша. — Не хочется. И так жарко. Ты не принесешь мне попить чего-нибудь?

— А попроще нельзя было чего-нибудь попросить? — говорит Грег. — Туда же не пробиться.

— Нет, — говорит Даша. — Попроще нельзя. К тому же принц — он на то и принц, чтобы самые заветные желания выполнять.

— Ладно, — говорит Грег. — Сейчас попробуем.

Он начинает протискиваться через толпу и уже через минуту исчезает среди веселящихся чудовищ.

— Привет, красавица, — раздается вдруг за спиной у Даши.

Она оборачивается и видит перед собой высокого молодого человека в белой маске хоккейного вратаря.

— Привет, — тихо говорит она.

— Вот я тебя и нашел, — говорит он. — Долго искал, уже думал: не судьба. Но наконец нашел все-таки.

— Да, — говорит она. — Нашел. А зачем?

— Как зачем? — говорит он. — Мы же с тобой договаривались. По Интернету. Забыла?

— Нет, почему забыла? — говорит Даша. — Ты Сергей?

— Конечно, Сергей, — говорит он. — А кто же еще? Ты со сколькими тут собиралась встречаться? Еще кого-то ждешь?

— Нет, только тебя, — так тихо говорит Даша, что голоса ее вообще не слышно из-за музыки, но слова можно угадать по движению губ. — Сними маску, пожалуйста.

— Что? — переспрашивает он.

— Маску сними, — уже громче и решительнее говорит она.

— Зачем? — говорит он.

— Просто так, — говорит она.

— Просто так ничего не бывает, — говорит он. — За поцелуй сниму, пожалуй, а просто так — нет.

— Хорошо, — говорит она.

Он наклоняется к ней. Ближе. Еще ближе. Она видит только его темные глаза в прорезях белой маски — они кажутся совершенно черными.

— Ну? — говорит он, и Даша быстро касается губами того места, где у маски щека.

— Нет, — говорит он. — Это не честно. Это не считается.

Маска вплотную придвигается к Дашиному лицу и прижимается к ее губам чернеющей дырой своего рта.

— Вот это другое дело, — говорит он. — Вот это по правилам.

— Теперь ты, — говорит Даша и испытующе смотрит на него.

— Теперь я что?

— Снимай маску, — говорит она. — Ты же обещал.

— Лучше ты сама ее с меня сними, — говорит он. — Так интереснее будет.

Даша смотрит на него с сомнением.

— Что, боишься? — говорит он.

— Нет, — говорит она, — не боюсь. Бояться раньше надо было.

Она берет маску за острый подбородок и резким движением поднимает ее вверх.

— Ну что? — широко улыбаясь, говорит Сергей. — Похож я на ту фотку, которую я тебе на мыло присылал?

— Да, — тихо говорит Даша, — похож.

— Вот и хорошо, — говорит он. — А ты боялась чего-то.

— Ничего я не боялась — с чего ты взял? — говорит Даша. — Слушай, я вообще-то не одна здесь.

— А с кем? — говорит Сергей.

— С женихом моим, — говорит Даша.

— А зачем же ты мне тогда свидание назначила, если знала, что с женихом придешь? — говорит Сергей.

— Ничего я тебе не назначала, — говорит Даша. — Ты спросил, где я буду на Хеллоуин, — я сказала. А потом ты сам уже объявил, что придешь сюда. Я же не могу тебе запретить.

— Хорошенькие фокусы, — говорит Сергей, и в этот момент к ним сквозь толпу протискивается Грег с бутылкой «Перрье» в руках.

— Вот и я, — говорит он, протягивая бутылку Даше. — Твоя любимая. Самое заветное желание. Как заказывали.

— Пойдем отсюда, — резко говорит она.

— Ты же пить хотела, — говорит он.

— Хотела, — говорит она. — На улице попью. Пойдем.

И, схватив его за руку, она начинается проталкиваться через толпу.

— А это кто был? — говорит Грег, когда они наконец выбираются из «Эдема».

— Да кто его знает? — говорит Даша. — Привязался придурок какой-то. Маньяк. Отвези меня домой, пожалуйста.

Устроившись около бара, я по-прежнему пытаюсь глазами разыскать в толпе Игоря или Димку. Дело это, естественно,дохлое, потому что, оказывается, костюмы их далеко не так оригинальны, как мне представлялось поначалу. Буквально за пару минут мне удастся насчитать четверых мужчин в джейсоновских вратарских масках и пять рыцарей. Все они с дамами — кто с русалкой, кто с инопланетянкой, кто с кем-то вообще непонятным. Типа кикиморы морской или осьминога. Только один из Джейсонов остался почему-то неприкаянным и стоит теперь в двух шагах от меня, тоже прислонившись спиной к стойке бара. В какой-то момент

он снимает маску, и я узнаю Игоря. Он отбрасывает со лба спутавшиеся волосы, как будто они мешают ему рассмотреть кого-то или что-то в противоположном конце зала, уже у самых дверей. Перехватив его взгляд, я вижу выходящих на улицу Дашу и ее принца.

— Что, — говорю я, — нашел свою интернетовскую подружку?

— Да нет, — машет рукой Игорь. — Я это вообще придумал все. Так, для прикола. Что я, лузер какой-нибудь — через комп знакомиться? Там нормальных нет и не было никогда. Одни уродки и нимфоманки.

— Ну, тебе виднее, — говорю я. — А Димка где?

— Вон он, — говорит Игорь. — С тыквой перезрелой отплясывает.

Зрелище это, надо сказать, действительно довольно уморительное. Неповоротливый рыцарь в явно мешающих ему картонных латах неловко пытается танцевать с довольно миловидной девушкой, которая зачем-то изуродовала свою фигуру, пытаясь уподобиться оранжевому символу Хеллоуина.

— Ладно, — говорит Игорь. — Пойду я. Завтра на работу рано.

— Мне тоже, — говорю я. — Но я еще побуду чуть-чуть, наверное. Интересно все-таки в настоящей американской традиции поучаствовать. Коренным, так сказать, аборигеном себя хоть в кои-то веки почувствовать.

Когда Игорь уходит, я опять вижу моих старых знакомых — ведьму и трехголового дракона, которые теперь кажутся мне уже чуть ли не родными.

— Выпьешь с нами волшебного зелья? — говорит дракон.

— Конечно, выпью, — говорю я и беру из рук ведьмы высокий хрустальный бокал, в котором бурлит и пенится какой-то напиток сине-зеленого цвета. — А что это такое?

— Пей-пей, не бойся, — говорит ведьма. — Я сама готовила. Из жгучих трав да из палых листьев. Из лунного света да из молока волчицы. А еще из корня мандрагоры, на крови голубиной настоящего.

— На крови? — говорю я. — Нет, тогда мне этого не надо.

— Не бойся, шучу я, — говорит ведьма. — Где я тебе кровь голубиную возьму? Пей.

Я делаю большой глоток из бокала. Сладковатый на вкус, но очень крепкий напиток, в котором, наверное, градусов шестьдесят, не меньше, обжигает гортань, растекается по пищеводу.

— Пей до дна, — говорит ведьма. — Не стесняйся. Такой праздник у нас только раз в году бывает.

Я делаю еще один глоток. Потом еще один. Дракон рукой подталкивает дно бокала вверх, практически насильно вливая в меня его содержимое.

— Хорошо приподняло, — говорю я, чувствуя, что голова уже начинает приятно кружиться. — А правда, что это было?

— Напиток богов, — усмехается беззубым ртом ведьма. — Эликсир вечной молодости и бессмертия называется. Понравилось?

Я киваю в ответ, а она берет из моих рук бокал, передает его дракону и обнимает меня рукой за шею.

— Потанцуешь со мной? — шепчет она мне в ухо.

Я пытаюсь отстраниться, но ведьма уже тянет меня в центр зала, где под оглушительную музыку топчется народ.

— Да не умею я танцевать, — говорю я, но тут, к счастью, оркестр смолкает.

— А сейчас, — объявляет в микрофон гитарист, на плечах у которого громоздится гигантская голова летучей мыши, а за плечами виднеются ее крылья, — наш коронный номер. Гвоздь программы.

Музыканты начинают играть какую-то неизвестную мне мелодию, а в центр зала из толпы протискивается неопределенного пола фигура в белом балахоне, в маске в виде черепа и с самой настоящей косой в руках. Толпа расступается и постепенно образует круг. Начавшаяся довольно медленно музыка набирает темп, и, ритмично покачиваясь, фигура в балахоне движется вдоль толпы. Впечатление такое, что она то ли скользит по полу, то ли иногда даже немного взлетает над ним. Музыка становится быстрее, и фигура стремительнее и стремительнее кружится по все более расширяющемуся вокруг нее свободному пространству. Размахивает косой прямо под ногами у отшатывающихся и подпрыгивающих на месте людей в масках. Темп оркестра нарастает и нарастает. Белый балахон, увенчанный раскачивающимся из стороны в сторону черепом, носится по кругу с какой-то уже совершенно сверхъестественной скоростью. Коса рассекает воздух с такой силой, что даже сумасшедшая музыка не может заглушить ее свиста. Гномы, гоблины, ведьмы, домовые и упыри орут от восторга. Приплясывают в такт. Хлопают в ладоши.

Я чувствую, что мне становится не по себе. Голова кружится, а из глубин желудка к горлу подкатывается горячий тошнотворный ком. Дышать становится совсем нечем.

— Расстегни рубашку, — видимо заметив мое состояние, кричит крепко вцепившаяся в мою руку ведьма.

— Что? — не понимаю я.

— Рубашку расстегни, — опять кричит она и, увидев, что я все равно не въезжаю, хватается за ворот моей застегнутой по полной программе рубашки и дергает его в стороны. Вместе с отлетающими пуговицами рвется и тонкая серебряная цепочка, которую мне Татьяна когда-то на именины подарила, чтобы я на ней крестик носил. Дышать становится действительно легче, но только на пару секунд. А потом меня все-таки выворачивает наизнан-

ку прямо посреди зала. К счастью, все настолько увлечены праздником, что никто не обращает на это никакого внимания.

Музыка играет еще громче. Цветные прожектора в бешеном ритме простреливают зал, который постепенно выстраивается в многоярусный хоровод, центр которого образует белая фигура с косой, и с гиканьем, свистом и топотом начинает кружиться вокруг нее.

— День Всех Святых! — кричит кто-то в толпе. — Да здравствует День Всех Святых!

— Happy Halloween! — вторят ему другие голоса уже по-английски. — God bless America!

— God bless America! — ревет счастливая толпа. — Happy Halloween!

СВОБОДА ВЫБОРА

На следующий день после Хеллоуина я просыпаюсь от того, что кто-то сильно трясет меня за ворот рубашки и говорит:

— Вставай, вставай скорее — неудобно же перед людьми.

— Что неудобно? — бормочу я. — Сон — естественное состояние человека. На потолке вот спать неудобно. А в остальном нормально.

— Лучше бы ты на потолке спал, — говорит такой знакомый голос, и, открыв наконец глаза, я вижу перед собой Татьяну.

Естественно, мое лицо расплывается в радостной улыбке, но уже в следующую секунду она с него сходит. Нет, Татьяну-то я, конечно, очень рад видеть, но вот только смущает меня то, что за ее спиной не стены нашей квартиры, а открытое небо и какой-то многоэтажный дом, кирпичные стены которого кажутся ярким пятном на фоне свинцовых мелких тучек. В этот момент я начинаю ощу-

щать, как холодный осенний ветер забирается ко мне под расстегнутую до самого живота рубашку, а в бок впивается что-то твердое. Пошарив там рукой, я обнаруживаю у себя в кармане целую пригоршню небольших, но довольно острых камней, которые прорвали подкладку моего пиджака, а теперь, похоже, намереваются проделать отверстие в моих ребрах. Откуда они там взялись — непонятно, но разбираться сейчас в этом нет никакой возможности. Вытащив самого зловредного нарушителя моего спокойствия и отбросив его подальше, я поднимаю голову и еще не до конца сфокусировавшимся взглядом принимаюсь рассматривать склонившуюся надо мной Татьяну и по-утреннему пустынный бордвок вокруг нас. Сам я, оказывается, лежу, свернувшись калачиком, на скамье с прекрасным видом на океан и действительно пользуюсь явно повышенным вниманием со стороны проходящих мимо людей. Что, впрочем, и неудивительно, учитывая мой довольно-таки прискорбный внешний вид.

— Вставай, — опять говорит Татьяна. — Пойдем домой, горе ты мое. Наказание.

— А как ты меня нашла? — говорю я, с трудом поднимаясь со скамейки.

— Да соседка позвонила, — отвечает Татьяна, поддерживая меня под локоть. — «Твой-то, — говорит, — на бордвоке весь заблеваный валяется». — «Так ему и надо», — сказала я и повесила трубку. Сначала не хотела за тобой идти, а потом подумала: вдруг ты простудишься еще?

— Спасибо, — говорю я, тщетно пытаюсь удержаться на ногах.

— Не за что, — говорит Татьяна.

— Я больше так не буду, — говорю я.

— Я знаю, — говорит Татьяна. — Ну что, пошли? Ты идти-то можешь?

— Могу, — говорю я и, как подкошенный, падаю обратно на скамейку.

...Как Татьяна дотащила меня до дома, я не помню, но в одном она оказалась точно права: простудился я действительно здорово. Кашель устрашающий, насморк ручьями, температура под сорок — все дела. Несколько дней я так и провалялся в постели (даже уроки в школе пришлось отменить) и только 5 ноября почувствовал себя немного лучше, что позволило мне, воспользовавшись уходом Татьяны на работу, быстро одеться и отправиться голосовать.

Избирательный участок на Брайтоне оказался уже переполнен народом, что меня очень обрадовало. По телевизору ведь всегда говорят, что основа демократии — это как можно более широкое участие электората. А наш народ, изголодавшись за долгую жизнь в СССР по свободным выборам, лишь только получит гражданство, сразу бежит для голосования регистрироваться. Права свои реализовывать. Ну и обязанности, конечно, тоже. Потому что всех, кто попадает в избирательные списки, потом в присяжные тягать начинают. Я через эту бодягу тоже как-то раз прошел — даже вспоминать противно.

Отдав свой голос за Патаки, я немедленно возвращаюсь домой. Тем более что погода отвратительная — дождь льет так, как будто это тоже чей-то насморк, и от промозглого холода у меня опять начинается легкий озноб. Поэтому, добравшись до квартиры, я забираюсь под большое теплое одеяло и, согревшись, быстро отключаюсь, а просыпаюсь от громких голосов на кухне. За окном к этому моменту уже темно.

Я выхожу на кухню и вижу Алика, Илью и Татьяну, которые сидят за столом и о чем-то оживленно беседуют. Мое появление, естественно, отвлекает их от разговора.

— Ну что, доголосовался? — говорит Татьяна.

— Тоже соседка настучала? — говорю я.

— Не первый день знакомы, — говорит Татьяна. — Теперь еще неделю болеть будешь?

— Да нет, нормально все, — говорю я. — Я только туда и обратно сбегал.

— Вот и молодец, — говорит Алик. — Фужер тащи.

— Фужер ему не нужен, — говорит Татьяна. — Он теперь только бульончик куриный пьет. Из кружки.

— Ну, как знаешь, — говорит Алик и наливает себе полный фужер «Столичной».

Я сажусь за стол, и Татьяна ставит передо мной чашку с горячим бульоном.

— За кого голосовал-то хоть? — говорит Алик.

— За Патаки, конечно, — говорю я. — Он так хорошо себя зарекомендовал.

— Удивляешь ты меня, — говорит Алик. — Ты что, не знаешь, что он контроль за квартплатой отменить собирается?

— Как это? — не на шутку пугаюсь я, потому что мы-то как раз живем в квартире, подпадающей под программу «rent control».

— А вот так, — говорит Алик. — Вернее, ему даже отменять его не придется. Это такой закон, который прекращает действовать, если его вовремя не возобновить. Так вот, срок его действия истекает будущим летом, и захватившие ассамблею нашего штата республиканцы даже голосование по нему провести не дают. А без голосования этого никакого рент-контроля больше не будет.

— А что же будет? — говорю я.

— Да ничего, — говорит Алик. — Домохозяйева будут сами цены на квартиры повышать. Как им заблагорассудится. Сколько захотят — столько и прибавят.

— Тогда в Нью-Йорке революция будет, — говорю я, дуя на бульон, чтобы он хоть немного остыл.

— Ну конечно, — говорит Илья. — И кто ее возглавит? Ты да я да мы с тобой?

— Вот из-за того, что таким, как ты, право голоса дают, все и произошло, — говорит Алик.

— Что произошло? — говорю я.

— Много чего, — говорит Алик. — Пока ты тут дрых весь день, вся власть в стране перешла в руки республиканцев. Они сегодня все выиграли. И сенат, и конгресс — все теперь у них в полном распоряжении.

— А Джеб Буш сохранил пост губернатора? — говорю я.

— Да, это вообще цирк, — говорит Алик. — За два дня до выборов он от своего соперника процентов на десять отставал, а теперь, говорят, на те же самые десять процентов его и обошел. Ну не приколы?

— А что особенного? — говорю я.

— Как что? — говорит Алик. — Как ты считаешь, могло такое количество людей за два дня вверх ногами перевернуться? К тому же там теперь больше ста тысяч неучтенных бюллетеней нашли. Но на результат это, говорят, никак не повлияет — нормально? И главное — это опять Флорида. Они там сначала президентские выборы сфальсифицировали, а теперь снова этого жулика протолкнули, чтобы он и в следующий раз своему братцу помог в Белом доме остаться. Промежуточные выборы в Америке всегда оппозиционная партия выигрывала. Это традиция такая. Основа основ американской демократии. Чтобы, значит, власть в одних руках не концентрировалась. А тут что? Полная победа партии нефти и войны на всех фронтах. Ну, кто в здравом уме может поверить, что это все честно было?

— Никто не доказал, что выборы во Флориде сфальсифицировали, — говорю я. — По разным подсчетам по-разному получается. И вообще, что плохого в Буше? Республиканцы всегда более решительные, чем демократы, а это в такое время, как сейчас, очень даже пригодиться может. Вот народ их и выбрал. А для экономики они вообще — супер.

— Ну да, — говорит Алик. — Супер-дупер. Рейган чуть всю Америку не разорил своими бредовыми идеями. Ну,

сам прикинь, если налоги снижать, а расходы на вооружение повышать, что с бюджетом будет?

— Ничего, — говорю я. — Не разорил же. Значит — ничего.

— Не разорил только потому, что дурак Горбачев его баск про «звездные войны» испугался и весь Союз сдал, — говорит Алик. — Если бы подождал еще пару годиков, глядишь, и развязался бы у штатников пупок-то.

— Глупости это все, — говорю я. — Рейган гениальный человек был. Я в газете «Онъон» читал, что теперь в его честь хотят болезнь Альцгеймера переименовать. Увековечить его имя для истории. Он ведь совершенно правильно говорил, что если снизить налоги для богатых, то у них больше денег будет. Они начнут заморочки разные покупать, яхты там, «Ламборгини», «Шато-Марго» ящиками, а это означает, что производство оживится, новые рабочие места появятся. И таким образом всем от этого богатства накапает.

— И много тебе накапало? — говорит Алик, оглядывая нашу кухню. — При Клинтоне только баланс бюджета из отрицательного в положительный превратился. А сейчас опять дефицит.

— Ну и что? — говорю я. — Трудности в экономике еще при демократах начались. Биржа при них ведь вниз пошла. Это же все мыльный пузырь был. Лохотрон. Пирамида. Ты сам мне говорил.

— Говорил, — говорит Алик. — И что, в такой ситуации, когда люди разоряются, работу теряют, надо социальную помощь сокращать? Чтобы богатым налоги скинуть и военные расходы почти в два раза поднять, да? А теперь вообще звездац полный будет. Теперь Бушу никто не сможет помешать его идеи бредовые в жизнь проводить.

— Какие идеи? — говорю я. — Ты посмотри на него. Вернее, послушай: в предложении из трех слов сто двадцать четыре ошибки. Какие у него могут быть идеи?

— Не у него, конечно, — говорит Алик. — А у тех взрослых дядек, которые за ним стоят и его за веревочки дергают. Чейни, Эшкрофт, Рамсфелд — это те, кого мы знаем. А за ними еще Вулфовиц, Перл, Фейс, Бейкер, Пойндекстер, папа Буш, мама Буш. Ты только на рожи их посмотри — сразу все понятно станет.

— Ничего мне не понятно, — говорю я.

— Вот и хорошо, — неожиданно встревает в наш разговор Татьяна. — Лучше бульончика попей. А то остынет.

— А мне понятно, — говорит Алик. — У них грандиозные планы. Они всю страну перевернут. Во всех областях революция будет.

— В каких, например? — говорю я.

— Во всех, — говорит Алик. — Налоги самым крупным буржуинам снизят, социальные программы сократят, в школах введут молитвы, аборт запретят, оружие огнестрельное в аптеках продавать будут. А еще с несогласными разберутся. Всех, кто генеральную линию республиканской партии не поддерживает, террористами объявят. Все винтики-гаечки намертво прикрутят — мало не покажется.

— Чего это ты так про аборт волнуешься? — говорю я. — Тебя это с какой стороны вообще колышет? И что плохого, если в школах молитвы введут? Я-то теперь знаю, что там творится. Молитвы этим раздолбаям не помешают.

— Это же не настоящие молитвы, миленький. Они не помогут, — говорит Татьяна, а Алик продолжает перечислять, что еще, по его мнению, натворят республиканцы:

— Они же теперь во все федеральные суды консерваторов поставят, а это пожизненная должность. Там такие упыри сидеть будут, что они все, чего Америка в последние годы добилась, поотменяют на хрен. Они же считают, что этнические меньшинства только на бензоколонках работать должны и в тюрьмах сидеть, а место женщины — дома. Хозяйством заниматься и детками сопливыми.

— Ну и что в этом плохого? — говорю я.

— Ничего, — говорит Алик. — Только к этническим меньшинствам они ведь и евреев тоже причисляют. Они же поголовно там все юдофобы лютые. И как ты думаешь, правится им, что банки, газеты, телевидение, кино, биржу — все чужаки какие-то себе присвоили?

— Неправда это, — говорю я. — Клинтон Шарона к миру с палестинцами принуждал, а республиканцы ему руки полностью развязали. Буш Иерусалим столицей Израиля признал. И в правительстве у него евреев полно. А госдепартаментом вообще негр рулит. С еврейской тоже, как это ни смешно, кровинкой.

— Не говоря уже о том, — не обращает никакого внимания на мои слова Алик, — что теперь война перманентная будет. Как у Троцкого революция. У Рейгана только одна «империя зла» была, а теперь вон целую ось где-то откопали и нанизывают на нее одну страну за другой.

— Войну во Вьетнаме демократ Кеннеди начал, а республиканец Никсон закончил, — говорит Илья. — Картер Бжезинского с Киссинджером во всем слушался. Это при них в Афганистане, еще до ввода туда советских войск, начали отряды моджахедов создавать и исламский фундаментализм культивировать, чтобы его в Среднюю Азию потом двигать. А Клинтон вообще — Югославию разбомбил. В центре Европы. На глазах у всего изумленного человечества.

— Что ты хочешь этим сказать? — говорит Алик.

— Ничего, — говорит Илья. — Удивляете вы меня, мужики. Большие вроде мальчишки уже, а простых вещей не понимаете.

— Ну вот, сейчас ты нам все объяснишь, — говорит Алик.

— Дай сказать человеку, — говорит Татьяна. — Тебя же мы слушали.

— Да нечего тут говорить-то, — говорит Илья. — Спектакль это все. Цирковое представление для особо доверчивых и впечатлительных. Театр юного зрителя.

— В каком смысле, спектакль? — говорю я.

— В прямом, — говорит Илья. — Вы же сами знаете, какой я раньше был. Сколько за демократию эту в России боролся. Противно иногда было, но все равно боролся, потому что верил, что принцип-то правильный.

— Почему противно? — говорит Алик. — Когда это тебе было противно?

— В девяносто третьем году, например, когда законно избранный парламент из танков раздолбали, — говорит Илья. — Да и в девяносто шестом тоже, когда Ельцин с рейтингом в шесть процентов и после инфаркта очередного полупарализованный президентом стал, а Зюганов даже не опротестовал ничего.

— Так это в России всегда так, — говорю я.

— Вот и я тоже думал, что это у нас только уродство такое бывает, — говорит Илья. — Потому что Россия — дикая и к цивилизации пока не приобщенная. Вот когда приобщится, будет и у нас все кучеряво, как на Западе. А теперь я вижу, что и здесь все то же самое, по сути, происходит, только более закамуфлированно, приглаженно.

— Как это то же самое? — говорю я. — Здесь же две партии всегда борются. И то одна к власти приходит, то другая.

— Наивный ты, — говорит Илья. — Неужели ты не видишь, что здесь однопартийная система, как в Союзе когда-то была? Одна и та же партия все время у власти. Только у партии этой есть два крыла, и они перед народом балаган разыгрывают. Чтобы видимость демократии поддерживать. А на самом деле никакой разницы между ними нет. Так, по мелочам разногласия бывают, конечно. Но в главном во всем — полное единодушие. Да и договариваются они заранее, как им что поделить. И не голоса

тут решают, а деньги большого бизнеса. Ну неужели ты в самом деле думаешь, что владелец какого-нибудь «Боинга» или «Дженерал моторс» будет сидеть и ждать: как это там фермеры в Индиане или в Оклахоме проголосуют? Сидит, прямо ногти от волнения кусает — вдруг не тому кандидату голоса свои отдадут, и тью-тью его миллиарды правительственных контрактов и налоговых льгот. Нет, конечно. Ему по барабану, кто как голосовать будет, потому что он заранее пожертвования в предвыборные фонды обеих партий сделал и при любом раскладе ничего не потеряет. Впрочем, по-другому и не может тут быть, если по большому счету.

— Почему это? — говорю я.

— Потому что вся система гнилая, — говорит Илья.

— Какая система? — говорю я.

— Демократия называется, — говорит Илья. — Но демократия — это что? Власть народа? А где ты ее видел? Миф это все, сказка. Нигде ее никогда не было, разве что в древних Афинах, где, кстати, правом голоса одни только свободные мужчины пользовались, а их всего-то несколько тысяч было. Ни женщинам, ни рабам, ни приезжим никаких таких прав отродясь не давали. Вот там действительно, может, демократия была. Собирались все вместе и любые вопросы общественные прямым голосованием решали.

— А сейчас у всех право голоса есть, — говорю я. — Кто здесь легально находится, конечно, и совершеннолетия достиг. Вот все и решают теперь.

— Ничего подобного, — говорит Илья. — Никто твоего мнения не спрашивает, повышать налоги или понижать, бомбить иракцев или пущай еще поживут, защищать окружающую среду или, как говорится, болт с ней, с родиной. В лучшем случае, когда не фальсифицируется ничего, народ выбирает представителей, а они уже все за него решают.

— Ну и что? — говорю я. — У всех кандидатов свои предвыборные программы. Если они соответствуют взглядам большинства, то эти кандидаты и выигрывают.

— Большинство голосов в тридцать третьем году немцы Гитлера выбрали, — говорит Илья. — Совершенно демократическим, кстати, образом. Да и с Христом знаешь как было? Большинство голосов решили: «Распни! Кровь его на нас и на детях наших!» Вот она — демократия в действии.

— Поэтому у нас и представительская демократия, а не прямое народовластие, — говорит Алик.

— Был в России когда-то умный человек, Победоносцев звали, — говорит Илья. — Так вот, он еще в 1896 году написал статью «Великая ложь нашего времени», в которой доказал, что сходство между этими двумя принципами государственного устройства носит чисто формальный характер, потому что народные представители — это далеко не сам народ. Парламентская демократия, писал он, могла бы быть эффективна, если бы представители народа отбросили всякие личные амбиции и интересы, то есть, современным языком говоря, превратились бы в роботов и добросовестно выполняли данные им народом наказания. Правда, тут еще нужно, чтобы большинство народа было в состоянии разработать грамотную программу, заботясь не о сиюминутных своих целях, а о долгосрочной пользе всего общества, что совсем уж нереально.

Еще один великий русский философ Иван Ильин писал, что парламентарская демократия, идеями которой вдохновлялось Новое время, привела лишь к тому, что люди, оставаясь при слабостях и пороках своей натуры, перенесли на новую форму все свои прежние привычки и склонности. И в условиях большей свободы в светском обществе люди стали больше проявлять не добрые начала, а склонности порочные. Угождение этим склонностям стало главным условием отбора политиков во власть,

к чему были способны не лучшие, а, наоборот, только наиболее лживые и наглые.

— По памяти цитируешь? — говорит Алик.

— Ага, — говорит Илья. — Вот и получается, что выбирают вовсе не самых достойных или самых знающих, а только тех, кто сумел правильно предвыборную кампанию построить. Кто умно народу голову морочит. Кто правильные вещи обещает, под вкусы обывателя подстраивается, потакает его низменным интересам и наиболее нагло себя рекламирует. То есть, если называть вещи своими именами, самых беспринципных и самых лживых, как и писал Ильин. И к этому еще надо все современные выборные технологии прибавить. Финансирование кандидатов. Манипуляцию общественным мнением через средства массовой информации. Постоянное перекраивание округов, как они сейчас, например, в Бруклине сделали, чтобы русским ни при каком раскладе не удалось своего человека даже на городском уровне провести. Ну и конечно, сколько случаев, когда предвыборные обещания с реальными делами вообще ничего общего не имеют? Выбирали человека на одной платформе, а он, как только в кресло сенатское уселся, только о том и думает, чтобы своих сродников и друганов потеплее пристроить да спонсоров отблагодарить. А сегодня богатый человек вообще любой пост себе за бабки приобрести может. Посмотри хоть на Блумберга — он мэрию нью-йоркскую просто прикупил себе за семьдесят лимончиков.

— Это издержки, — говорю я. — Скорее исключение из правила. В основном все-таки народ выбирает тех, кто ему нравится.

— Не знаю, — говорит Алик. — Теперь говорят, что избирательных бюллетеней вообще больше не будет. Всю систему выборов полностью компьютеризируют. То есть мы будем приходить на участки, на кнопки разноцветные нажимать, а дяди взрослые сами потом за нас посчи-

тают, кто там выиграл, а кто проиграл. Но, если бюллетеней нет, как ты проверишь? Программу ведь любую написать можно — это я тебе как хоть и безработный, но профессиональный программист с двадцатилетним стажем говорю.

— Все равно, — говорю я, — альтернативы-то демократии не придумали еще. Остальные системы еще хуже. А эта хотя бы на солидном философском фундаменте построена.

— Ну да, — говорит Илья. — В основе современных демократических систем лежат работы английских политологов Гоббса и Локка, но идеологическое обоснование им дал Жан Жак Руссо, который утверждал, что человек от природы добр и разумен (а портит его якобы только цивилизация) и поэтому в состоянии самостоятельно выбирать и уклад своего жизнеустройства, и политический порядок, и даже своих правителей. Ты что, согласен с этим?

— Не знаю, — говорю я неуверенно.

— Спор о том, насколько верны эти, мягко говоря, несколько идеализированные представления Руссо о человечестве, идет уже более двухсот лет, — говорит Илья. — Но ты вот сам прикинь: если непредвзято оглянуться вокруг, много мы найдем людей действительно способных к самостоятельному мышлению и ответственному выбору? И потом: ты бы согласился, чтобы тебя оперировал выбранный путем демократического голосования врач? А лететь на самолете, пилота которого выбрали пассажиры, хочешь? Так почему же решать важнейшие политические и экономические вопросы, которые ничуть не менее серьезно сказываются на нашей жизни, мы легко поручаем выбранным арифметическим большинством представителям?

— Это когда как, — говорит Алик. — Буша никакое большинство не выбирало. Большинство все-таки, как ни крути, проголосовало за Гора.

— Совершенно верно, — говорит Илья. — Это пайбо-
лее вопиющий случай, но о большинстве речь вообще ни-
когда не идет. Тут я поправиться должен. Давайте вот
простую арифметику возьмем. Сегодня в называющих
себя цивилизованными странах в выборах принимает
участие не более шестидесяти процентов всех имеющих
право голоса, а победители получают чуть больше поло-
вины этих голосов. Но ведь такой расклад означает, что
даже без подтасовок президент избирается всего тридца-
тью процентами с копейками от общего количества из-
бирателей — то есть большинством от принявших учас-
тие в выборах шестидесяти процентов. Какое же это
большинство? Выходит, что на самом деле около трети
населения выбрали власть, которую остальные две трети
не хотят — вот и все.

— Ну хорошо, — говорю я. — В Совке выборов вообще
не было. Одного кандидата назначали, и все за него голо-
совали. Что, лучше было?

— А здесь двух кандидатов назначают — вот и вся раз-
ница, — говорит Илья. — От одной и той же партии.
Партия власти называется. Только две фракции у нее —
вот из них и выбирай, кого твоей душеньке угодно.

— Может, ты и прав, — говорю я. — Когда в прошлом
году в горсовет выборы были, я в качестве корреспонден-
та «Еврейского базара» у всех кандидатов интервью брал.
Так мне тогда все хором признавались: да, мы, конечно, бо-
ремся, но все равно вот этот дядька победит. А на вопрос
«почему?» отвечали: потому что его Демократический
клуб Бруклина поддерживает. Что это за контора такая
— я не знаю, и никто мне объяснить так и не смог. Их
вроде и не выбирает никто, а они, выходит, победителей
на выборах заранее назначают. Потому что мужик этот
действительно ведь прошел-таки в горсовет. Но что ты
предлагаешь-то? Какая здесь альтернатива может быть
все-таки?

— Да что тут можно предложить? — говорит Илья. — Это уже не изменится. Тут намертво схвачено все. Свобода выбора, говорят, и во имя ее и прочих демократических ценностей те, кто присосаться к кормушке успел, кому хочешь горло порвут. А нормальный человек в политику любому никогда не полезет.

— Вот именно, — говорит Алик. — И поэтому у меня есть предложение. Давайте выпьем за то, чтобы нас куда-нибудь ненароком не выбрали. Чтобы хоть мы с вами этой свободе выбора долбаной в пасть не достались.

Мне этот тост не очень нравится, но спорить надоело. Да и не в форме я сегодня, из-за простуды. И поэтому мы дружно чокаемся — Илья и Алик фужерами со «Столичной», а я — большой кружкой с безнадежно остывшим бульончиком.

АНАТОМИЯ СТРАХА

— Вчера еще солнышко светило, птички пели, а сегодня уже глубокая осень, — говорю я. — Зима почти что.

— Вчера мне двадцать три года было, — говорит Алик. — А сегодня уже за сороковник. Что теперь, удавиться по этому поводу?

— Да? — говорю я. — А у меня такое чувство, как будто мне уже лет девяносто. Или сто пятьдесят.

— Тебе еще три годика, — говорит Татьяна. — Ну, максимум — шесть. У тебя еще, можно сказать, вся жизнь впереди.

— Не знаю, — говорит Алик. — Это, может, даже еще страшнее в каком-то смысле.

— В каком? — говорю я. — И вообще, что-то ты в последнее время пугливый стал. Чего это ты, интересно, так боишься?

— Всего, — говорит Алик.

— Всего никто не боится, — говорю я. — У каждого свой какой-нибудь страх есть. Одного институт брака пугает, другого — наоборот, то, что его жена бросит. Тот, кто имеет работу, боится ее потерять. Тот, кто получает велфэр, день и ночь от страха дрожит, что его трудиться заставят. Здоровые боятся заболеть, больные — что им станет хуже. Кто-то боится собак, кто-то — кошек, кто-то — мышей и тараканов, а кто-то от одного вида морской свинки в обморок падает.

— Может быть, — говорит Алик. — Но я боюсь всего сразу.

— И меня? — говорю я.

— И тебя, — говорит Алик.

— А меня? — говорит Татьяна.

— И тебя тоже, — говорит Алик.

— Ты всех людей боишься, что ли? — говорю я.

— Всех, — говорит Алик. — Без единого исключения. Каждый человек страшен по-своему.

— Ну хорошо, это еще можно как-то понять, — говорю я. — Людей бояться — это даже нормально в какой-то степени. Люди, прямо скажем, не самым лучшим образом себя в истории зарекомендовали. А еще чего?

— Я же говорю, что всего, — говорит Алик.

— Нет, так не бывает, — говорю я. — Ну, я понимаю — есть обычные эмигрантские страхи. Связанные с незнанием языка или особенностей местного менталитета. Люди боятся к телефону подходить, боятся идти в присутственные места всякие, боятся к полицейским с самым пустяковым вопросом обратиться. Боятся, им скажут что-то, а они не поймут. Боятся сами что-то сказать неправильно. Ошибку сделать. Не хотят, чтобы над ними смеялись. Дураками необразованными считали. Ты этого боишься?

— И этого тоже, — говорит Алик.

— Есть детские страхи, — говорю я. — Темноты, наказания. Есть общечеловеческие. Болезни, смерти, за кого-то из близких. За детей особенно. Ты об этом?

— В частности, — говорит Алик. — Но не только.

— Есть фобии всякие, — говорю я. — Закрытого пространства, открытого. Высоты, ширины там, не знаю. Бывает, человек в аварию попал и всю жизнь потом в машину сесть не может. Бывает, люди боятся огня. Бывает — воды. Бывает — дыма. У тебя же этого нет?

— Этого нет, — говорит Алик. — Но это и не важно.

— Как это не важно? — говорю я.

— Вот так, — говорит Алик. — Потому что самое страшное — это когда вообще не знаешь, чего именно ты боишься. Если ты причину страха нашел, то считай, уже наполовину избавился от него. А вот когда ты утром просыпаться и у тебя внутри от ужаса сжимается все, и ты глаза закрываешь, и сам не понимаешь, что это такое с тобой и почему... И откуда это приходит — неизвестно, и куда девается потом — непонятно. Иногда на недели исчезает, иногда месяцами не появляется. А бывает — каждый день, как часы. Только проснулся, только глаза открыл — и все: все внутри уже в узел закручено и состояние абсолютно предынфарктное. У тебя бывает так?

— Бывает, — говорю я, чтобы его успокоить. — Но редко.

— У меня тоже сначала редко бывало, — говорит Алик. — А теперь все чаще и чаще. И вообще, не понимаю я, что с моей жизнью происходит.

— С моей уже давно ничего не происходит, — говорю я. — И мне это даже нравится.

— И ты не боишься? — говорит Алик.

— Чего? — говорю я.

— Ну, чего-нибудь, — говорит Алик.

— Боюсь, конечно, — говорю я.

— Чего? — говорит Алик.

— Я вам вот что скажу, — говорит Татьяна, не дав мне шанса ответить.

— Что? — говорит Алик.

— Бога вы не боитесь — вот что, — говорит Татьяна, и я понимаю, что она, как всегда, права.

...В библиотеке Нью-Йоркского университета не протолкнуться. Там часто много народа, а тем более сейчас, когда до экзаменов всего несколько недель осталось.

Даша Зарецкая сидит за одним из столиков рядом с миниатюрной темноволосой девушкой в очках. Обе погружены в изучение каких-то толстых фолиантов.

— Юль, — шепотом говорит Даша. — Вот, нашла, кажется.

— Что? — тоже шепотом говорит Юля.

— Стихотворение, о котором реферат писать буду, — говорит Даша.

— Какой реферат? — говорит Юля. — Ты же говорила, что уже сдала все.

— Ну, мне еще про Эмили Дикинсон реферат сделать надо, — говорит Даша. — Хочешь послушать?

Юля кивает, и Даша начинает читать:

Heart, we will forget him!

You and I, tonight!

You may forget the warmth he gave,

I will forget the light.

When you have done, pray tell me,

That I my thoughts may dim;

Haste! lest while you're lagging,

I may remember him!¹

— Ну как? — говорит Даша.

— Нормально, — говорит Юля. — Только она ведь придумала все это.

— Что значит — придумала? — говорит Даша.

— То и значит, — говорит Юля. — У нее ведь не было никого. Она годами на улицу не выходила. И вообще была

¹ Сердце, мы его забудем! / Ты и я — сегодня. / Ты, быть можешь, забудешь то тепло, которое он дарил, / А я забуду свет. / Когда ты справишься с этим, пожалуйста, скажи мне, / Чтобы я могла приглушить мои мысли. / Поторопись! Ведь если ты с этим затянешь, / Я могу его вспомнить!

старой девой. А все эти чувства высокие придумала просто — на безрыбье, от одиночества и от скуки.

— Все равно красивое стихотворение, — говорит Даша.

— Именно поэтому и красивое, — говорит Юля. — Когда придумываешь, всегда красиво получается. «The warmth, the light» — ты что, кого-нибудь знаешь такого?

— Shhh, — оборачивается к ним сидящий за соседним столом молодой человек. — Will you shut up already?¹

— Sorry, — говорит Даша и опять утыкается в свою книгу.

— Дарья, — говорит Марина, входя в комнату дочери. — Что это за новые глупости ты придумала?

Даша поднимает голову от компьютера и смотрит на мать непонимающим взглядом.

— Что это за работа дурацкая? — говорит Марина. — Неужели ничего получше нельзя найти?

— Где найти? — говорит Даша. — Никуда никого не берут сейчас. Всюду сокращения одни. Всех только выгоняют. А тут график гибкий. И деньги нормальные.

— Тебе что, нужны деньги? — говорит Марина. — Перед людьми только нас позоришь.

— Мне работа нужна, мам, — говорит Даша. — Хоть такая. Лучше, чем никакой.

— А Грег что думает по этому поводу? — говорит Марина.

— При чем тут Грег? — говорит Даша. — С каких это пор я должна у него разрешения спрашивать?

— Напрасно ты с ним так, — говорит Марина.

— Как — так? — говорит Даша.

— Сама знаешь как, — говорит Марина. — Он звонил сегодня. Ты разговаривала с ним? Перезвонила?

— Чуть позже перезвоню, — говорит Даша. — Мне реферат завтра сдавать. Хочешь стихотворение хорошее послушать?

¹ Да замолчите вы, наконец! (Англ.)

— Обязательно перезвони ему, — говорит Марина. — Обещаешь?

— Обещаю, — говорит Даша. — Страницу допишу и перезвоню.

— А насчет твоей работы этой надо еще с отцом поговорить, — говорит Марина. — Я уверена, что он тоже не в восторге будет.

— Мам, с отцом я договорюсь как-нибудь, — говорит Даша. — Дай мне позаниматься, пожалуйста.

— Смотри, Дарья, — говорит Марина. — Не играй с огнем. Донграешься.

— Ну что, Димыч, — говорит Пол, — доволен ты судьбой наконец? Или остались еще претензии какие-то к мирозданию?

— Ты о чем? — говорит Дима. — Какие у меня претензии могут быть? Хорошо хоть сюда взяли. Летом я еще мог с шишкебабами этими в Манхэттене торчать, а теперь всю жаровню в Гудзон сдувает. И как ни одевайся — все равно ветер до печенки достает. А тут тепло хоть. И пять долларов в час на старте. Потом повисить обещали.

— Так ты забогатеешь скоро, — говорит Пол. — Бура-тиной станешь.

— Лучше, чем ничего, — говорит Дима. — Да и приятней все-таки с музыкой, книгами и фильмами дело иметь, чем целыми днями куски обгорелого мяса кетчупом поливать.

Пол оглядывает ряды видеокассет и компакт-дисков, полки с книгами, художественные альбомы, которых в магазине братьев Абрамовичей действительно видимо-невидимо. Берет в руки предпоследний альбом Эминема «Marshall Mathers LP», рассматривает его со всех сторон.

— Самопал? — говорит он.

— Нет, — говорит Дима. — Здесь родное все.

— Прямо, — говорит Пол.

— Честно, — говорит Дима. — Они каждого шороха боятся сейчас. С тех пор как ФБР русские магазины шерстить начало, все паленое с полок сняли.

— И куда заховали? — говорит Пол.

— Шут их знает, — говорит Дима. — Ждут, пока устанутся все.

— Сто лет они этого ждать будут, — говорит Пол. — Это теперь политика. А скрысить здесь можно что-нибудь хорошее?

— Не, это не ко мне, — говорит Дима. — Я такими вещами не занимаюсь. Не по моему профилю.

— А что по твоему? — говорит Пол. — Клиентов обслуживать?

— Ага, — говорит Дима. — Ходят тут. Чего хотят, сами не знают. Сначала про классическую музыку спрашивают, а потом тихонько в отдел порно — шмыг. Или фильм какой-нибудь новый попросят, ты им его ищешь, с полки достаешь. Они покрутят-повертят и к выходу. А у кассы хозяину говорят, что плохие, мол, работники у вас. Ничего толком объяснить не могут. А что объяснять-то? Может, им нужно, чтоб я им в лицах тут разыгрывал все. Как там в кино стреляют, на лошадях скачут, с самолета прыгают. Как герой с героиней в постели кувиркается.

— Дим, долго эта бодяга продолжаться будет? — говорит стоящий за кассой лысоватый мужчина среднего возраста. — Я тебе за что бабки плачу?

— Нету же покупателей никаких, Борис Аркадьевич, — говорит Дима.

— Меня это мало колышет, — говорит мужчина. — Нет покупателей — другим чем займись. Я тебе за то, чтобы ты с наркошами всякими тут трепался, башлять не буду.

— Хочешь, я ему умывальник сейчас разрисую? — говорит Пол Диме тихим голосом, так чтобы его босс не слы-

шал. — Таким замысловатым узором, что он сам от своего отражения в зеркале всю оставшуюся жизнь шарахаться будет.

— Не надо, — говорит Дима. — Выгонит на хрен, и все дела.

— Как хочешь, — говорит Пол. — А то сделали бы ему сейчас пластическую операцию по удалению половины лица. Ладно, пойду я. Но ты мне двадцатку дай все-таки — будь человеком. До вечера. Правда позарез нужно. Не могу больше. Край уже у меня совсем.

— Я же сказал, что нет у меня ничего, — говорит Дима. — Я предкам практически до цента все отдаю. А то они у меня скоро совсем скуксятся.

— Так ты у папы Карло этого возьми, — говорит Пол. — Который тебя Буратиной сделать обещался.

— Тогда уйдешь? — говорит Дима.

— Тогда мне тут по-любому делать нечего будет, — говорит Пол. — Давай быстрее только. Правда ломает всего. Сил нет уже терпеть.

Даша стоит за прилавком в магазине женского белья «Corset DeLite» и раскладывает товары перед высоким, представительным, безукоризненно одетым и выбритым мужчиной.

— Даже не знаю, что вам еще предложить, — говорит Даша. — Вроде все перебрали уже.

— Ну, и я тоже не знаю, — явно смущенным голосом говорит мужчина. — Я даже тем более не знаю. Просто хочется жене какой-нибудь подарок купить. Необычный. Понимаете?

— Понимаю, — говорит Даша, которая тоже чувствует себя не совсем в своей тарелке. — Вы хотите что-нибудь эротичное?

— Ну да, — говорит мужчина. — Что в таких случаях берут обычно?

— Пояс с чулками на резинках, — говорит Даша. — Вот такой — черный — хотите?

— Хочу, — говорит мужчина. — И еще что-нибудь. Что к этому подходит?

— Пеньюар вот совсем прозрачный, — говорит Даша. — Тоже черный. Смотрите.

Она достает из коробки черный пеньюар и раскладывает его на прилавке, около того самого пояса с чулками. Получается почти что живая женская фигура в весьма фривольной позе, и от этого им обоим становится еще более неловко.

— Еще что-нибудь? — говорит Даша.

— Нет, спасибо, — говорит мужчина. — На первый раз хватит.

— Вы наличными будете платить или карточкой? — говорит Даша.

— Сейчас поглядим, — говорит мужчина и лезет в карман за бумажником.

В этот момент Пол, проходящий мимо магазина, останавливается, чтобы получше рассмотреть витрину, и видит своего отца, который одной рукой протягивает Даше кредитную карточку, а второй — комкает черный чулок. Пол быстро отворачивается и резко сворачивает в сторону Непчун-авеню — в тот район, которого до сих пор не коснулась модернизация Брайтона и где с наступлением темноты порядочным людям делать в общем-то нечего.

— Ну так что, вот так вот прямо и убьешь ее? Вот из этого ствола? — говорит Дима, разглядывая «Глок», который в разобранном виде лежит на покрытой газетой табуретке.

— Кто тебе сказал, что я собираюсь ее убить? — говорит Игорь, протирая затвор и вставляя его на место. — Саманта? Больше слушай ее.

— Я не слушаю, — говорит Дима. — Я так и знал, что это какая-то глупая шутка.

— Очень глупая, — говорит Игорь.

— Так ты даже не искал ее — девочку эту? — говорит Дима.

— Почему не искал? — говорит Игорь, принимаясь за следующую деталь «Глока». — Искал, конечно.

— Ну и как? — говорит Дима. — Нашел?

— Нашел, — говорит Игорь. — С тех пор как она мне написала в последний раз, много чего изменилось. А вот обратный адрес на конверте тот же самый остался.

— Знаешь, — говорит Дима, — я думаю, у нее веская причина была. Для того чтобы сделать — ну, то, что она сделала.

— Наверное, — говорит Игорь. — Только какое это имеет значение?

— Огромное, — говорит Дима. — Пока ты там сидел, ты, конечно, не мог этого понять. А теперь ведь сам видишь, как ей здесь было, когда она только приехала. Тут ведь о будущем своем заботиться надо. Чтоб семья нормальная была, дом там, машина хорошая, бабки.

— Опять ты про бабки? — говорит Игорь. — С тобой в последнее время о чем ни заговоришь, все только бабки, бабки, бабки...

— При чем тут я? — говорит Дима. — Что ты с больной головы на здоровую? Ты-то чего делать будешь? Подойдешь, поздороваешься сначала? Скажешь что-нибудь? Или прям сразу палить начнешь?

— А что я могу сказать? — говорит Игорь. — Что тут вообще сказать можно?

— Ни за что не поверю, что у тебя это не отрепетировано все уже тысячекратно, — говорит Дима. — Что, никогда не разговариваешь с ней по ночам? Не устраиваешь разборки эти виртуальные? Ни за что не поверю.

— И правильно сделаешь, что не согласишься, — говорит Игорь. — Но все равно: что тут сказать-то можно? Как вообще такой разговор начинать? Здравствуй, любимая?! Помнишь меня? Мы когда-то так любили друг друга. А потом ты меня и любовь нашу обменяла на удобную

жизнь, на парня, который по-англицки без акцента спикает, на тачку новую, навороченную, с сиденьями кожаными. На Америкчу, в общем...

Игорь замолкает, но и Дима ничего не говорит.

— Ты, конечно, думала, что больше никогда меня не увидишь, — продолжает Игорь. — Думала, у тебя все пучком будет. Кудряво и в шоколаде. А тут такой «упс» приключился — я вот взял вдруг и приехал. Восстал, можно сказать, из мертвых. Потому что, если я и не загнулся тогда, так это случайность чистая. А ощущение по-любому было, что загнулся. И что теперь? О чем разговаривать будем? Я не знаю. У тебя есть что сказать? У меня — нет. Потому что мне вот как надоело уже наши разговоры с тобой в одиночку вести. Самому вопросы тебе задавать и самому же отвечать на них.

— А ты что, думал, это легко будет? — говорит Дима. — Думал, она, как увидит тебя, расплачется, на шею тебе прыгнет? Покается перед тобой на коленках? Скажет, что ничего не изменилось. Что она всегда тебя любила и сейчас любит. А потом вы поженитесь, детишек нарожаете, будете счастливо жить долго-долго и умрете в один день, да?

— Нет, — говорит Игорь. — Я думал, что дело во мне. Или в ней. Или в нас. Но я не думал, что все в правильное обустройство будущего упирается. Конечно, я разговаривал и разговариваю с ней мысленно. Все время почти. Но, знаешь, в результате столько уже переговорено всего, столько раз я уже все ей объяснил, что теперь как бы и не о чем говорить больше. Теперь я боюсь, что, когда увижу ее, ничего вообще сказать не смогу. Ни слова. Просто нажму на курок — и все.

— Хорошую причину ты для страха нашел, — говорит Дима.

— Это еще что, — говорит Игорь. — Пострашнее вещи есть.

— Например? — говорит Дима.

— Да полно их, всяких приколов и заморочек — у каждого свои, — говорит Игорь.

— А у тебя что? — говорит Дима. — Ты-то чего боишься?

— Не чего, а кого, — говорит Игорь.

— Кого? — говорит Дима.

— Ну, я же сказал уже, — говорит Игорь. — Себя.

— Себя боишься? — говорит Дима.

— Да, — говорит Игорь. — Страшнее самого себя для человека все равно никого и ничего на свете нет.

— Бред какой-то, — говорит Дима.

— Ты не понимаешь, — говорит Игорь. — И я тебе от всей души желаю, чтобы это для тебя навсегда глупым бредом так и осталось. Правда. Потому что, если ты даже и поймешь это когда-нибудь, то сразу же еще одну штуку осознать должен будешь. Что, как бы ты самого себя ни боялся, все равно ты ничего с собой поделаться не можешь. И не сможешь никогда. И даже пытаться нечего. Вот это-то и есть всем приколам приколом. Всем заморочкам заморочка.

Игорь заканчивает собирать тщательно вычищенный «Глок». В последнюю очередь с громким щелчком на свое место встает набитая патронами обойма.

— О'кей, не бери в голову, — говорит Игорь, пряча пистолет за пояс. — Проехали это все на скором поезде с ветерком и свистом. Ладушки?

— Ладушки-шмадушки, — говорит Дима. — Зашибись оладушки.

ВСЕ ЛИ ГОВОРЯТ СПАСИБО?

День благодарения мне в этом году испортили, а ведь это мой самый любимый праздник на свете. После Дня независимости, конечно.

Началось все с того, что мы долго думали, к кому пойти: к Малининым в «Эдем» или к Илье с Ниной на индейку — и только после длительных раздумий остановились все-таки на моем троюродном брате. Логика тут у меня была простая: хоть Малинины и приглашают, но в их ресторане все равно деньги платить надо. Как ни крути, с учетом чаевых и налогов где-то под столыжник с человека получается. А у Ильи с Ниной пусть и не так шикарно, но зато вполне принесенной бутылкой водки или даже простого вина обойтись можно. Татьяна вообще никуда идти не хотела и согласилась, по-моему, только из опасения отпустить меня одного. Память о Хеллоуине еще все-таки слишком свежа — тем более что и Алик, естественно, идет с нами.

За столом, кроме нас, вышеперечисленных, Ильи, Нины и их сыновей, сидит еще мрачный, как всегда, Игорь. Его я лично звать ни за что бы не стал, да и хозяева тоже, кажется, не собирались и только в последнюю минуту осознали, что неудобно оставлять соседа одного в его комнате. Разговор долго вертится вокруг всяких пустяков и мелочей типа того, кто как индейку жарит и как это у американцев принято.

— Я все-все по правилам сделала, — говорит Нина. — Специально книгу поваренную купила. «Traditional American Cooking» называется. Илюша мне рецепт переводил. Все в точности, как там написано, приготовила. Весь секрет в начинке, конечно. Там такую смесь специальную надо сначала...

— Вкусно получилось, — говорю я, откусывая большой кусок от доставшейся мне индюшачьей ноги и заедая его картофельным пюре. — Потрясающее это все-таки блюдо. Торжественное. Вполне соответствует такому важному празднику, который вся страна отмечает.

— И индейцы тоже? — говорит Татьяна.

— При чем тут индейцы? — говорю я. — Это же не их праздник. Это праздник тех, кто приехал в Америку, спа-

саясь от политических и религиозных гонений, и кто нашел здесь новую родину. Благословенную, благодатную землю, которая каждому человеку даст возможность жить достойно. В память о том, как первым пилигримам были посланы индейки, мы их сегодня и едим.

— Что значит— посланы? — говорит Татьяна. — Индейки просто жили здесь, а пилигримы твои их убили и зажарили.

— Это были отважные люди, — говорю я. — Первопроходцы. Они должны были преодолевать множество совершенно неописуемых трудностей и лишений. И в первую их зиму в Америке индейки спасли их от голодной смерти. Спасибо им большое за это.

— А индейцы как же? — назло мне говорит Татьяна.

— Индейцам тоже есть за что благодарить судьбу, — говорю я. — Когда сюда начали переселяться европейцы, они приобщили жителей Нового Света к цивилизации. Дали им науку, медицину. А теперь индейцы вообще живут как короли. У них свои территории, они не платят налогов...

— Это не территории, — говорит Татьяна. — Это резервации.

— Какая разница, как называется? — говорю я. — Налоги все равно ведь не платят. Казино им разрешают там открывать, сигаретами торговать. А это знаешь какие деньги немереные? И вообще, помощь им огромную оказывают. Добровольцы там работают. Учат их. Лечат. Живи — не хочу. Они же полные дикари были, а теперь могут пользоваться всеми благами цивилизации самой развитой страны в мире.

— Ты откуда это все взял? — говорит Алик.

— Что значит — откуда? — говорю я. — По телевизору видел. «Discovery Channel», «National Geographic».

— Чувшь это полная, — говорит Алик. — У индейцев была высокоразвитая культура. Они строили города, прокладывали в Андах дороги, которые выкладывали моза-

ичными плитами. Ты представляешь, какая технология для этого нужна? У них была своя живопись, скульптура. Сотни оригинальных языков, некоторые из которых по лексическому богатству и образности намного превосходили европейские. Они занимались астрономией, а их медицина находилась на таком уровне, что современному человеку остается только мечтать о том, чтобы когда-нибудь постичь все ее секреты.

— И все равно они были дикарями, — говорю я. — А теперь получили возможность открывать необлагаемые налогами казино и торговать сигаретами.

— Ты специальное что-нибудь об истории индейцев читал когда-нибудь? — говорит Илья.

— Нет, — говорю я. — Не приходилось.

— Ну ладно, специальное — это, может, правда слишком, — говорит Илья. — Но вот вполне популярная книжка есть. Говард Зинн написал. «Народная история Соединенных Штатов» называется. Так там история освоения американского континента несколько по-другому описана.

— Да? — говорю я. — Как, интересно?

— Ну, иначе чуть-чуть, — говорит Илья. — Во-первых, надо сказать, что Европа того времени была адом, в котором царили нищета, голод, болезни и совершенно дикие нравы. Когда же Колумб прибыл на остров, который он назвал Эспаньола, то, что он увидел там, поразило его воображение. Из его же собственных записей мы знаем, что это был самый настоящий рай на земле, а обитатели острова — таины — казались полной противоположностью европейцам. Они были необыкновенно приветливы и дружелюбны и выражали готовность с радостью отдать гостям любую понравившуюся им вещь. Колумб сам писал о них в своем дневнике: «Индейцы настолько наивны, что никто, не видевший их собственными глазами, никогда в это не поверит. Что бы вы у них ни попросили, они никогда не говорят «нет». Наоборот, они сами предлагают

поделиться с вами всем, что у них есть. Из этих людей получатся замечательные слуги... С пятьюдесятью солдатами мы легко подчиним их всех и заставим их делать все, что мы захотим».

Для второй экспедиции Колумбу дали уже семнадцать кораблей и 1200 солдат. Перед ним была поставлена вполне конкретная цель: золото, украшения из которого он видел на таинах, и рабы. Проблема состояла в том, что аристократы и богатые еврейские купцы, профинансировавшие путешествия Колумба, требовали дивидендов. Золотых россыпей, которые были им обещаны, найти не удалось, и поэтому в Европу начали посылать полные корабли рабов. Большинство из них, правда, умирало в пути, но зато остальных успешно продавали на рынках Мадрида и Севильи. Колумб же продолжал искать золото. Каждый индеец в возрасте старше 13 лет должен был раз в три месяца принести наперсток золотого песка. За это ему на шею вешали медную бляху с датой сдачи нормы. Так он покупал себе жизнь еще на три месяца. Индейцам, пойманным с просроченной бляхой или вообще без таковой, отрубали руки, вешали их на шею и оставляли умирать от потери крови. Только за первые два года деятельности Колумба на Эспаньоле была уничтожена половина ее двухсотпятидесятитысячного населения. К 1515 году оно сократилось уже до пятидесяти тысяч, к 1550 — до пяти-сот человек, а в 1650 году на острове не было уже ни одного таина, о которых Колумб писал, что «лучше и ласковей людей нет на свете». Так начался геноцид индейского населения в Новом Свете, в ходе которого были уничтожены десятки миллионов коренных жителей этого континента.

— Ты чего? — говорю я. — Америка была практически необитаемой.

— Это миф, — говорит Илья. — Сегодня разработаны новые методы подсчета населения. Например, берется пло-

щадь сельскохозяйственных угодий и рассчитывается, сколько людей нужно было для того, чтобы ее обрабатывать. Раскопки городов и поселений позволяют достаточно точно установить число их жителей. Так вот, на основе этих и многих других современных данных ученые установили, что в конце пятнадцатого века население Северной и Южной Америк составляло от ста до ста сорока пяти миллионов человек. Всего за два века после «открытия» этого континента Колумбом оно сократилось на девяносто процентов. К сегодняшнему дню те индейские племена, которым, так сказать, повезло, сохранили около пяти процентов от своей первоначальной численности.

— Это невозможно, — говорю я.

— Очень даже возможно, — говорит Илья. — В общей сложности по обеим Америкам европейцы только к концу шестнадцатого века уничтожили от шестидесяти до восьмидесяти миллионов индейцев.

— Но как же они могли это сделать? — говорю я. — Оружия массового поражения тогда ведь еще не было. Да и огнестрельное даже было весьма примитивным.

— Началось все с карательных экспедиций, — говорит Илья. — Индейцы даже железа не знали, а европейцы имели на вооружении пушки. Лошадей в Америке тоже не было, а ядро европейских армий составляла именно кавалерия. Но дело даже не в этом. Колумб начал с того, что поставил все население Эспаньолы, Кубы и Ямайки на учет в качестве частной собственности, которая должна была приносить прибыль. Вот тогда-то он и придумал эти жетоны с трехмесячным сроком, которые стали причиной того, что местные жители должны были перестать выращивать пищу и оставить все остальные свои дела ради добычи золота. Начался голод, в результате которого ослабленные индейцы становились легкой добычей завезенных испанцами заболеваний, каковых, по самым скромным

подсчетом, насчитывалось от 60 до 70 видов. Но еще больше людей погибло от рук европейцев.

— Так это на всякой войне бывает, — говорю я.

— Да, — говорит Илья. — Бывает. Но покорение Нового Света сопровождалось совершенно иррациональным садизмом в массовых масштабах. Очевидцы писали, что испанские колонисты вешали индейцев, зажаривали их на вертелах, сжигали на кострах. Детей разрубали на куски и скармливали псам или нанизывали их на длинные мечи одного за другим. Конкистадоры бились об заклад, кто сможет одним ударом рассечь человека надвое или отрубить ему голову. Любимым развлечением было проверять на людях степень заточенности меча, отрезая от человека куски мяса или методично, одну за другой, обрубая ему конечности.

Это в общем-то все известные факты, но меня когда-то особенно впечатлил один пассаж из «Истории Индий» Лас Касаса, где написано, что больше всего в белых людях индейцев поразила не их жестокость и даже не их жадность и странное отношение к собственности, а скорее их холод, душевная черствость и отсутствие в них любви. Представляешь — отсутствие в них любви!

— Но это же все испанцы, — говорю я. — К Северной Америке это не имеет никакого отношения.

— Ну конечно, — говорит Илья. — Здесь индейцы сами по себе вымерли. Никто им в этом не помог. Думаешь, арапахо, апачи, ирокезы, семинолы, сиу, кайова, навахо, виннебаго, дакоты, алгонкины, арикары и почти четыреста других североамериканских индейских племен, имевших свою культуру, искусство, языки, самобытный уклад жизни, просто так исчезли с лица земли? Нет, конечно. Все здесь с самого начала делалось точно так же, как и в Южной Америке. Но англичане не смогли поработить индейцев и поэтому начали ввозить черных рабов из Африки, а коренное население решили просто-напросто уничто-

жить. Тактика заключалась в том, чтобы поначалу предложить индейцам мир, дожидаться, пока они высадят кукурузу, а перед самым сбором урожая напасть на них, перебить всех, кого только возможно, и сжечь посевы. Такие карательные экспедиции с убийством женщин и детей проводились для того, чтобы деморализовать индейских воинов, подавить их боевой дух, лишить возможности продолжать сопротивление. Очень часто поселенцы умышленно избегали открытых сражений, вместо этого вырезая целые деревни мирных жителей и сжигая их дотла.

— Откуда тебе это известно? — говорю я.

— Современники воспоминания оставили, — говорит Илья. — Вот, например, Уильям Бредфорд описал один такой рейд на поселение племени пекотов: «Те, кому удалось избежать огня, гибли от мечей, некоторых разрубали на куски. Спасти удалось немногим. По нашим подсчетам, мы сожгли 400 вигвамов. Страшно было смотреть на людей, горящих в огне, и на текущие повсюду потоки крови, но вкус победы был прекрасен, и мы возблагодарили Господа, который даровал ее нам таким чудесным образом над таким опасным врагом». По официальным данным, в 1972 году на территории штата Коннектикут индейцев из племени пекот осталось 20 человек. Раньше их здесь были десятки тысяч.

— Ну хорошо, — говорю я. — Что за пекоты? Я даже не слышал никогда про таких.

— Потому и не слышал, — говорит Илья, — что нет их больше. Но и остальные племена постигла не лучшая участь.

— А откуда же тогда это все известно? — говорю я.

— Были люди, которые, попав в плен к индейцам, оставались жить среди них, — говорит Илья. — Некоторые из них вели дневники. Другие, как, например, Шульц, вернулись под конец жизни в мир белых и начали писать книги о быте и культуре индейцев. Оттуда и известно. Тем, кто интересуется, конечно.

— Но индейцы же тоже убивали белых, — говорю я. — И отличались страшной жестокостью.

— Это ты откуда взял? — говорит Илья. — Из Фенимора Купера и Майн Рида? Или из фильмов голливудских? Но там тебе разве расскажут, что это англичане придумали скальпы с убитых снимать? Ведь за каждого убитого индейца полагалась награда, а как еще можно было доказать властям, что ты действительно убил врага? Причем за скальпы мужчин, женщин, детей по разным расценкам платили. Использовалось и самое настоящее бактериологическое оружие в виде раздачи индейцам зараженных оспой одеял. Первым такую гуманитарную помощь начал оказывать генерал Джеффри Амхерст — в его честь потом город назвали. Несмотря на все это, подчинить индейцев никак не удавалось, так как они продолжали отчаянно сопротивляться. В конечном итоге в 1763 году было подписано соглашение, по условиям которого англичане обязались не покушаться на индейские территории, находившиеся к западу от Аппалачей. Но этот договор подписали представители британской короны, и сразу же после революции он был аннулирован. А принятая в 1787 году конституция их прав вообще не учитывала. Ты не поверишь, но им американское гражданство дали только знаешь когда?

— Когда? — говорю я.

— В тысяча девятьсот тридцать четвертом году, — говорит Илья. — А тогда, сразу же после окончания войны с Англией, начался совершенно беспрецедентный захват богатейших земель, лежавших на запад от Аппалачей. В 1800 году 700 000 белых переселенцев заняли Огайо, Иллинойс, Индиану на севере и Алабаму и Миссисипи на юге. Индейцев племен криков и чероки, которые честно пытались приспособиться к образу жизни белых, обзавелись домами, собственностью и даже своей газетой, разгромили и выселили в Оклахому. Их земли объявлялись соб-

ственностью того, кто сумел их захватить. То, что не удавалось отнять силой, белые получали обманом, вымогательством и угрозами. Тех, кто не хотел уходить добровольно, вырезали целыми племенами.

Президент Эндрю Джексон, который был крупным спекулянтом недвижимостью и работоторговцем, принял закон, разрешавший индейцам владеть землей. Это было роковым событием в их истории, так как оно уничтожило их традиционное общинное землевладение. При этом каким-то индейцам достались большие наделы, в то время как другие остались вообще без ничего. Но тем, кто хоть что-то получил, начали навязывать денежные займы под залог их земель, а потом, когда они были не в состоянии выплачивать проценты, конфисковывали земельные участки в пользу государства и тут же продавали их переселенцам. Еще один излюбленный метод заключался в том, чтобы дать белым возможность поселиться на индейских территориях, а потом объявить вождям племен, что правительство не в силах согнать новых жильцов и поэтому индейцам надо либо уступить эти земли, либо примириться с тем, что их уничтожат. Тебе это, кстати, ничего из событий сегодняшнего дня не напоминает?

— Нет, — говорю я.

— Ну ладно, — говорит Илья. — Не напоминает и не надо. Но каждый раз при этом подписывались новые договоры, обещавшие, что все оставшиеся в собственности у индейцев земли отныне будут неприкосновенными. Однако проходило какое-то небольшое время, и все начиналось сначала. Как говорил Джон Итон представителям племени криков в Алабаме: «Это делает не ваш Великий Отец, президент, но законы страны, которым он, как и каждый ее житель, вынужден повиноваться». А тот же Джексон обещал племенам, жившим в штате Миссисипи, что, если они переселятся на запад, то получают землю, «которой они будут владеть, пока растет трава и текут реки». Эту фра-

зу потом вспоминали многие поколения индейцев. Вспоминали со слезами. Вот так вот их убивали, спаивали, обманывали, грабили, истребляли оружием, «огненной водой» и болезнями, вырезали целыми племенами, целенаправленно уничтожали их естественную среду обитания.

— Да, я у Льва Гумилева читал, — говорит Алик, — что в Америке тогда совершенно другая природа была. Не такая, как сейчас. Какие-то совершенно райские растения здесь росли. Удивительная флора и фауна была. Куда все это делось?

— Уничтожили все, чтобы индейцев выдавить, — говорит Илья. — Возьмите хоть бизонов, которые были главным объектом охоты индейцев и которых просто вырезали. Численность этих уникальных по своему миролюбию животных составляла когда-то 30—40 миллионов голов, а сегодня их только в заповедниках встретить можно. И ведь даже не ради мяса убивали и не ради шкур, а только чтобы индейцев голодом уморить. Известно ведь, что отстреливали целые стада, а туши оставляли гнить в прериях, которые были буквально усеяны ими. Вся Великая равнина превратилась тогда в одно сплошное бизонье кладбище. Да и вообще повсеместно белые разрушали вигвамы, сжигали леса и поля, уничтожали дичь, лишая таким образом индейцев пропитания, подкупали и запугивали вождей, а тех, кто все же упорствовал, сажали в тюрьму, избивали или убивали. Когда же некоторые племена согласились наконец переехать, правительство, обещавшее помочь им в переходе на новые земли, отдало все в руки частных подрядчиков, которые разворовали выделенные для этой цели средства, и практически все отправившиеся в далекий путь семьи скончались от голода, холода и многочисленных начавшихся болезней.

Так оно и продолжалось, пока практически всех индейцев не выжили в пустыню, где их остатки и добили уже во второй половине XIX века. По подсчетам современных

историков, а это тот же Зинн, Антон Баумгартен и многие другие, до появления в Америке белых к северу от Мексики проживало более 15 миллионов человек. Сегодня индейцев осталось около миллиона. Причем в начале XX века их было всего 200 тысяч. Это когда они уже не опасны стали, им позволили размножаться и льготы всякие предоставлять начали. А раньше за людей не считали и истребляли, как скот. Вот такая грустная арифметика. Что тут еще говорить? Неужели еще что-то неясно?

— Нет, наоборот, все ясно и понятно, — говорит Игорь. — Как всегда и бывает в жизни, сильные выигрывают и получают все, что хотели, а слабые проигрывают и лишаются всего, что у них было. Больше же всего страдают доверчивые дураки. Впрочем, так им и надо. Нечего лохами быть. Если тебя накололи один раз, выводы соответствующие делать надо, а не уши развешивать.

— Подожди, — говорю я. — То есть ты, Илюш, что хочешь сказать? Что нечего нам День благодарения отмечать, что ли? А зачем ты тогда в гости нас позвал?

— Ну как же? — говорит Илья. — Каждому из нас есть за что быть благодарными судьбе или Богу — это уж кто во что верит. Но связывать это с традициями европейских переселенцев, по-моему, глупо. И нечестно по отношению к индейцам, которых попросту уничтожили в ходе самого настоящего геноцида, унесшего как минимум 70 миллионов жизней и потому не имеющего аналогов в мировой истории.

— А по-моему, нечестно людям праздник портить, — говорю я. — При чем тут я? Я никого не убивал, не мучил. Скальпы ни с кого не снимал. Одежда, зараженные оспой, никому не раздавал. Я приехал сюда по абсолютно законному статусу беженца.

— Ну хорошо, — говорит Илья. — Давайте тогда, чтобы не ссориться, будем считать, что мы в этот день благодарим друг друга. Просто за то, что мы такие хорошие, и за то, что мы есть на свете.

— Ладно, — соглашаюсь я. — Давайте.

Сама по себе Илюшина идея мне нравится, но настроение у меня уже все равно не то, и даже индейка, приготовленная Ниной, кажется не такой вкусной, как раньше. Короче говоря, любимый праздник испорчен окончательно и бесповоротно.

— Дашенька, — говорит Розалия Францевна. — Дашенька, открой, пожалуйста. Мне с тобой поговорить надо.

— Сейчас! — кричит из-за закрытой двери Даша. — Минуточку.

Она еще раз смотрит на себя в зеркало, в котором отражается красивая девушка с высокой, старомодной прической, но обнаженная по пояс, в черных чулках, пристегнутых к поясу, и в туфлях на высоченном каблуке.

— Какая же ты все-таки шлюха, — говорит Даша зеркалу и, набросив халатик, идет открывать бабушке.

Розалия Францевна входит в комнату и, оглядев ее всю критическим взором, опускается в стоящее около письменного стола кресло.

— На бал собралась? — говорит она, показывая глазами на Дашины туфли.

— Просто примерила, — говорит Даша. — Сейчас тапочки надену.

— Подожди, — говорит Розалия Францевна. — Сядь-ка сюда. У меня правда серьезный разговор к тебе.

Даша садится на кровать, застегивая попутно халатик на все пуговицы, чтобы он случайно не распахнулся.

— О чем? — говорит она.

— О нем, — говорит Розалия Францевна.

— О ком, бабушка? — говорит Даша.

— Ты сама знаешь, Дашенька, — говорит Розалия Францевна.

— Так что теперь говорить-то? — говорит Даша. — Сколько уже говорили. Мы в результате здесь, а он — там. О чем говорить-то?

— Ты уверена, что он там? — говорит Розалия Францевна.

— Естественно, — говорит Даша. — Откуда ему здесь взяться? Кто его сюда с судимостью пустит? Вы же не напрасно все так постарались тогда.

— Мы для тебя старались, — говорит Розалия Францевна. — И ты же сама сказала, что он тебя изнасиловать пытался.

— Бабушка, — говорит Даша. — Мне пятнадцать лет было. Что я еще могла вам сказать?

— Ну, в общем? статья эта не очень серьезная, — говорит Розалия Францевна. — Только попытка. Да и в России сегодняшней любые пятна в биографии подправить можно. Если нужных людей знать или денег иметь достаточно. Раньше не так все было. Когда за порядком следили.

— Зачем вы вообще все это устроили? — говорит Даша.

— Ради тебя, — говорит Розалия Францевна. — Для твоего же блага.

— Что значит — ради меня? — говорит Даша. — Вы же у меня не спросили.

— Ты еще маленькая, Дашенька, — говорит Розалия Францевна. — Ты еще не знаешь, что на свете такие люди бывают, от которых лучше всего как можно дальше держаться.

— И Игорь как раз такой человек? — говорит Даша.

— Да, как раз такой, — говорит Розалия Францевна. — И он от тебя не отстанет никогда. Пока всю жизнь твою не искалечит, не успокоится. И еще мне почему-то кажется, что он уже здесь, в Нью-Йорке.

— Да с чего ты взяла? — говорит Даша.

— Долго объяснять, — говорит Розалия Францевна. — Но меня такие предчувствия никогда еще не обманывали.

— Но даже если так, я-то что могу сделать? — говорит Даша.

— Ты многое можешь, — говорит Розалия Францевна. — Во-первых, ты должна помнить все, что я тебе говорила о нем. Не верить ни одному его слову. Не давать ему заморочить тебе голову, увлечь тебя опять. Ты должна помнить, что, если ты ему позволишь, он разрушит всю твою жизнь. И жизнь всей нашей семьи тоже.

— А во-вторых? — говорит Даша.

— А во-вторых, — говорит Розалия Францевна, — я хочу, чтобы ты немедленно сообщила мне, как только он появится.

— Хорошо, — говорит Даша. — Немедленно сообщу.

— А он не появлялся еще? — говорит Розалия Францевна. — Не пытался встретиться с тобой? Не звонил?

— Нет, — говорит Даша.

— Точно? — говорит Розалия Францевна. — И в глаза мне смотри, пожалуйста.

— Да нет его в Нью-Йорке, бабушка, — говорит Даша.

— Есть, Дашенька, — говорит Розалия Францевна. — В Нью-Йорке он. В Нью-Йорке. И приехал он сюда за тобой. Только имей в виду: живая ты ему уже не нужна.

— Это еще почему? — говорит Даша.

— Потому что живая ты ему всегда будешь напоминать о том, как его бросили, — говорит Розалия Францевна. — Как бросили, разлюбили и предали. Как он слабаком оказался. В его понимании — ничтожеством. А этого он тебе никогда не простит. Никогда.

...— Ну что ты хочешь от меня? — говорит Игорь. — Что ты хочешь? Чего тебе надо? Сколько еще будет продолжаться это? Откуда ты взялся вообще? Я тебя не звал. Я в твоих советах не нуждаюсь. Помощи у тебя не прошу. Никаких обещаний слушаться тебя не давал никогда. Почему ты мне все время указываешь, как мне жить, что делать, что гово-

рить даже? Кто тебе такое право давал? Откуда оно у тебя? И почему вообще ты так уверен, что я тебя слушаться буду? С чего ты это взял? Да, я знаю, что те, кто увеличивает зло на земле, должны быть наказаны. Я знаю. Но я не могу, не могу. Я, наверное, совсем не тот человек, который тебе нужен. Я не могу.

Игорь замолкает и откидывается на спинку стула. Глаза его закрыты, а в комнате, кроме него, никого нет.

— Кто ты такой? — говорит Игорь. — Что ты хочешь от меня? Что я тебе сделал? Зачем тебе все это нужно?

Он опять замолкает и какое-то время просто смотрит закрытыми глазами прямо перед собой — на стол, где лежит «Глок». Когда он снова начинает говорить, голос у него уже дрожит, а потом вообще срывается на крик:

— Ну что ты от меня хочешь? Что? Что? Что?

И потом — уже гораздо спокойнее и тише:

— А если я сделаю то, что ты хочешь, ты оставишь меня в покое?

ЛЮБИТ — НЕ ЛЮБИТ

— В молодости, — говорит Татьяна, — я больше всего ценила в мужчине ум. И всегда была уверена, что дурака полюбить просто невозможно. По крайней мере, я бы не смогла.

— Да нет, — говорит Алена, — с головой у Додика все в порядке. Просто он себя здесь найти не может. В Москве журналистом был. На «Эхе столицы» работал, вот Илюша знает. А здесь ничего не получилось. Потыкался по газетам разным и понял, что на этом не забогатеешь. Так и оказался за баранкой.

— Я не про то, как человек себе на жизнь зарабатывает, — говорит Татьяна. — Это мне безразлично. У меня

почти все знакомые поэты и художники дворниками или сторожами работали. И это нормально считалось. Никто внимания не обращал.

— Но здесь-то обращают, — говорит Алена.

— А ты не обращай, — говорит Татьяна.

— Я стараюсь, — говорит Алена. — Не получается.

— Скажи спасибо, что он хоть по-русски говорит, — говорит Мила.

— Спасибо, конечно, — говорит Алена. — Но у твоего Кена русский тоже вроде свободный.

— Лучше бы он у него был занятой, — говорит Мила.

— Почему? — говорит Алена.

— Знаешь, — говорит Мила, — поначалу мне его акцент даже симпатичным казался. Что-то было в нем такое. Привлекательное. И даже сексапильное. А теперь только раздражает. Особенно когда он начинает слова сленговые вставлять. Он виртуозно, конечно, русский знает, но нюансов-то все равно не чувствует. Такая глупость получается. А если вдруг матом что-нибудь... Ты слышала, как матерные выражения звучат, когда хотя бы небольшой акцент есть?

— Да, — говорит Алена. — Слышала. У меня третий муж был американец. Я его русскому учила. Вот он, например, говорил...

— Ой, не надо! — говорит Татьяна. — Не при мне, пожалуйста.

— Сорри, ваше величество, — говорит Алена. — My bad.

— Так ты ему просто скажи, чтобы он нецензурных слов не употреблял, — говорит Татьяна.

— Сама скажи, — говорит Мила. — Если ему только намекнуть, что у него с русским несовершенство полное, он такое устраивает!

— Мелочи это все, — говорит Татьяна. — Профессия. Акцент. Матом он, видите ли, нормально ругнуться не может. Как говорила моя бабушка, не сидели вы у моря без воды.

— Ну вот, — говорит Алена. — Сейчас опять лекция будет. На тему о полезной и здоровой жизни.

— Не бойся, — говорит Татьяна. — Не будет лекции. И ничего вообще не будет.

— Ладно, — говорю я, чтобы увести разговор в менее взрывоопасную сторону. — Новогодние планы-то какие? Решили что-нибудь? Кто к Зарецким идет?

— А что у них? — говорит Илья, в квартире которого мы все и сидим.

— Дашка замуж выходит, — говорю я. — Они вас не звали разве?

— Нет, — говорит Нина. — Нас-то им с какой стати звать?

— Ну, значит, и мы не пойдем, — говорю я и поворачиваюсь к Татьяне: — Да?

— Давай сменим тему, — говорит Татьяна.

— А что такое? — говорю я. — Это же так романтично — Новый год со свадьбой совместить. Такое редко у кого бывает. И примета, считается, хорошая.

— Ты о чем-нибудь другом можешь поговорить? — говорит Татьяна и глазами показывает на открытую дверь в кухню. Но там темно, и я не понимаю, в чем дело.

— А что я такого сказал? — говорю я и поднимаюсь из-за стола. — Нин, давай я тебе помогу чай поставить.

Я иду на кухню и, включив свет, вижу сидящего возле окна Игоря.

— Ты чего тут в темноте сидишь? — говорю я.

— Ничего, — говорит он. — Просто так.

— А чего голову побрил? — говорю я. — На зону готовишься?

— Шуточки у вас, — говорит Игорь. — Вы в цирке выступать не пробовали?

— Нет, — говорю я. — Много чего в жизни было, а этого еще не пробовал.

— Ну и зря, что не пробовали, — говорит Игорь. — Вы попробуйте. У вас хорошо получиться должно.

...— Вот козлы! — говорит Пол, вываливая на пол содержимое очередного ящика. Комната его родителей и так уже представляет собой нечто совершенно невообразимое. Постельное белье, одежда, обувь — все выброшено из шкафов и разбросано повсюду, но Пол упорно продолжает перетряхивать каждую тряпку.

— Я же знаю, что где-то здесь должно быть, — говорит он. — Где-то здесь они запачки свои держат. Куда перепрыгали, козлы?

Он смотрит на стоящие возле зеркала фотографии. На одной из них Максим и Ирина запечатлены в день свадьбы. На другой — уже с новорожденным сыном на руках. На третьей — они вдвоем провожают его в первый класс. Форму эту идиотскую нацепили на него. Воротничок накрахмалили так, что он себе всю шею в кровь стер. Букет цветов в руки сунули. Как придурку последнему. На следующей фотографии — отец в день получения американского врачебного диплома. Довольный такой. А мать пьяная вдрабадан. Даже на фотке видно, что едва на ногах держится. Но все равно улыбается, как будто ее щекочет кто.

— Fuck! — говорит Пол и одним резким движением смахивает фотографии с трюмо. Те рамки, что со стеклами, разбиваются, а одну, которой каким-то удивительным образом удалось уцелеть, Пол добивает ударом каблука.

Затем поиски денег продолжаются в других комнатах, где Пол учиняет точно такой же разгром и с тем же самым нулевым результатом. Наконец он добирается до кухни. Вся посуда летит вон из шкафов, а вместе с ней банки, пакеты какие-то, мешочки, коробочки. Тарелки, чашки, блюдца, рюмки, фужеры и стаканы из дорогих сервизов постепенно превращаются в груды битого стекла, пересыпанного сахаром, мукой, солью, гречневой крупой и овсяными хлопьями. Но денег нигде нет.

Пол оглядывается вокруг и замечает мусорный бак в углу возле раковины — он единственный остался

тут не тронутым. Понятно, что там никто ничего прятать не будет, но Пол все равно поднимает его высоко в воздух и переворачивает вверх дном. Из бачка сыпятся остатки еды, рваная бумага, окурки, гадость всякая. Поворошив всю эту кучу ногой, Пол видит скомканные черные чулки на поясе с резинками и прозрачный пеньюар.

— Совсем охренели! — говорит он, поддевая пеньюар носком ботинка. — Козлы!

— Не знаю, — говорит Дима. — Ничего не понимаю уже. Полный облом вокруг. Куда ни сунусь — везде одно и то же.

— А чего ты учиться не идешь? — говорит Оля, в чьей старой «Тойоте» они сидят.

— Не до учебы сейчас, — говорит Дима. — И так нам еле-еле хватает. Работать надо. А потом, на кого учиться? Я сначала думал на курсы программистские пойти, но сейчас ведь знаешь ситуация какая. А на колледж денег нет. Да и терять четыре года тоже неохота.

— А как же все остальные? — говорит Оля.

— Ну как? — говорит Дима. — Либо у них родители работают и за все платят, либо по бедности их государство учит. А у нас все как-то посредине. Ни то ни се.

Он жестом, который должен показаться небрежным, кладет руку на Олино плечо и продолжает говорить:

— А потом, здесь образование не нужно. Здесь диплом никто и не спрашивает никогда. Здесь важно, чтобы голова на плечах была и чтобы человек деньги делать умел.

— Да? — говорит Оля, сбрасывая его руку со своего плеча. — Это тебе кто сказал?

— Сам вижу, — говорит Дима и второй попытки обнять ее уже не предпринимает. — Достаточно только внимательно посмотреть вокруг, и сразу все понятно становится. Ведь все друг друга как оценивают? Разве по дип-

ломам? Нет, конечно. Смотрят, у кого какая машина, какой дом, какие часы на руке. Билл Гейтс вон вообще никакого высшего образования не имеет, а самый богатый человек в мире. И ничего, не жалуется, наверное, что его неучем дразнят.

— Ну да, — говорит Оля, — и Бродский всего восемь классов с трудом закончил.

— Вот именно, — говорит Дима. — Подожди секундочку. Я сейчас.

Он выходит из машины и направляется к своему подъезду, из которого только что вышел Игорь.

— Ты куда? — говорит Дима.

— Не знаю еще, — говорит Игорь. — Пройдусь просто.

— В такой дождь? — говорит Дима.

— Не могу я дома сидеть, — говорит Игорь. — Да и этот паноптикум там весь в сборе. Во главе с главным фриком¹.

— Я с тобой тогда пойду, — говорит Дима.

— Зачем? — говорит Игорь.

— За компанию, — говорит Дима. — Так лучше будет.

— В каком смысле — лучше? — говорит Игорь.

— В смысле веселее, — говорит Дима. — И глупостей меньше.

— Ну давай, — говорит Игорь. — Если простудиться не боишься, то давай.

— Я сейчас, — говорит Дима. — Попрощаюсь только.

— Не торопись, — говорит Игорь. — Времени полно.

Дима возвращается к Олиной «Тойоте» и открывает дверцу.

— Sorry, — говорит он. — Мне надо идти.

— Дождь ведь, — говорит Оля.

— Все равно надо, — говорит Дима. — Sorry.

— Возьми зонтик мой, — говорит Оля.

— А ты как же? — говорит Дима.

¹ Придурком (англ.).

— Я же на машине, — говорит Оля и, перегнувшись через спинку, достает с заднего сиденья зонтик.

— Держи, — говорит она.

— Спасибо, — говорит Дима. — Ну, я пошел.

— Ты позвонишь? — говорит Оля.

— Да, — говорит Дима. — Обязательно. Завтра.

— Хорошо, — говорит Оля.

Он захлопывает дверцу машины и оборачивается. Игоря у подъезда уже нет. Дима растерянно оглядывается по сторонам, но вокруг него только совершенно пустая, залитая дождем, едва освещенная тусклыми фонарями улица, на которой в такую погоду, естественно, ни души.

— Ну какая любовь в нашем возрасте? — говорит Алена. — Я думаю, ему скорее всего домашней еды захотелось. Супчика горяченького или еще там чего.

— Ты же готовить вообще не умеешь, — говорит Мила. — Только макароны.

— Ну, тогда не знаю, — говорит Алена. — Все равно не верю. Какой-то расчет тут обязательно должен быть. Но, даже если и нет ничего такого, мне-то что за резон с ним жениться? Мне и так некисло.

— Какая ты циничная все-таки, — говорит Мила.

— Ничего я не циничная, — говорит Алена. — Просто здраво смотрю на вещи. И вообще, я давно уже про себя решила, что в следующий раз, как замуж выходить буду, возьму себе бабу.

— Да ну тебя, — говорит Мила.

— Я серьезно, — говорит Алена. — С мужиками только проблемы одни, а толку от них никакого. Так что, когда тебя Кен твой окончательно доедет, дай знать.

— И что, женишься на мне? — говорит Мила.

— Легко, — говорит Алена. — Акцента у меня нет вроде. Так что тебе со мной классно будет.

Грег и Даша сидят в машине около ее дома и молчат.
— Что-то случилось? — наконец говорит Грег.

— Нет, — говорит Даша. — Ничего.

— Тебя сомнения мучают? — говорит Грег. — Ошибиться боишься? Пожалеть потом?

— Да нет, — говорит Даша. — Не в этом дело.

— А в чем? — говорит Грег.

— Ни в чем, — говорит Даша. — Все в порядке.

Они опять замолкают.

— Я понимаю, — говорит Грег.

— Что ты понимаешь? — говорит Даша.

— Ты меня не любишь, — говорит Грег.

— Да что это вообще значит такое: любишь — не любишь? — говорит Даша. — Ты сам-то хоть думал когда-нибудь, что это такое?

— Да, — говорит Грег. — Я знаю, что я тебя люблю. Что я без тебя жить все равно не смогу. И поэтому мне не так уж и важно, взаимно все это или нет.

— То есть тебе все равно, что я чувствую? — говорит Даша.

— Нет, не все равно, — говорит Грег. — Я не это хотел сказать.

— А что? — говорит Даша.

— Что я тебя люблю, — говорит Грег. — И если мы будем вместе, я тебе это докажу. Ты увидишь, как тебе будет хорошо со мной. И со временем, потом когда-нибудь, может быть, ты тоже меня полюбишь.

— А если не полюблю? — говорит Даша. — Что тогда делать будем?

— Полюбишь, — говорит Грег. — Вот увидишь. Все будет очень хорошо.

Даша молчит.

— Ты увидишь, — говорит Грег. — Мы будем очень счастливы. Ты только не бойся ничего и не придумывай себе фантазий разных.

— А я и не придумываю, — говорит Даша.

— Придумываешь, — говорит Грег. — Ты хочешь, чтобы все как в книжках или как в кино было. Но в жизни так не бывает.

— А как бывает? — говорит Даша.

— По-другому, — говорит Грег. — Гораздо сложнее. Не так однозначно: любит — не любит. Любишь — не любишь.

— Может, ты и прав, — говорит Даша.

— Не может, а точно, — говорит Грег. — Точно прав.

— Ну, я пойду? — после еще одной паузы говорит Даша.

— Я тебя провожу, — говорит Грег.

— Не надо, — говорит Даша. — Смотри, дождь какой.

А я в плаще.

— Хорошо, — говорит Грег. — Я позвоню завтра?

— Позвони, — говорит Даша.

Грег наклоняется к ней и целует в щеку.

— Все будет хорошо, — говорит он. — Вот увидишь.

Даша вылезает из машины и поднимает воротник плаща.

Мерзкий холодный дождь — такой, какой в декабре только в Нью-Йорке, наверное, и бывает. Пустынная улица. Голые деревья, по кривым веткам которых стекает ледяная вода.

Грег заводит мотор, мигает пару раз фарами. Даша машет ему рукой. Поезжай, мол. Автомобиль легко трогается с места, постепенно набирая скорость, сворачивает за угол и исчезает из виду. Даша делает шаг по направлению к своему дому и тут же резко останавливается.

— Ты? — говорит она. — Ты... Так все-таки ты здесь, оказывается.

— А чего ты его сегодня с собой не привела? — говорит Илья.

— Работает он, — говорит Алена. — Там же расписания вообще нет никакого. Когда хотят, тогда и вызывают. И надо все бросать и везти их — куда скажут.

— Ничего, зато в тепле, — философски говорю я, как будто сам я на стройке вкалываю.

В этот момент звонит Татьянаин мобильник. Он у нее совсем недавно появился, и номера этого почти ни у кого и нет еще.

Я вопросительно смотрю на нее.

— Алло, — говорит Татьяна и, прикрыв трубку, одними губами беззвучно произносит: «Зарецкая». Это чтобы объяснить мне, кто звонит.

— Да, Мариш, — говорит Татьяна уже полным голосом. — Да, можем, конечно.

Она отключает телефон и поворачивается к Миле:

— Ты на машине?

— Да, — говорит Мила. — Но я никуда ехать не могу. Я пьяная.

— А что случилось? — говорю я.

— Там, — говорит Татьяна и смотрит на меня так, что мне становится не по себе. — Даша.

Мила гонит со скоростью, превышающей все допустимые пределы, и до Зарецких мы буквально долетаем за каких-нибудь двадцать минут. За все это время Татьяна не произносит ни слова и категорически отказывается отвечать на какие бы то ни было мои вопросы.

Уже от поворота видны полицейские мигалки, две машины «Скорой помощи» и толпа любопытных, которых даже дождь проливной и холодный остановить конечно же не в состоянии. Мы с Татьяной выскакиваем из автомобиля, не дожидаясь, пока Мила найдет место для парковки. Вернее, это Татьяна выскакивает и бежит в дом, а я только безуспешно пытаюсь ее догнать, но невольно останавливаюсь возле огромного красного пятна на ведущей к дверям дорожке. Дождь уже размыл его, но стекающая в сторону проезжей части вода все равно розовая. Это даже в искусственном свете фонарей видно.

Татьяну в этот момент задерживает стоящий на пороге полицейский, и минуты две уходит на то, чтобы объяс-

нить ему, кто мы такие, но зато внутрь мы входим уже вместе.

На первом этаже у Зарецких огромная гостиная. Там, за массивным столом из черного мрамора сидит Антон в окружении еще нескольких полицейских и что-то им объясняет. Вид у него такой, как будто он уже в сто двадцать первый раз повторяет одно и то же. Увидев нас, он делает неопределенный жест рукой, показывая куда-то вверх. Татьяна бросается к лестнице, ведущей на второй этаж, а я покорно следую за ней.

На втором этаже неожиданно тихо и пустынно. В широком коридоре, по стенам которого, как и во всем доме, развешаны картины и прочие украшения, нет никого. Татьяна останавливается в нерешительности, а я наугад толкаю первую дверь. Розалия Францевна сидит в кресле и совершенно неподвижным взглядом смотрит в окно, за которым дождь льет все сильнее и сильнее.

— Простите, пожалуйста, — говорю я.

Мы доходим до следующей двери и на этот раз негромко, но настойчиво стучим.

— Ну что еще? — раздается голос Марины, которого я ни за что не узнал бы, если бы не знал точно, что, кроме нее, тут никого быть не может.

— Мариш, это мы, — говорит Татьяна и, не дожидаясь ответа, открывает дверь.

Мы входим в комнату. Марина на коленях стоит возле кровати, на которой лежит Даша. В комнате темно, и свет, проникающий сюда из коридора, — это единственное освещение.

— Спасибо, что приехали, — говорит Марина, а Татьяна быстро идет к постели и берет Дашу за руку. Я тоже подхожу ближе и вижу, что Даша лежит с широко открытыми глазами и не двигается. Лицо у нее бледное, а плащ, который с нее почему-то не успели снять, весь испачкан чем-то красным.

— Что случилось? — говорит Татьяна.

— Я не знаю, — говорит Марина. — Ни слова добиться не могу. Может, она тебе скажет.

— Дашенька, что случилось? — говорит Татьяна, но Даша молчит. Татьяна смотрит на меня в расчете на поддержку, но я только пожимаю плечами.

— Что произошло? — опять говорит Татьяна, но ответом ей снова все то же молчание.

Марина показывает нам на стоящие в другом углу стулья, молча приглашая сесть, и я покорно отправляюсь за ними.

— Я ничего не сделала, — вдруг раздается у меня за спиной Дашин голос. — Я ничего не сделала ему. Я даже сказать ничего не успела. Ничего... А пистолета я вообще не видела. Что-то в руках у него было, но темно ведь, и дождь такой... Я думала... Я только хотела ему одну вещь сказать, объяснить все, а тут как грохнет...

— Слава богу, с Дашенькой все в порядке, — говорит Марина.

— Так он не в тебя стрелял? — говорит Татьяна.

Даша отрицательно качает головой.

— Вообще в тебя не стрелял? — говорит Татьяна.

— Нет, — говорит Даша. — Один выстрел всего. В себя. Сразу. Я даже сказать ничего не успела. Бросилась к нему, но потом уже...

Я выхожу из комнаты, спускаюсь обратно на первый этаж, пробираюсь через толпу полицейских на улицу. Возле самого дома стоит машина «Скорой помощи» с открытой задней дверцей. Я заглядываю внутрь и вижу носилки, на которых лежит покрытое белой простыней тело. Лицо тоже закрыто, а там, где у тела должен быть живот, на простыне огромное пятно все того же красного цвета, только уже не розоватого, как на дороге, а темного, даже бурого какого-то. Я пытаюсь закурить, но сигарета тут же промокает насквозь под ледяным декабрьским дождем, конца которому, похоже, не будет уже никогда.

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА

(Новогоднее караоке)

Игоря хоронят за счет города. Сначала мы хотели разыскать хоть каких-то его родственников в России и отправить гроб туда, но потом отказались от этой затеи. Оказывается, чтобы покойника самолетом послать, нужно немеренные тысячи выложить, а ни у кого из нас таких денег нет. У Зарецких есть, конечно, но они вряд ли согласились бы. Никто им даже предлагать не стал. Вот и получается, что в тот день, когда вся Америка отмечает свой наилюбимейший праздник «Кристмас», мы стоим под мокрым снегом и не знаем, куда спрятаться от пронизывающего насквозь ветра.

Мы — это я, Татьяна и Илюша со своим семейством. Больше никто не пришел. Даже Саманта, хотя Дима и звонил ей, но она сказала, что Christmas портить себе не намерена. Не для того она полторы штуки с кредиток сняла и на подарки истратила, чтобы этот день на кладбище провести. По-своему я ее понимаю, конечно. Главный праздник, к которому вся страна весь год готовится, деньги на подарки копит. И что же, все зря, что ли?

— А это кто? — говорит Татьяна, показывая на стоящего несколько поодаль от нашей группы пожилого человека с непокрытой, несмотря на упорно падающий мокрый снег, головой.

— Откуда я знаю? — говорю я. — Может, живет здесь.

Загадка разрешается просто. Когда яму, куда положили гроб с телом Игоря, засыпают мерзлой землей, мужчина надевает шапку и сам подходит к нам.

— Разрешите представиться, — говорит он. — Конюхов Юрий Андреевич. Полковник артиллерии в отставке.

— Очень приятно, — говорю я. — Леонид Зернов. Журналист, переводчик и учитель старших классов.

Остальные тоже называют свои имена.

— Вы друзья Игоря? — говорит Юрий Андреевич.

— Да, типа того, — говорю я. — А вы, простите, откуда его знали?

— Случайно познакомились, — говорит Юрий Андреевич. — Он меня от врача домой подвозил как-то. Ну и разговорились. Я ему телефон свой оставил. Так он звонил мне иногда, заезжал. Помянуть его надо бы.

— Сегодня никак не получится, — говорю я.

— Да, я понимаю, — говорит Юрий Андреевич. — Рождество. А на Новый год вы что делаете?

— Не определились еще, — говорю я. — Приглашений много. Трудно выбрать.

— Так заезжайте ко мне, — говорит Юрий Андреевич. — Хотя бы на часок. Помянем Игоря, а потом вы Новый год встречать поедете.

— Я не знаю, — говорю я, но Татьяна меня перебивает:

— Обязательно надо помянуть. Не по-человечески это.

— Запишите мои координаты, — говорит Юрий Андреевич и начинает диктовать Татьяне адрес.

— В конце концов, что мы теряем? — говорит Татьяна, когда Юрий Андреевич, довольно церемонно распрощавшись и поцеловав даже на прощание ей и Нине ручки, уходит. — Посидим часок и поедем, куда ты захочешь.

— Ты же знаешь, — говорю я, — как я люблю к незнакомым людям ходить.

— Ничего, — говорит Илья. — Мы же все вместе будем.

31 декабря проходит в обычных предпраздничных заботах, и к вечеру сил уже, как всегда, ни на что нет. Поэтому я с удовольствием прилег бы поспать, а потом отправился бы прямо в «Эдем» к Малининым, где должны собраться все наши, но Татьяна считает, что это будет некрасиво.

— Пожилой человек, — говорит она. — Ждет нас. Готовился, наверное. Как тебе не стыдно?

— Я только немножко совсем посплю, — говорю я, растягиваясь на моей любимой кровати, — а потом поедем. Мы успеем.

— Знаю я твое немножко, — говорит Татьяна. — Не будишься потом. Вставай — сейчас Илья приедет. Они звонили только что. Через пятнадцать минут будут.

Квартира Юрия Андреевича расположена в многоэтажном доме около Оушен-Парквей. Дверь открывает он сам, но узнать его практически невозможно, так как на нем парадный полковничий мундир, а вся грудь увешана наградами. Не планками, а настоящими орденами и медалями, из которых я, правда, узнаю только Звезду Героя Советского Союза.

— Поздравляю, — почему-то говорю я, совершенно забыв, что мы ведь не совсем Новый год сюда встречать приехали.

Квартира состоит из кухни, ванной и крошечной комнаты, в которой и накрыт стол. Бедновато, конечно, но видно, что наш хозяин действительно постарался. Стены комнаты увешаны обложками старых журналов и фотографиями в рамочках. Тоже совсем старыми — черно-белыми и какой-то коричневатой окраски, как почему-то раньше модно было делать.

— Воевали? — говорю я, чтобы хоть как-то нарушить неловкую тишину.

Говорить нам, как я, впрочем, и предполагал, совершенно не о чем.

— Участвовал, — говорит Юрий Андреевич. — Было дело. Да что же вы стоите все? Садитесь.

Мы рассаживаемся за столом и начинаем раскладывать себе по тарелкам винегрет, селедку с луком, баклажанную икру. Ничего другого на столе и нет, но меня это даже не особенно расстраивает, потому что я знаю, что с деликатесами в «Эдеме» проблем не будет. Юрий Андреевич открывает бутылку «Гордона», разливает нам по рюмкам. Я уже даже забыл, когда в последний раз пил эту гадость — сей-

час ведь столько водок хороших появилось. Правда, дорогие они, наверное, для нашего хозяина. На пенсию не купишь.

— Мертвых водкой не поминают, — говорит Татьяна.

— На фронте поминали, — говорит Юрий Андреевич. — Только не закусывая.

При одной только мысли о том, что придется пить «Гордон» без закуски, мне становится не по себе, но я все же заставляю себя сделать маленький глоток.

— Пусть земля ему будет пухом, — говорит Юрий Андреевич и выпивает свою рюмку до дна.

За столом опять воцаряется тишина. Есть вроде не велели, а что еще делать — никто не знает.

— Вы что же, один живете? — говорит Нина.

— Да, — говорит Юрий Андреевич. — Супруга моя скончалась в прошлом году. У нее ведь тоже с войны еще ранение было. А я вот живу. Дети навещают иногда. Но им нелегко бывает вырваться. Они же не в Нью-Йорке. Сын в Нью-Джерси живет. А дочка — на Лонг-Айленде. Да вы ешьте, ешьте. Я сейчас картошки вареной принесу. С селедочкой хорошо пойдет.

— Только аппетит перебивать, — говорю я шепотом Татьяне, когда Юрий Андреевич выходит на кухню. — Наедемся селедки, а что потом в «Эдеме» делать будем?

— Съешь хоть что-нибудь, — говорит Татьяна. — Неудобно же.

Юрий Андреевич возвращается с небольшой кастрюлькой, из которой валит пар, и начинает раскладывать нам по тарелкам картошку. Некоторое время мы заняты едой, и поэтому тишина не кажется такой мучительной.

— Хорошая библиотека, — говорит вдруг Илья, показывая на два больших книжных шкафа, которые занимают практически все свободное место в комнате. — Интересная. Я вижу, что про войну в основном.

— Всю жизнь собирал, — говорит Юрий Андреевич, явно обрадовавшись нашедшейся теме для разговора. —

Но, конечно, в последние годы особенно много интересного вышло.

— А что за диски у вас? — говорит Дима, и я вижу, что одна полка действительно уставлена компактными. Вот никогда бы не подумал, что такой пожилой человек может современной музыкой интересоваться.

— Да это тоже все старое, — говорит Юрий Андреевич. — Дома я еще патефонные пластинки хранил, а сюда не смог их привезти. Раздарил все друзьям перед отъездом. Но сейчас столько всего выпускают, что я практически всю свою коллекцию восстановил. Поставить вам что-нибудь?

— Что, например? — говорю я.

— А что вы любите? — говорит Юрий Андреевич.

— Я Эминема люблю, — говорю я.

— Нет, Эминема у меня нет, — говорит Юрий Андреевич.

— А вот был певец такой, — говорит Нина. — Вадим Козин. Моя мама его все время слушала. У вас есть его что-нибудь?

— Есть, конечно, — говорит Юрий Андреевич. — Сейчас поставлю.

Юрий Андреевич идет к полке, достает с нее диск, включает проигрыватель.

«Нет на свете краше нашей Любы, — начинает петь совершенно незнакомый мне голос. — Черны косы обвивают стан. Как кораллы, розовеют губы, а в очах бездонный океан. Если Люба песенкой залется, на душе и ярко, и светло. Если Люба звонко рассмеется — словно красно солнышко взошло. Люба, Любушка! Любушка, голубушка. Я тебя не в силах позабыть. Люба, Любушка! Любушка, голубушка. Сердцу любо Любушку любить».

Песня такая веселая, что все мы как-то невольно даже оживляемся.

— А Виноградов у вас есть? — говорит Нина. — Мама его тоже любила.

Юрий Андреевич меняет диск. Из проигрывателя начинает звучать приятная мелодичная музыка. Кажется, это аккордеон, но я не уверен.

«Счастье мое я нашел в нашей дружбе с тобой. Все для тебя — и любовь и мечты. Счастье мое — это радость цветенья весной. Все это ты, моя любимая, все ты. Счастье мое, посмотри, наша юность цветет. Сколько любви и цветенья вокруг. Радость моя, это молодость песни поет. Мы с тобой неразлучны вдвоем, мой цветок, мой друг».

— Это он еще до войны такой беззаботный был, — говорит Юрий Андреевич. — А потом ведь он и военные песни самые лучшие пел. Лирические, конечно. «Жди меня...», «Темная ночь». Помните?

Юрий Андреевич нажимает какую-то кнопку на проигрывателе, и начинается новая песня, хорошо знакомая мне с детства, но в таком проникновенном исполнении, какого я никогда не слышал.

«Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами, темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная, черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи, вот и сейчас надо мною она кружится... Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому, знаю, со мной ничего не случится».

— А еще вот у Виноградова военная песня есть замечательная, — говорит Юрий Андреевич. — Сейчас найду.

Надев очки, он принимается изучать обложку диска.

— Вот, — говорит он. — Вот она.

«С берез, неслышен, невесом, — начинает петь проигрыватель, — слетает желтый лист. Старинный вальс

«Осенний сон» играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и, словно в забытии, сидят и слушают бойцы — товарищи мои. Под этот вальс весенним днем ходили мы на круг, под этот вальс в краю родном любили мы подруг; под этот вальс ловили мы очей любимых свет, под этот вальс грустили мы, когда подруги нет. И вот он снова прозвучал в лесу прифронтовом, и каждый слушал и молчал о чем-то дорогом; и каждый думал о своей, припомнив ту весну, и каждый знал — дорога к ней ведет через войну... Так что ж, друзья, коль наш черед, да будет сталь крепка! Пусть наше сердце не замрет, не задрожит рука; пусть свет и радость прежних встреч нам светят в трудный час, а коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Но пусть и смерть — в огне, в дыму — бойца не устрасит, и что положено кому — пусть каждый совершит. Настал черед, пришла пора, идем, друзья, идем! За все, чем жили мы вчера, за все, что завтра ждем! С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист. Старинный вальс «Осенний сон» играет гармонист. Вздыхают, жалуясь, басы, и, словно в забытии, сидят и слушают бойцы — товарищи мои...»

— Это знаете кто написал? — говорит Юрий Андреевич и, увидев наши недоуменные лица, сразу же сообщает: — Михаил Исаковский. Великий поэт был. Правда, тогда много таких было.

— Великих поэтов? — говорю я.

— Великих людей, — говорит Юрий Андреевич. — До войны тоже песни хорошие пели, конечно. Веселые. Я мальчишкой еще совсем бегал, но на всю жизнь запомнил. А с войной переменялось все. Вот Шульженко, помните?

Он опять меняет диск на проигрывателе, и мы слышим:

«Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой, родной, знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок голубой. Письма твои получая, слышу я голос живой. И между строчек

синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня облик твой, чувствую, рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с собой! Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них, родных, желанных, любимых таких, строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих!»

— Это уже второй вариант, — говорит Юрий Андреевич. — На слова Максимова. А вот Бернес.

«В далекий край товарищ улетает. Родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно, и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят, любимый город другу улыбнется: знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд».

— Можно подумать, что одни только лирические песни тогда были, — говорю я.

— Нет, конечно, — говорит Юрий Андреевич. — Хотите что-нибудь другое послушать?

— Нам вообще-то пора уже, — говорю я и смотрю на часы.

— Подожди, — говорит Татьяна. — Успеем.

Илья тоже делает мне такой знак рукой, что я вынужден смириться.

— Самая великая песня, — говорит Юрий Андреевич. — Ее и песней-то называть как-то неловко.

Он вынимает с полки еще один диск и вставляет его в проигрыватель.

«Вставай, страна огромная, — начинает петь мощный, как несокрушимая скала, хор. — Вставай на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятою ордой! Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, Священная война!»

Этот припев повторяется два раза, а потом:

«Дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей! Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, Священная война! Гнилой фашистской нечисти загоним пулю в лоб. Отродью человечества сколотим крепкий гроб! Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, Священная война!

Это опять два раза повторяется, а Илья говорит:

— Прямо мороз по коже.

— Да, — говорит Юрий Андреевич, — как будто вчера все это было. Это вообще диск потрясающий. Тут практически все лучшие песни о войне собраны. Можно прямо подряд все слушать. Ничего недостойного нет. Вот сейчас будет — из самых любимых моих.

«У прибрежных лоз, у высоких круч и любили мы, и росли, — поет тот же хор. — Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч, над тобой летят журавли. Ты увидел бой, Днепр, отец-река... Мы в атаку шли под горой. Кто погиб за Днепр, будет жить века, коль сражался он, как герой. Враг напал на нас, мы с Днепра ушли... Смертный бой гремел, как гроза. Ой, Днепро, Днепро, ты течешь вдали, и волна твоя, как слеза. Из твоих стремнин ворог воду пьет... Захлебнется он той водой! Славный час настал, мы идем вперед и увидимся вновь с тобой. Кровь фашистских псов пусть рекой течет, враг Советский край не возьмет! Как весенний Днепр, всех врагов сметет наша армия, наш народ».

— Давайте выпьем еще, — говорит Юрий Андреевич. — У меня брат там погиб. На год всего старше меня был.

— Я налью, — говорит Илья. — У меня тоже дед там остался.

— А мой дед под Ленинградом погиб, — говорю я. — Его точно так же, как и меня, звали. И имя, и отчество.

— А мой — под Ржевом, — говорит Татьяна.

— А моего немцы расстреляли, — говорит Нина. — Он партизаном был.

Илья разливает водку по рюмкам, а из проигрывателя уже песется новая песня.

«Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. И пост мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега... До тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага. Пой, гармоника, выюге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви».

— Бессмертная песня, — говорит Татьяна. — Под нее я даже еще выпить готова.

Проигрыватель начинает играть какую-то совершенно неизвестную мне и очень торжественную мелодию. Юрий Андреевич поднимает свою рюмку.

— Это наша, — говорит он. — Артиллерийская.

«Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой, — поет хор. — Мы в смертный бой идем за честь родной страны. Пылают города, охваченные дымом, гремит в густых лесах суровый бог войны. Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовет Отчизна нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину — огонь! Огонь!»

— Знаете, как действовало это, — говорит Юрий Андреевич. — Когда уже вообще сил не было никаких, а мы это пели.

«Узнай, родная мать, узнай, жена-подруга, — продолжает хор. — Узнай, далекий дом и вся моя семья, что бьет еще врага стальная наша выюга, что волю мы несем в родимые края!»

И когда опять звучит припев, Юрий Андреевич вдруг начинает подпевать хору:

— Артиллеристы, Сталин дал приказ! Артиллеристы, зовет Отчизна нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину — огонь! Огонь!

С последними аккордами он опрокидывает в себя рюмку «Гордона».

— Музыку Хренников написал, — говорит он. — Никогда не мог понять, как люди такое сочиняли. Откуда это в них бралось. Хренников, Александров, Богословский, Новиков, Мокроусов. Такая мощь. Как в опере.

— Ну что, пойдём, может? — говорю я Татьяне. — Десять часов уже. Опоздаем ведь.

— Боишься, что без нас все съедят? — говорит Татьяна.

— Не только съедят, — говорю я, — но и выпьют.

— Так выпить мы и здесь можем, — говорит Илья и опять разливает по рюмкам водку.

— Сейчас веселая будет, — говорит Юрий Андреевич. — Моей жены любимая была.

Из проигрывателя действительно звучит заводная, танцевальная мелодия, и хор начинает петь:

«На солнечной поляночке, дугою выгнув бровь, парнишка на тальяночке играет про любовь. Про то, как ночи жаркие с подружкой проводил, какие полушалки ей красивые дарил».

Музыка как будто рушится в пропасть, а потом выныривает оттуда с припевом:

«Играй, играй-рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума».

— Ну, давайте, — говорит Юрий Андреевич, и мы опять пьем.

«Когда на битву грозную, — продолжает петь пластинка, — парнишка уходил, он ночью темной, звездною ей сердце предложил. В ответ дивчина гордая (шутила, видно, с ним): «Когда вернешься с орденом, тогда поговорим».

Мелодия опять проваливается, но следующий припев мы уже поем все вместе:

— Играй, играй-рассказывай, тальяночка, сама о том, как черноглазая свела с ума.

— Станцевать бы сейчас, — говорит Юрий Андреевич, — но боюсь, сердце не выдержит.

На диске начинается опять звучать медленная мелодия.

— Вот это тоже Исаковского песня, — говорит Юрий Андреевич. — Внимательнее слушайте.

«На позиции девушка провожала бойца, темной ночью простилася на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек, на окошке на девичьем все горел огонек. Парня встретила славная фронтовая семья, всюду были товарищи, всюду были друзья, но знакомую улицу позабыть он не мог: «Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек?» И подруга далекая парню восточку шлет, что любовь ее девичья никогда не умрет. Все, что было загадано, все исполнится в срок, не погаснет без времени золотой огонек. И просторно, и радостно на душе у бойца от такого хорошего, от ее письмеца. И врага ненавистного крепче быст паренек за Советскую Родину, за родной огонек».

Когда начинается следующая песня, Юрий Андреевич опять говорит:

— И это тоже Исаковского слова.

«Где ж вы, где ж вы, где ж вы, очи карие, — начинает петь хор. — Где ж ты, мой родимый край? Впереди — страна Болгария, позади — река Дунай. Много верст в походах пройдено по земле и по воде. Но Советской нашей Родины не забыли мы нигде. И под звездами Балканскими вспоминаем неспроста ярославские, рязанские да смоленские места. Вспоминаем очи карие, тихий говор, звонкий смех... Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех. Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех».

Последние слова мы опять поем все вместе, а Дима Илюнин говорит:

— Эту песню даже я знаю. Ее Чиж записал.

— Какой еще Чиж? — говорит Юрий Андреевич.

— Рок-певец такой есть, — говорит Дима. — Сейчас вообще многие старые песни записывать стали. Егор Летов даже целый диск сделал.

А на пластинке опять начинается что-то невероятно суровое и значительное.

«Шумел сурово брянский лес; — медленно поет хор. — Спускались синие туманы, и сосны слышали окрест, как шли... как шли на битву партизаны. Тропою тайной меж берез спешили дебрями густыми, и каждый за плечами нес винто... винтовку с пулями литыми. И грозной ночью на врагов, на штаб фашистский налетели, и пули звонко меж стволов в дубра... в дубравах брянских засвистели. В лесах врагам спасенья нет. Летят советские гранаты, и командир кричит им вслед: «Громи, громи захватчиков, ребята!» Шумел сурово брянский лес. Спускались синие туманы, и сосны слышали окрест, как шли... как шли с победой партизаны».

— Потрясающе, — говорю я. — Я ведь тоже все это слышал в детстве когда-то, но забыл давно.

— Ну вот, — говорит Татьяна. — А ты: «Пойдем, пойдем...»

— Сейчас опять лирическая будет, — говорит Юрий Андреевич. — Одна из лучших.

«Я уходил тогда в поход, — поет высокий мужской голос, — в далекие края. Платком взмахнула у ворот моя любимая. Второй стрелковый храбрый взвод теперь моя семья. Привет-поклон тебе он шлет, моя любимая. Чтоб дни мои быстрее неслись в походах и боях, издаюлка мне улыбнись, моя любимая. В кармане маленьком моем естя карточка твоя. Так, значит, мы всегда вдвоем, моя любимая...»

— Ладно, — говорю я, окончательно покоренный. — За такие песни и остаться можно.

— Вот и прекрасно, — говорит Юрий Андреевич. — Вместе Новый год встретим.

— Ну, тогда давайте выпьем еще, — говорю я.

— Давайте, — говорит Юрий Андреевич. — Сейчас и песня подходящая будет. «Наш тост» называется. Может быть, вас это удивит, но ее Арсений Тарковский написал.

— Почему удивит? — говорю я.

— Послушайте, — говорит Юрий Андреевич. — Это уже под конец войны было. Когда переломилось все. Когда гадов этих гнали уже.

«Если на Родине с нами встречаются, — начинается хор, — несколько старых друзей, все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселой. Ну-ка, товарищи, грянем застольную! Выше стаканы с вином, выпьем за Родину нашу привольную! Выпьем и снова нальем».

Я уже готовлюсь подпевать повтору припева, но вместо него звучит только проигрыш. Мелодия повторяется, а слов нет.

«Выпьем за русскую удаль кипучую, — начинается второй куплет, — за богатырский народ! Выпьем за армию нашу могучую, выпьем за доблестный флот!»

— Наливайте, — говорит Юрий Андреевич Илье, и тот послушно разливает остатки водки по рюмкам. В это время начинается последний куплет:

«Встанем, товарищи, выпьем за гвардию, равной ей в мужестве нет. Тост наш за Сталина! Тост наш за Партию! Тост наш за знамя побед!»

На этот раз припев повторяется уже со словами, и мы все, невольно поднявшись с наших мест, поем его хором:

— Тост наш за Сталина! Тост наш за Партию! Тост наш за знамя побед!

— Где оно теперь, это знамя? — говорю я. — И где они, эти победы?

— Там же, где и были, — говорит Юрий Андреевич. — Никуда не делись и деться не могут. Что бы ни говорили сейчас о них, что бы ни писали, все равно побед этих никому уже отменить не удастся. Вот еще Исаковского послушайте. Самая трагичная у него.

«Враги сожгли родную хату, — начинается новая песня, — сгубили всю его семью. Куда ж теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог, нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок. Стоит солдат — и словно комья застряли в горле у него. Сказал солдат: «Встречай, Прасковья, героя — мужа своего. Готовь для гостя угощенье, накрой в избе широкий стол, — свой день, свой праздник

возвращения к тебе я праздновать пришел...» Никто солдату не ответил, никто его не повстречал, и только теплый летний ветер траву могильную качал. Вдохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой. «Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой: хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья, подружки, но не сойтись вовеки нам...» И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил — солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: «Я шел к тебе четыре года, я три державы покорил...» Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд, и на груди его светилась медаль за город Будапешт».

— Ну что, не замучил я вас военными песнями? — говорит Юрий Андреевич. — Давайте лирику опять послушаем.

Он меняет диск на проигрывателе.

— Опять Исаковский, — говорит он, и нежнейшая мелодия заполняет его крошечную квартиру на Оушен-Парквей.

«Снова замерло все до рассвета, дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно — на улице где-то одинокая бродит гармонь. То пойдет за поля, за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Веет с поля ночная прохлада, с яблонь цвет облетает густой... Ты признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Может, радость твоя недалеко, да не знает, ее ли ты ждешь... Что ж ты бродишь всю ночь одиноко? Что ж ты девушкам спать не даешь?»

— А вот сейчас моя самая любимая будет, — говорит Юрий Андреевич. — Из невоенных, конечно. Ничего красивее никогда не слышал.

«До встречи с тобою в час тихий заката, — поет пластинка, — был парень я — просто огонь. Ты только одна, ты одна виновата, что вдруг загрустила гармонь. Весенние ветры умчались куда-то, но ты не спеши, подожди... Ты только одна, ты одна виновата, что так беспокойно в груди. Вдали за рекою гуляют ребята — веселье идет на лугу. Ты

только одна, ты одна виновата, что с ними гулять не могу. В колхозном поселке, большом и богатом, немало хороших девчат. Ты только одна, ты одна виновата, что я до сих пор не женат».

— Грустное это все что-то, — говорю я. — А до Нового года, между прочим, двадцать минут осталось.

— Сейчас будет веселое, — говорит Юрий Андреевич. — Вы ее все знаете, конечно, но она у меня тут в уникальной записи. С куплетом, который в последнее время никогда не исполнялся уже. Ну, сами услышите сейчас.

Из проигрывателя доносится действительно довольно жизнерадостный марш, и я сразу же узнаю его.

«Я по свету немало хаживал, — поет высокий женский голос, от которого я чувствую, как у меня буквально замирает сердце, — жил в землянках, в окопах, в тайге, похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске. Но Москвою привык я гордиться и везде повторяю слова: дорогая моя столица, золотая моя Москва!»

— Дорогая моя столица, золотая моя Москва! — поем мы все вместе хором.

«Я люблю подмосковные рощи, — продолжает женский голос, — и мосты над твоею рекой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевских курантов бой. В городах и далеких станицах о тебе не умолкнет молва, дорогая моя столица, золотая моя Москва!»

В следующем куплете голос меняется, в нем уже звучит что-то совершенно иное.

«Мы запомним суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков, и в сердцах будут жить двадцать восемь самых храбрых твоих сынов. И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя столица, золотая моя Москва!»

— Дорогая моя столица, золотая моя Москва! — поем мы все.

— Вот этот куплет, который они выбросили, — говорит Юрий Андреевич. — Лужкову бы его сейчас послушать.

«Над Москвою знамена славы, торжествует победу народ. Здравствуй, город Великой державы, где любимый наш Сталин живет. Будем вечно тобою гордиться, будет жить твоя слава в веках, дорогая моя столица, золотая моя Москва!»

— Дорогая моя столица, золотая моя Москва! — уже не поем, а буквально орем мы.

— Ну, и еще Исаковского одну, — говорит Юрий Андреевич. — Последнюю.

«Летят перелетные птицы, — поет проигрыватель, — в осенней дали голубой, летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою, родная навеки страна! Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке, и не было горше печали, чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю, и не было большего долга, чем выполнить волю твою... Летят перелетные птицы ушедшее лето искать. Летят они в жаркие страны, а я не хочу улетать. А я остаюсь с тобою, родная моя сторона! Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна».

— Да, — говорит Илья. — Сильно сказано. На века.

— Ой! — говорит Нина. — Новый год через три минуты. Что делать будем?

— Извините, шампанского нет, — говорит Юрий Андреевич.

— У нас есть, — говорит Татьяна. — «Советское». Специально берегли. Думали в «Эдеме» выпить. Там ведь такого не дают.

Я достаю из моей сумки бутылку шампанского и, начиная открывать ее, говорю:

— Включите телевизор, пожалуйста. Там сейчас будут показывать, как на Таймс-сквер стеклянный шар падает.

— Не надо телевизора, — говорит Юрий Андреевич. — Я вам сейчас поставлю то, что у нас всегда на Новый год играли. Только время точное нужно.

Пробка вылетает из бутылки с громким хлопком, и я пытаюсь налить шампанское в рюмки. Другой посуды поблизости не видно.

— У меня абсолютно точные часы, — говорит Илья. — Десять секунд осталось.

— Девять, — начинаем хором считать мы. — Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один!

В этот момент Юрий Андреевич включает проигрыватель, и оттуда звучит музыка, от которой у меня с детства мурашки бегут по спине.

— Тоже старая запись, — говорит Юрий Андреевич. — С настоящими еще словами.

С детства эта музыка так на меня действует. Она — как поступь великанов. Как биение их сердец. Музыка их великого времени и их великой победы. И даже сейчас, когда я прекрасно понимаю, что нет ничего этого больше и, скорее всего, никогда больше не будет, все равно мурашки по спине и слезы на глазах. Потому что, хоть и изменилось все безвозвратно, но прав Юрий Андреевич — это было, было, было, и, сколько б ни злобствовали все вокруг, этого им уже никогда не отменить.

«Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь, — вступает хор. — Да здравствует созданный волей народов единый, могучий Советский Союз!»

Мы сдвигаем наши рюмки, а хор неумолимо поет:

«Славься, Отечество наше свободное, дружбы народов надежный оплот! Знамя советское, знамя народное пусть от победы к победе ведет!»

— С Новым годом! — кричим мы и пьем шампанское. — С Новым годом!

«Славься, Отечество наше свободное, — поет хор, — дружбы народов надежный оплот! Знамя советское, знамя народное пусть от победы к победе ведет!»

СОДЕРЖАНИЕ

Карина (<i>Моя газетная статья, с которой все началось</i>)	5
Купание красного «Мерседеса»	12
Экран голубой мечты	17
Еда тревоги нашей	24
Бизнес — это наше все	30
Исповедь вора	41
Аполлон по имени Эдик	47
Дама с болячкой	60
Поле чудес	72
О чем умолчали звезды	85
Глоток свободы	99
Должки и корешки	114
Узор inferнального поля	127
Мы и они	142
Врата рая	155
Скованные одной сетью	173
Назад — в школу	186
Первая годовщина	192
Дама пик	210
Тутанхамон из Бенсонхерста	223
Что наша жизнь?	236
У кого все хорошо?	248
Ищу свою половинку. Неполную	262
Ограбление со взломом	275
День Всех Святых	288
Свобода выбора	312
Анатомия страха	326
Все ли говорят спасибо?	337
Любит — не любит	352
Вечная музыка (<i>Новогоднее караоке</i>)	364

РОЖДЕННЫЕ В СССР

Леонид Зернов
БРАЙТОН-БИЧ ОПЕРА

Роман

Дизайнер обложки

Е. Л. Вельчинский

Художник

В. С. Коваль

Ответственный редактор

Н. Г. Усова

Художественный редактор

Е. Ю. Воронцова

Технический редактор

Т. В. Исаева

Корректор

Л. А. Лазарева

*Издание подготовлено в компьютерном центре
издательства «РОСМЭН».*

Лиц. изд. ИД № 04933 от 30.05.01.

Подписано к печати 20.05.04. Формат 84x108 ¹/₃₂.

Бумага офсетная №1. Печать офсетная. Гарнитура Петербург.

Усл. печ. л. 20,16. Тираж 5000 экз. Заказ № 383. С – 1635.

ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС».

Почтовый адрес: 125124, Москва, а/я 62. Тел.: (095) 933-70-70.

Юридический адрес:

129301, Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 23, стр. 1.

*Наши клиенты и оптовые покупатели могут оформить заказ,
получить опережающую информацию о планах выхода изданий
и перспективных проектах в Интернете по адресу: www.rosman.ru*

ОТДЕЛ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ:

все города России, СНГ: (095) 933-70-73;

Москва и Московская область: (095) 933-70-75.

Отпечатано с готовых диапозитивов издательства.

ОАО "Тверской полиграфический комбинат"

170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15

Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

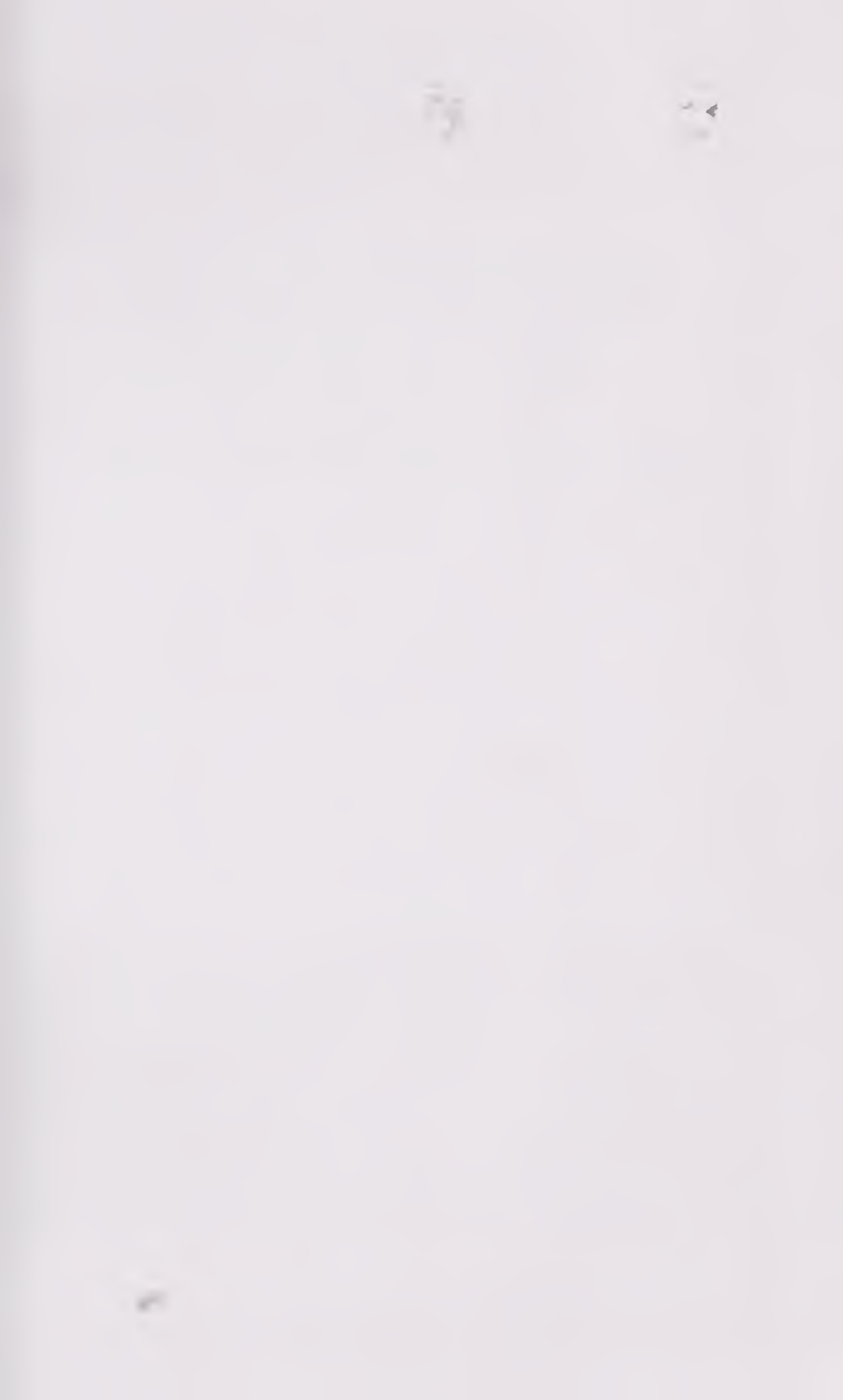


ЗАКАЖИ ПО ТЕЛЕФОНУ И ПО ПОЧТЕ!

*Издательство «РОСМЭН» предлагает вам
покупать книги, аудиопroduкцию,
школьные товары, игрушки
по каталогу
«ЧИТАЙ-ГОРОД».*

Выбранные вами товары вы
получите по почте
в любой точке России.
С помощью каталога вы сможете
заказать подарки любимым
людям и собрать целую
библиотеку, которой будет
пользоваться вся семья.

Если вас заинтересовало это предложение,
закажите каталог
«ЧИТАЙ-ГОРОД»,
прислав открытку или письмо по адресу:
127521, Москва, а/я 42.
«АбсолютПост».
Тел.: (095) 933-41-53.
E-mail: knigi@post.ru

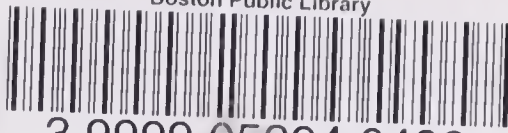


WITHDRAWN

No longer the property of the
Boston Public Library.

Sale of this material benefited the Library

Boston Public Library



3 9999 05394 0498

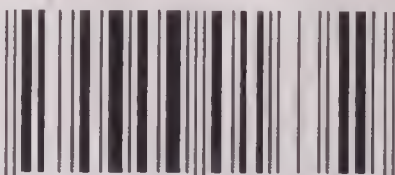
— Все вообще из-за этой жрачки произошло, — говорит Алик и задумчиво отправляет в рот кусок буженины. — За кусок колбасы, получается, Родину продали. По «голосам» всяким нам наговорили, что на Западе колбасы этой двадцать восемь сортов, вот мы и ломанулись — где поглубже.

— Почему за кусок колбасы? Я, например, за суши Родину продала, — улыбается Надя своей вечно загадочной улыбкой. — Я суши больше люблю, чем колбасу.

— Тогда тебе надо было в Японию эмигрировать, — говорит Вадим.

— А я вот в «Интернэшнле» вчера была, — говорит Татьяна. — Так там в очереди в колбасный отдел, прямо под плакатом «Жизнь удалась», стоял старичок один, разглядывал колбасу их, все ее двадцать восемь сортов, и повторял: «Какой мистэйк я совершил. Какой мистэйк».

I SBN 5-353-01635-1



9 785353 016359